

В.ТУРЕНСКАЯ • КРУТАЯ РАДУГА

В.ТУРЕНСКАЯ

В • Т У Р Е Н С К А Я



КРУТАЯ РАДУГА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Цена 55 коп.









В. ТУРЕНСКАЯ

# КРУТАЯ РАДУГА

Повесть



Москва «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1973

Р 2  
Т 87

*Рисунки Б. Винокурова*

Т  $\frac{0763-055}{101 (03) 73}$  345—73

## ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ

Писательница Валентина Ионовна Туренская прожила немногим более 50 лет. В литературе она работала всего лишь 15 лет. Но дело литератора не измеряется годами писательского стажа,— жизнь Валентины Туренской убедительно отвечает на очень важный вопрос: «Почему люди становятся писателями?»

Этот вопрос часто можно услышать во время обсуждения новой книги, на встрече писателя со своими читателями, иногда в откровенном, с глазу на глаз, разговоре... Задают этот вопрос чаще всего дети. А вопрос этот совсем не «детский». Ответить на него — значит ответить на вопрос: действительно ли этот человек писатель? Ведь чтобы быть писателем, надо не только уметь «описать закат или цветенье редьки», как говорил Маяковский. Надо знать, что сказать, надо страстно хотеть сказать это. И надо знать, ради чего вот это свое, выношенное, часто выстраданное, ты хочешь рассказать людям...

У каждого настоящего писателя есть своя, ему присущая главная тема творчества, свои мысли и убеждения, которые он желает внушить своим читателям. И благо, когда эта тема не выдумана за письменным столом, когда она вытекает из жизненного опыта, да и не только опыта — из жизненного призвания писателя. Как часто приходится нам сталкиваться с тем, что литератор пишет «обо всем» или, наоборот, о случайном. И как часто бывает, когда читатель, закрывший последнюю страницу книги, не может ничего сказать об авторе книги, не может представить себе его профессию, интересы, вкусы...

Про Валентину Туренскую этого никак нельзя было сказать. Любой вдумчивый читатель, прочитавший ее книги — «Крутая радуга», «Девятая», «Где рос ясень», — поймет, кем была В. Туренская по своей профессии, по опыту жизни, где она жила, чего хотела, за что боролась...

По своему призванию Валентина Ионовна Туренская была педагогом-воспитателем. С 16 лет она стала заниматься педагогической деятельностью, окончила учительский и педагогический институты, много лет учительствовала, была на руководящей работе по народному образованию. В большой трудовой жизни Валентины Ионовны бывало и так, что ей приходилось работать и счетоводом, и продавцом в книжном магазине. Но все равно, где бы и кем бы она ни работала — педагогом или писателем, — никогда не прекращалась ее деятельность воспитателя, никогда не угасал ее страстный интерес к духовной жизни молодежи, стремление воспитать в подрастающем поколении высокие нравственные качества, присущие нашему времени. Невозможно провести какую-нибудь границу между Туренской-писательницей и между Туренской-педагогом.

Первая повесть «Дружба», опубликованная в 1949 году, романы «Зрелость» и «Просторы» были непосредственно связаны с большим жизненным опытом их автора. В этих книгах раскрывался большой, трудный и благородный мир советского учителя. С пристальным вниманием всматривается автор в сложные процессы, происходящие в нашей школе. Только-только окончилась война. Еще свежи и болезненные раны, ею нанесенные. Еще столько разбитых судеб, искалеченных жизней, столько разных и чужеродных наслоений, порожденных трудным временем. Писательница не приукрашивает действительность, она старается отделить наносное от того коренного, что монолитно связано с нашим советским строем. Эти первые книги В. Туренской отличают глубокое раздумье их автора над путями нашей школы. Она понимала, что не все ладно в жизни школы и школьников, что все более угрожающим становится разрыв между жизнью народа и между системой нашего образования.

И естественно, что наибольший подъем в творчестве В. Туренской наступает тогда, когда XX съезд нашей

партии решительно отмел все наносное, что было порождено предыдущим периодом, когда нарушались ленинские нормы, открыл новые и светлые пути во всех областях жизни советского общества. Вот когда в полном объеме, со всей силой сказалась органическая, нераздельная связь писательницы с жизнью тех людей, которые всегда были героями ее произведений.

История создания повести В. Туренской «Девятая» неотделима от тех больших преобразований, которые совершаются в жизни нашей школы. Однако повесть В. Туренской бесконечно далека от тех многих произведений, которые так часто появляются после важных для нашей страны решений партии. Она не излагает очередное постановление, не разжевывает готового. Герои повести выхвачены из реальной жизни — это будущее, увиденное зорким глазом писателя и педагога, находящегося в гуще жизни. Еще не было исторического постановления партии «Об укреплении связи школы с жизнью народа», еще происходили лихорадочные и трудные поиски новых форм в жизни школы, а писательница увидела в рядовой станичной школе то новое, что должно определять будущее школы.

Мы часто любим говорить о «педагогическом эксперименте», о поисках новых методов связи обучения с трудовой жизнью... Все это так, все это нужно. Но то, что увидела писательница, никаким «экспериментом» не было. Для детей станичных колхозников труд не был «новым предметом» — он был естествен для них, с самого детства привыкших разделять трудовую жизнь своих отцов и матерей, братьев и сестер и видевших в этом труде источник достойной жизни. Именно этим и объясняется успех инициативы педагогов, создавших первые школьно-производственные бригады.

Да, только постоянное участие наших детей, нашей молодежи в трудовой жизни народа может воспитать в них высокое нравственное сознание, чувство долга перед собой и перед обществом. В. Туренская это доказывает не придуманными примерами, а реальными, увиденными в жизни судьбами юношей и девушек.

Труд формирует характер человека, воспитывает в нем чувство достоинства, доброту, мужество — этими мыслями пронизана и повесть «Крутая радуга». В судьбе колхозной девушки Тани Лагутиной нет ничего не-

обычного, надуманно-драматического. Это история молодой жизни, ищущей путей к тому, чтобы жить достойно, красиво, на радость себе и людям. Путь этот — не нака-  
таный, не гладкий. Вокруг еще много — ах как еще много человеческой грязи! — стяжательства, нечестности, равнодушия. Так, казалось бы, легко соскользнуть на путь «протоптанней и легче»... Но истинное счастье ждет Таню на другом пути — более трудном, более тернистом, требующем от человека нравственной чистоты, любви и уважения к труду.

Туренская не притворялась, что она описывает жизнь, «добру и злу внимая равнодушно». Она была пристрастна и в жизни и в литературе. Героев своих любит беззаветно, сильно. Искренне, часто с восторгом любит их непримиримостью к злу, их преданностью дружбе, восхищается их трудолюбием. И не меньше силы этой любви сильна в ней ненависть к обманщикам, к паразитам, к эксплуататорам людских бед, человеческой темноты. С каким знанием и пониманием жизни описывает В. Туренская круг «бывших» в колхозах! Нет, это не те «бывшие», как называли когда-то остатки дворянской аристократии, сметенной революцией. Это «бывшие председатели» колхозов, «бывшие бригадиры» — люди, много лет разорявшие колхозное хозяйство своим бездельем, распушенностью, стяжательством и изгнанные народом со своих тепленьких мест. Они еще держатся иногда «в руководстве», они еще имеют партийные билеты, но вы видите, что лежат они как колоды на быстром фарватере колхозной жизни.

Когда речь идет о непримиримости писательницы к этим тeneвым сторонам нашей жизни, особо следует выделить постоянную, упорную борьбу В. Туренской с «духовной сивухой», которой еще пытаются отравить слабых и неустойчивых людей, — с религией. Сурово и безжалостно сдирает она завесу сладких поповских слов о «братской любви», «утешении сирых», обнажая за ними ненасытные стремления жить за счет невежества людей, растления их душ. С точностью исследователя выясняет В. Туренская причины того, почему еще удается церковникам и сектантам оказывать свое влияние на некоторых наших людей. Они находят лазейку там, где еще есть равнодушие и невнимание к людям, где не отзываются на людские беды, на жизненные трудности.

Среди книг Валентины Туренской особое место занимает повесть «Конец тихой обители», написанная ею в соавторстве с писателем Петром Мелибеевым. «В книге нет выдуманных фактов. Все, о чем здесь говорится,— правда»,— читаем мы в предисловии. В. Туренская и П. Мелибеев рассказали в своей книге о чудовищном клубе лжи, фальсификации, ханжества, созданном церковниками для выращивания людей, чьей профессией должны стать обман, духовное ограбление трудящихся. Эта повесть— яркое свидетельство гражданственности их авторов. Они не могли остаться равнодушными к тому, что открыто, на глазах у всех, в большом трудовом городе существует Ставропольская духовная семинария, где обманутых или развращенных молодых людей обучают, как тоньше уводить трудящихся от настоящей, большой жизни.

Выступления писателей обсуждались на многочисленных собраниях, на читательских конференциях. Жалко выглядели там те, кто пытался защитить свое право на обман, на паразитическую жизнь. При очередном наборе в семинарию не нашлось больше желающих пойти на учение к церковникам, и Духовная семинария должна была закрыться...

История «Конца тихой обители» очень характерна для общественно-литературной деятельности В. Туренской. Она не мыслила себе писательской деятельности без того, чтобы самой, непосредственно не вмешиваться в происходящее, помогать, советовать, находиться всегда в гуще жизни. Писательница очень хорошо знала все то, о чем она писала. Человек, который сам не знает крестьянского труда, никогда не смог бы так ярко, во всех точнейших деталях показать, как Таня Лагутина начинает свою трудовую жизнь на ферме.

Каждый, кто знал Валентину Ионовну, работал с ней, невольно заражался тем чувством радостной жизнедеятельности, которым была она наполнена. Доброта ее была активна, и если она вмешивалась, чтобы помочь человеку, исправить несправедливость, то она приводила в движение всех людей вокруг себя, не успокаивалась, пока не доводила дело до конца.

Валентина Туренская любила весь мир — в его движении, разноречии, блеске красок, сложности разных обычаев, привычек. Она много и с удовольствием ездила.



Но наряду с этим в ней жило то постоянное настойчивое чувство Родины, которое она так сильно передала в своей последней, вышедшей уже после смерти автора книге «Марианна ищет родных».

А как она знала и как сильно любила край, где она жила и работала! Какой бы она ни описывала ставропольскую степь — в разливе ли весенних красок, в величии ли безбрежного пшеничного моря, в осеннюю ли непогоду, — она всегда находит для изображения родного пейзажа слова, идущие от самого сердца. Со страниц ее книг встает поэтический облик ставропольских станиц — с белоснежными домами, шумом тополей, далекими песнями девчат, гулом тракторных моторов... С жадной радостью выискивает В. Туренская каждодневные приметы нового в старых станицах: водопроводную колонку на улице, залитый электричеством колхозный клуб, цветочные клумбы на полевом стане. Ведь в этих приметах нового заключен труд людей, создающих для себя и своих потомков жизнь светлую, радостную, добрую и достойную. Ради этого советские люди возделывают поля, выращивают сады, прокладывают каналы, строят заводы. И для этого писала свои книги писательница Валентина Туренская.

*Лев Разгон*



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### Глава I

#### НАЧИСТОТУ

Мимо проехала машина. Свет фар скользнул в щели забора, выхватил из темноты стволы деревьев, торопливо пересчитал их, ударил прямо в глаза Тане и через мгновение пропал. Бывают в июне такие темные-темные, тихие-тихие вечера. Спит где-нибудь в степи намаявшийся ветер. Озорничал целый день: бросался со взгорья на пшеничные поля, зелеными волнами отмечая свой след, поднимал клубами седую пыль за машинами, дерзко

рвал пестрые косынки с колхозных девчат, вольно взмывал к небу, играя легкими облаками, а сейчас, утомленный, разнеженный ночной прохладой, прикорнул где-нибудь в росистой балочке, раскинулся на траве — лень даже покачать верхушки тополей, прошелестеть листовой яблонь. Словно ниже спустилось звездное небо. Затихла станица. Нет, не совсем еще затихла: вдали слышен рокот машины, еще дальше очень тихо и потому проникновенно-ласково звучит музыка. Вот чьи-то шаги: одни potvrжде, другие мельче, дробнее. Идут двое. Идут и молчат. Хорошо и помолчать вдвоем. Вот взбrehнула чем-то потревоженная собачонка, успокоительно гавкнула в ответ другая: дескать, я здесь, рядом, поддерживу в случае чего. В станице тишина и покой после длинного дня жаркой летней страды. И в доме Лагутиных тихо и темно.

Вот в такой тихий вечер только и поговорить начистоту двум сестрам, если им предстоит принять нелегкое решение. Таня и Маша сидят молча и думают.

Тане скоро двадцать. Она думает, что Маша совсем еще девчонка. Вон повесила на уши спелые крупные вишни вместо сережек. Тут о серьезном надо поговорить, а она сережки из вишен приладила. Таня думает, что надо сменить подгнившие ворота и починить крышу: в углу уже протекало весной и сейчас расплылось противное пятно, захватив своими рыжими щупальцами чуть не четверть потолка. Она думает о матери, которая возвращается с фермы усталая, даже лицо кажется серым, а глаза поблекшими. Пятнадцать лет, как не стало отца. Расстреляли подлые полицаи партизана Данилу Лагутина у далекого степного колодца. И все эти пятнадцать лет, пять тысяч горьких вдовьих дней, все заботы о семье лежали на матери. На ней одной. Таня помнит, как первое лето после гибели отца мать уходила в сад, на эту скамью. Уходила сюда и плакала.

Годы шли, и дети выросли. Уже Лысуху доила Маша. Все трое — и Таня, и Маша, и Василий, их младший брат, — работали летом в колхозе. Уже и колхоз поднялся, на трудодень стали получать не скупо. А весь дом как лежал, так и лежит на плечах матери. Когда-то они были крутыми, сильными, а сейчас опустились эти плечи. До каких пор все должно лежать на материнских усталых плечах? Вот руки у нее болеть начали, уже несколько

раз приходилось Тане вставать до света, чтобы вместо матери подоить коров на ферме. Мать парит руки отрубями, говорит, что от этого все жилочки распрямляются. Только плохо что-то помогают отруби. На днях мелко задрожали у матери пальцы левой руки. Так, без причины. Заплясали сами собой. Мать торопливо и уже привычно сжала пальцы в кулак, а потом настороженно подняла на Таню глаза, и обе поняли: с фермой вот-вот придется проститься.

Таня знает, надо решать. Она старшая. Теперь старшая. Первенцем в семье был брат Александр. Он погиб на фронте. Жена Александра, Варя, недолго прожила в семье мужа. Соседкам жаловалась: «Буду я батрачить на всю ораву! Свою жизнь надо ладить». И подалась в город. А прощаясь, поголосила от души, просила лихом не поминать, изредка пишет теперь. Сашку с собой увезла; черноглазый, в отца пошел. Одного Александра Лагутина не стало — другой Александр Лагутин растет.

Старшая сестра Зинаида живет отдельно; у нее своя семья, свои заботы. Муж Зинаиды, Федор Игнатюк, внушает ей, что она от семьи Лагутиных отрезанный ломоть. Конечно, Зинаида жалеет мать. Когда сестры и брат были поменьше, нет-нет прибежит, постирушку устроит, перемоем малышей, хотя знала, что Федор обязательно спросит: «У тебя что, дома делов нет?» Впрочем, и на Федора жаловаться нечего: в самые трудные годы помогал им, хоть и не больно охотно.

В двадцать лет не очень-то долго думается о печальном. И мысли Тани незаметно свернули в сторону и вырвались на широкий простор мечтаний. Окончена школа, да еще с серебряной медалью. В руках аттестат зрелости. Завтра его можно послать в любой институт, поехать в любой город. Таня не подведет ни родную станицу, ни родной колхоз. Ей бы только попасть в институт! Нет, не в любой! Недаром в школьной бригаде она была звеньевой и вела дневник опытнической работы. Она станет зоотехником. И пусть это очень трудно, но она добьется своего. Разве не мечтали они все в десятом классе о трудном пути, не зачитывались Сергеем Чекмаревым? Его стихи принесла в класс их любимая учительница, их друг Вера Васильевна. Стихи слушали после уроков. Она прочла первые строки:

Мне борьба поможет  
быть поэтом.  
Песни мне помогут  
быть борцом...

Через неделю стихи Чекмарева читал весь класс. Алеша Шумадо, признанный школьный поэт, сказал, что бросит писать стихи (все равно, как у Чекмарева, не выходит!), но стал еще чаще смотреть отсутствующими глазами и бормотать что-то про себя. Врет! Пишет, только прячет теперь. А Маруся Росликова говорила, обводя подруг большими, чуть глуповатыми глазами: «Девчата, а как Сергей Чекмарев любил ее, эту Тоню!» Напали на нее тогда, и больше всего Танина подружка, Настя Герасименко, дочь председателя колхоза Ивана Гордеевича: «Тебе бы только «любил»! А что он работал, что погиб, это тебя не касается!»

Потом Таня и Настя всё мечтали: вот бы встретить такого, как Сергей Чекмарев. На край света бы за таким пойти! А как узнаешь такого? Нет! Узнать можно. Посмотришь в глаза — и сразу поймешь: он!

Текут Танины мысли, кажется, о разном, а выходит — об одном: что делать сейчас, кончив школу. И снова всплывает в памяти смуглая, худощавая рука матери, сжатая в кулак, чтобы не выдать невольную дрожь пальцев.

Молчит и Маша, думает свое. Может быть, не так плохо с матерью, как кажется сестре. Еще бы два-три года, а потом ветру не дадут повеять на мать. Маша десять классов кончать не станет, поступит сразу на второй курс техникума. Через два года она самостоятельный человек. А Татьяна пусть учится. Долго ей учиться, но Маша понимает: раз есть призвание — ничего не поделаешь. Маша тоже работала в школьной бригаде. Работала, как все. А Таня — нет! Таня все чего-то искала. «Выдумывает много», — сказала как-то Маша о сестре, а Вера Васильевна поправила: «Таня думает», и таким тоном сказала, словно это невесть какая заслуга — думать. И председатель колхоза Иван Гордеевич сказал: «Что ж, Татьяна, на зоотехника бей. Прямая дорога. Ясно?» Тане надо учиться. И стаж у нее есть. После седьмого класса два года работала в колхозе, занималась по вечерам.

И все-таки, как трудно ответить на простой вопрос сестры...

— Ты очень хочешь учиться? — негромко и как-то особенно спокойно спросила Таня.

Надо ответить: «Да, очень!» Маше хочется какой-то другой жизни. Хочется пожить в городе. Поступит Маша в кооперативный техникум. Об этом она мечтала с детства. Когда в станице открыли новый магазин, туда целый день шел народ: кто купить, кто просто поглазеть. Федор Игнатюк снимал с полки штуки шелка и штапеля, ловким рывком разворачивал ткань. Она сверкала на солнце, ее смотрели, ошупывали, — щеки у женщин и девчат румянились, глаза поблескивали; в посудном отделе тонко звенели стаканы, колхозницы постарше деловито и обстоятельно осматривали сковороды и чугуны; с полок лились цветным потоком легкие разноцветные косянки и шарфики; лежали пирамиды нарядного, душистого мыла; высились остроконечные граненные флаконы духов; под стеклом сияли и переливались брошки, серьги, пуговицы. Это был праздник. И еще тогда Маша решила: она хочет щедро оделять людей этой простой радостью. Федор говорит, что у Маши способности к торговому делу. Как-то она помогла ему убрать витрину. Маша сама удивилась, до чего у нее красиво получилось.

Да, Маша на вопрос сестры может ответить только одно: «Хочу, очень хочу!» А как же Таня? Ведь Таня способней, серьезней. Тут в Машином сердце на секунду появляется надежда: «Таня старшая, значит, ей и работать идти». Маша придвигается ближе к сестре. Плечо касается плеча. Маша медленно стягивает с уха свою вишневую сережку и отправляет в рот. До чего спелая! Но и кислоты хватает. Губы невольно кривятся. Маша старательно обсасывает косточку и выплевывает ее как можно дальше. Чутко прислушивается, стукнет ли она в тополинный ствол. Стукнула. Значит, все. Решено. Маша тихонько вздыхает.

— А в общем-то, — говорит она, и в голосе ее звучит великолепная небрежность, как будто Маше очень легко произнести эти слова, — езжай ты. Я еще успею...

С минуту обе сидят молча. Потом рука Тани тянется к Машиному уху — вишен нет. Маша подставляет второе ухо. Таня снимает сережку: одну вишню себе, другую сестренке.

— Кислые,— говорит Таня.

— Нет, ничего,— отвечает Маша.

Рука Тани ложится на колено сестры, привычно поправляя легкое платье.

— Завтра отправляем документы,— спокойно и решительно говорит она.— Ты — в Пятигорск, я — в Ставрополь.

— А мама? — неуверенно спрашивает Маша, но в голосе ее уже надежда: есть же стипендия; много ли, в конце концов, нужно матери и Василию. А они обе не возьмут из дома ни копейки... Каждое лето станут работать.

— Попасть в институт нелегко,— объясняет Таня.— В техникум тоже. Конкурс. Обе можем провалиться. Или одна... Вот пускай та и учится, которая попадет. А вторая пойдет работать.

Задиристо прорезывает ночь первый петушинный крик. Сестры торопливо идут к дому, на крылечке снимают обувь и, стараясь не скрипнуть половицей, входят в комнату.

Мать все-таки слышит и ворчит: «Полуночницы!..»

Засыпают обе мгновенно. А небо уже светлеет. Недовольно встряхивает лохматой головой разбуженный утренним холодком ветер и лениво летит над степью, чуть трогая колосья пшеницы, наклоня легкий ковыль на взгорье.

## Глава II

### ПЛАТОЧЕК

Наталья Ивановна достала из ящика два отреза недорогой ткани в мелкую клеточку.

— Опять одинаковые,— жалобно протянула Маша.

— Поди, сестры,— отрезала мать.— Да и модничать тебе рановато.

Зинаида сама скроила сестрам платья, после того как фасон был выбран и одобрен и матерью и девочками. Правда, Наталье Ивановне хотелось, чтобы рукава были длинными. Таня представила себя на городской улице в жаркий июльский день в таком платье и даже глаза прижмурила от ужаса, а Маша готова была разреветься,

забыв, что ей семнадцать лет. Сестры запротестовали дружно, и матери пришлось уступить.

Чемодан в доме был один, фанерный. Легкий и небольшой. С таким только и ездить. Маша с невольной завистью поглядывала на него, но понимала: отдадут его сестре. Все-таки она едет в институт, а не в техникум. «Невеста», — говорит про нее Зинаида, хотя у Тани и жениха-то никакого нет. А вот про Машу никто еще не сказал «невеста». Но до чего странно устроено человеческое сердце: чемодан достался Маше и не принес ей ожидаемой радости. И получилось это потому, что у него появился соперник — новенький красавец с двумя блестящими застешками, обтянутый коричневым дерматином.

— Ну-ка, — сказала мать Тане, — переложи сюда свое барахлишко, а старенький нехай Мария возьмет. Рада? — обратилась она к Маше.

— Рада, — ответила Маша мужественно, хотя предмет недавних мечтаний потерял свое обаяние: резко обозначились на нем трещины, неуклюже торчала железная петля для всячего замка.

Маша знала: все сделано по справедливости, и все-таки старалась не глядеть в сторону коричневого красавца.

— Может, тебе его отдать? — поколебалась Таня.

— Выдумала! — рассердилась Маша и торопливо начала раскладывать свое имущество: справа лягут учебники, а слева — смена белья, блузка и платок. Места остается еще достаточно.

Занимались по вечерам, а днем по-прежнему ходили в бригаду. Работать до самого отъезда — так решила Таня.

Но не только желание заработать держало Таню в бригаде. Стан, отстроенный своими руками, раскинувшийся на берегу Кубани, цветочные клумбы, аллея молодых тополей, кукурузные поля, парники — все успело стать за год таким близким.

Вот под этими кленами сидели часто с Верой Васильевной. Здесь так хорошо и просто, так откровенно говорилось об всем: решали, в чем счастье; спорили, можно ли дружить с мальчиками; обсуждали, будет ли при коммунизме хоть какая-нибудь собственность. «Книги», — сказал Алеша Шумадо. А Маруся Росликова засмеялась: «Книги и в библиотеке можно взять,



кто, конечно, захочет, а вот брошку или клипсы...» Ей доказывали, что вообще неизвестно, какой будет судьба клипсов при коммунизме, как человек станет понимать красоту и чем захочет украсить себя.

Почему так хорошо говорилось под этими кленами? Вера Васильевна как-то сказала: «Наверное, потому, что небо над ними синее, клены шумят, рукой травы можно коснуться, и потому, что везде, куда глаз достает,— наш труд».

Странно, от школы легче было оторваться, чем от бригады. И не тянет больше в школу. Отшумел выпускной. Осталось после него ощущение счастья, неясная тревога и легкая грусть: за ранней юностью захлопнулась дверь и захочешь, так не откроешь.

Таня помнит, как прямо со сцены спустилась она к матери, отдала аттестат и медаль, словно хотела этим сказать: «Мама, здесь и твой труд. Твои заботы». Села рядом. Мать осторожно держала в руках раскрытую коробочку, где поблескивала серебряная медаль, и аттестат.

— Отец бы видел! — вырвалось у нее...

Одноклассники уже разъехались или пошли работать в колхоз, стал трактористом Алеша Шумадо, сдает экзамены в университет Настя Герасименко. Немало выпускников уехали в Невинномысск на строительство химического завода и пишут друзьям: «Приезжайте!»

Наконец и сестры Лагутины получили вызов. Экзамены сдавать в первом потоке.

Таня и Маша вместе и порознь давали брату наказания.

— Сам не понимаю, что ли,— хмурился Василий,— не маленький.

— «Не маленький»! А кто ботинки расквасил? — укорила Таня.— Футболист, подумаешь!

Василий невольно покраснел, огрызнуться бы: кому охота наставления от сестер слушать, а против правды не пойдешь — расквасил.

Тане стало жаль братишку.

— Погоди,— пообещала она,— деньги будут, я тебе специальные футбольные куплю.

— Бутсами они называются,— сказал Василий.— Не к чему. Теперь без вас дела-то прибавится. Насчет футбола не светит.

Пришла Зинаида. Оглядываясь, хотя великолепно

знала, что Федор в магазине, сунула каждой из сестер немного денег.

Уже вечерело, когда Маша вышла на веранду. Веранда вся заплетена вьюнами. В просвет между листьями Маша увидела, что на заборе сидит сосед Алеша Шумадо, упорно смотрит к ним во двор. Когда Алеша был поменьше, он часто сидел верхом на заборе да еще швырял в девчат абрикосовыми косточками или ныл противным голосом: «Маню за уши тянули и в сметану обмакнули. Бедная Маня утопла в сметане». Спрыгивал с забора он обычно в ту минуту, когда раздавался голос его отца Ивана Кирилловича: «Алешка! Кому говорю!» Потом Алеша вытянулся, стал писать стихи; одно из стихотворений Алеши даже напечатали в районной газете, кончил школу, стал трактористом... И вот он опять сидел на заборе. Это определенно было неспроста. Маша чуть раздвинула зеленую пригладель: физиономия у Алеши довольно унылая.

Размышлять было некогда, и Маша, выйдя во двор, крикнула:

— Ты чего на заборе сидишь?

Алеша вздрогнул от неожиданности, а потом обрадовался.

— Поди сюда,— тихо попросил он.

— Зачем еще? — сурово откликнулась Маша, подходя к забору.

— Вы, значит, завтра едете?

— Завтра.

— И Таня?

— И Таня.

Алеша завозился на заборе, потом спрыгнул с него: заборчик был невысокий и разговаривать не мешал.

— А Таня дома?

— Дома.

Маша уже готовилась сказать Алеше что-нибудь обидное: болтает попусту, сам не знает что! Как вдруг Алешина рука протянулась к ней, кулак разжался, и в нем оказался белый шелковый платочек с якорьком на уголке. Алеша вообще любил море, хотя никогда его не видел, и даже носил тельняшку.

Платочек был измят в Алешином крепком кулаке.

Маше никто и никогда не дарил платочков, и она слегка растерялась в первую минуту.

— Красивый,— сказала она, расправив платочек.

— Ничего,— откликнулся Алеша.

Маша подняла глаза. Черноволосая чубатая Алешина голова слегка наклонилась, темные брови были сдвинуты, а над верхней губой чуть выступили бисеринки пота: видно, нелегко ему дался первый подарок.

«Красивый!» — Машино сердце дрогнуло неожиданной нежностью.

— Ну, счастливого пути, в общем! — сказал Алеша. — Не подкачайте там. — Он замялся. — А платочек, в общем, Тане отдай. Скажи: «От Алеши на память!»

Он быстро пошел от забора к дому, а Маша стояла и смотрела ему вслед, держа платочек в руках. Значит, Тане? От Алеши.

Она неожиданно прижала платочек к щеке, — ей бы такой!..

Таня сидела на подоконнике и читала учебник.

— Хватит! Перед смертью не надышишься, — сердито сказала Маша и кинула сестре платочек. — Алешка передать велел. Целый час на заборе сидел, тебя высматривал.

Маше было немножко горько, что судьба так обманула ее. Сейчас ей казалось, что обманула, хотя до этого часа Маша никогда не думала об Алеше, да и ни о ком другом. И вместе с тем ей было очень интересно. Оказывается, Алеша влюблен в Таню. Платочек самый обыкновенный. Таких у Федора в магазине сколько хочешь. А вот и не обыкновенный. Подарок. Таня прижмет его к щеке. Шелк такой ласковый, теплый... Но Таня даже не развернула платочек, не взглянула на якорь.

— Не нужно было брать, — сказала она.

— Ты знаешь, как он смотрел...

Сейчас Маше казалось, что глаза у Алеши были страдающие, а лицо бледное-бледное.

Таня нахмурилась.

«Значит, не любит! — мелькнуло у Маши. — Бывает, значит, так: один любит, другой нет».

— Возьми платочек, отдай назад, — сказала Таня. — И, пожалуйста, не принимай от него никаких поручений.

— Он же хороший, Таня! — Маша вертела платочек в руках.

— Ты о ком? — усмехнулась Таня. — Об Алеше или о платочке?

Маша долго стояла во дворе, пока не увидела Алешу. Тот, заметив ее, так и бросился к забору.

— Не взяла Таня платочка, — виновато сказала Маша.

— А-а, — сказал Алеша и протянул руку.

И вдруг Маше стало жалко расстаться с этим обыкновенным платочком. Пусть бы лежал у нее в чемодане. Можно иногда достать, посмотреть на якорек, вспомнить, как Алеша маленьким бросался абрикосовыми косточками. Однажды, когда он ушел, Маша собрала косточки, деловито разбила камнем. Ядрышки все, как одно, оказались горькими. Ну конечно, Алешка не такой глупый, чтобы разбрасываться сладкими!

— А тебе нужен этот платок? — храбро спросила Маша.

— Да, в общем-то, нет... — Алеша поерошил свой черный чуб и уже горько добавил: — Куда мне его.

— Тогда вот что, — заторопилась Маша, радуясь и ужасаясь, что сумела схитрить, — пусть он у меня полежит. Может, Таня его потом возьмет.

— Пусть полежит, — пожал плечами Алеша.

Сказал он это равнодушно, и это деланное равнодушие еще больше подкупило Машино сердце. Вспомнилось, в школе на вечере читал Алеша стихи о юном комсомольце, который умер от вражеской пули с песней на устах. Кто-то из девчонок даже заплакал. Хлопали Алеше. Только он больше не поднялся на сцену. Наверное, других стихов не написал. Ну вот, а как теперь Алеша будет? Ему же стихи писать про сильных, смелых людей.

— Алеша, — волнуясь, сказала Маша, — а ты не думай... Все будет очень, очень хорошо.

— А я, в общем-то, не думаю. — Он еще раз поерошил волосы и протянул руку. — Мне завтра на работу рано.

Маша, поднявшись на веранду, сквозь вьюнки посмотрела назад, но Алеша уже не было. Она присела, положила голову на руки, пытаясь понять, что с ней происходит. Если она полюбила Алешу, ей полагается быть

грустной и несчастной: ведь Алеша-то ее не любит. Но несчастной она себя не чувствовала. И грустить ей совершенно не хотелось.

— Отдала? — спросила Таня, выйдя на веранду.

Маша вскочила:

— Нехорошо ты сделала! Ему стихи писать. Ну, взяла бы. Что тебе стоило? А он бы обрадовался.

Таня смотрела на сестру недоуменно и укоризненно, и под этим взглядом невольно погасло Машино возбуждение.

— Разве нельзя так? — уже робко спросила она.

— Нельзя, — твердо ответила Таня. — Обмануть нельзя. Ты подумай сама: обрадуется, поверит, а потом что?

— Строгая ты...

— Я часто думаю, — Таня говорила тихо, почти для себя, — вот встречу человека, которого люблю... Вот от него платочек возьму.

— От кого, Таня?

— Не знаю.

Маша уснула рано. Платочек лежал в чемодане. Что ей за дело до этого платочка: не для нее был приготовлен. А уложила бережно, даже в бумагу завернула.

Тане не спалось. Села вместе с матерью на крылечке.

Наталья Ивановна рассказывала о ферме. Швыдченко опять на работе пьяный был. Мать говорила, а Таня видела Ефима Швыдченку с вислыми усами, его привычный жест, когда он пальцем поглаживал левый ус, словно взбивая его кверху.

— Эх, и заведующего поставили на ферму! Лучше-то в целом колхозе не нашлось! — возмутилась Таня.

— Горяча ты. Смотри, не убережешь головы.

— Уберегу, — засмеялась Таня. — Голова мне, между прочим, нужна.

Таня протянула руку, сорвала белешую у крыльца ромашку. Любит она и горьковатый запах полыни, и неприхотливую степную ромашку, что растет везде: и на ветреном взгорье, и вдоль пыльного кювета, и у крыльца.

— А Нюшка Галаган от Строгой уже три тысячи литров надоила. Глядишь, к концу-то года до пяти возьмет. Умеет Нюшка работать, но до чего на язык дерзкая! — продолжала мать.

Таня знала Нюшу Галаган, признанную колхозную красавицу и первую доярку фермы. Видела и Строгую — рекордистку, которой составлялись специальные рационы, видела ее крутые бока, лепную голову, лоснящуюся шерсть...

— Понимаешь, мама, я все хочу, — призналась Таня, — и учиться ехать, и здесь остаться. Вот о Нюшке ты рассказываешь, а я уж прикидываю, надоила бы я пять тысяч или нет? О Швыдченке говоришь — я опять прикидываю, как с ним работать стану. В бригаду пойду — опять вроде там мое место. Или я жадная такая? Все бы сама переделала.

— На работу завистливая. Это ничего, — усмехнулась мать.

Утром не успели еще как следует позавтракать, Вася начал торопить:

— Машина уйдет, студентки! — Он подхватил вещи.

Мать на кухне повязывала белый платок. Она стояла, отвернувшись к стене, стояла долго, а когда повернулась, глаза у нее были сухими, только губы плотно сжаты. И Таня сама плотнее сжала губы.

У правления столкнулись с председателем.

— Едете, значит? Ну, успеха... Не посрамите родного колхоза. Ясно? А если что не заладится, назад ждем. Не вздумайте в городе оставаться — у нас работы хватит. О матери не беспокойтесь: в обиде не будет. Ну ладно, девчата, ни пуха ни пера. — Он уже поднялся на ступеньки, но оглянулся. — От Насти вчера письмо пришло. Привет шлет тебе, Таня.

Обнимая мать на прощание, Таня вдруг заметила, что мать стала ниже ростом, захотелось сказать ей что-то очень ласковое, важное...

— Мама, — сказала Таня и повторила: — Мама!

Машина набрала скорость сразу. Сорвав косынку, Таня махала матери, а та стояла рядом с Василием, подняв руку, не то посылая привет, не то защищая глаза от солнца, чтобы лучше видеть дочерей.

Вот машина выскочила на грейдер. Мелькнула крыша родного дома, островерхий тополь в саду...

И не вспомнила Таня, уезжая, ни об Алеше, ни о платочке...

Зато Маша знала: лежит платочек в чемодане. Шелковый. Ласковый. С голубым якорьком.

### Глава III

#### «ПО-ИНОМУ И ЖИВУ Я И ДЫШУ...»

Таня поднялась на третий этаж и стучала довольно долго. Дверь открыла женщина, настолько похожая на Веру Васильевну, что и сомневаться нечего было: это ее сестра Нина Васильевна. Те же гладко зачесанные на прямой пробор каштановые волосы, смугловатое, спокойное лицо и родинка тоже у левого уха.

— Таня? — сказала Нина Васильевна. — Наконец-то! А стучать к нам не надо: у нас звонок.

Конечно, больше всего хотелось Тане, не теряя ни минуты, отправиться в институт, но Нина Васильевна рассудила иначе: ванна, завтрак, потом дела.

Она показала Тане, как вспыхивают голубые ромашки газа, объяснила, как включать и выключать ванну.

Когда освеженная душем Таня вошла в комнату, на столе уже белела накрахмаленная скатерть. Завтрак был и вкусным и обильным, но от волнения есть не хотелось, да и обстановка была слишком непривычной.

Под стеклом в высоком шкафу поблескивал в солнечном луче бронзовый шестирукий божок; полированное дерево столика, словно ледяная дорога, бросалась под ноги упряжке собак, вырезанных из моржового клыка. Кутался в плащ чугунный Мефистофель.

И книги, книги!.. Тяжелые фолианты в кожаных тисненых переплетах и крохотные, изящные томики стихов. Высокая лампа на металлической ножке, с никогда не слышанным названием «торшер». Картина на стене, серебристых смутных полутонов.

— Один из этюдов Серова, — сказала Нина Васильевна с оттенком радостного смущения в тоне, словно одно это имя преображало ее комнату.

Из окна был виден тенистый бульвар, ослепительно белые каменные дома южного города, новостройка вдали, четкий рисунок подъемных кранов, взметнувших высоко в небо переплет стрел. А за ними солнечные холмистые дали.

— Там, в стороне, аэродром, — объяснила Нина Васильевна. — А это строят нефтяной техникум. По-но-

вому, Танюша, наш испокон веков пшеничный край развертывается. Газ. Нефть.

Таня поднялась из-за стола.

— Смотри, обедаем вместе,— предупредила Нина Васильевна.— Не думай в столовую идти.— Подойдя к двери, она крикнула: — Дима!

Никто не отозвался.

Нина Васильевна объяснила Тане, что остальные две комнаты занимает в квартире семья Кравцовых. Милейшие люди! Дима перешел на пятый курс сельскохозяйственного института, Павел Григорьевич, его отец, преподает там не то на кафедре кормления, не то кормодобывания, в общем, что-то связанное с кормами. А с Димы Нина Васильевна взяла слово шефствовать над Таней, показать ей город.

Нина Васильевна нарисовала Тане план, как добраться до института. Таня положила его в учебник и вышла из дому. Хорошо, что первое знакомство с городом состоится один на один. И ни в каких шефах она не нуждается.

Таня пошла вверх по улице. Каблуки вязли в разогретом солнцем асфальте. Слева тянулся бульвар, такой густой, что прятал дома на противоположной стороне.

Справа вверх, на гору, уходили широкие ступеньки. На передней площадке, среди цветников, играли дети, еще выше сверкали на солнце тонкие, гибкие струи фонтана, на обочинах лестницы кусты роз разбросали далеко в стороны гибкие ветки, усыпанные тысячами мелких цветов. В конце улицы, у кинотеатра, розы раскинулись целым бушующим озером: алые, белые, темно-красные.

Таня свернула налево и пошла вдоль каменной ограды, которой замыкался конец бульвара. Ступеньками шли вниз чудовища-дельфины, из открытой пасти их вода капала в каменные чаши в виде овальных листьев с круглыми зубцами. Таня поежилась: вода из углов каменной пасти стекала довольно-таки противной тонкой струей. Зато незатейливый обомшелый фонтанчик, которым кончался бульвар, понравился. Столько жизни и простоты было в фигурках двух малышей: озорная девчушка с двумя крохотными косичками поливала братца из кувшина, а тот оборонялся поднятой ручонкой



с растопыренными пальцами. Оборонялся, видимо, для порядка, а сам щурился от удовольствия.

На всякий случай заглянула в свой план. Идет она верно. Вот железная ограда парка, за ней аллея каштанов. До чего огромные! В зелени белеет памятник Ленину, напротив — ворота стадиона.

И вот перед ней институт. Институт, где Таня станет учиться. Массивные двери полуоткрыты. Внизу, в вестибюле, в коридорах, на широкой лестнице, толпится молодежь.

— А я вам говорю, — спорил кто-то, — обязательно дадут Онегина. Пушкина и Маяковского всегда дают.

— Говорят, на каждое место шесть человек.

— Мишка! Ты же в Ростов хотел, в энергетический...

— В Ростов! Там на каждое место по двенадцать.

— Что же, ветеринаром будешь?

— На факультет механизации подал.

— А я бы гнал таких, — довольно громко сказал человек лет тридцати с обветренным лицом. — Хочешь быть энергетиком — добивайся. Хоть пять лет добивайся!

Таня одобрительно усмехнулась.

Около лестницы стояла группа молодежи.

— Мы прикидываем центнеров по пятьдесят гибридной кукурузы в этом году собрать, — сказала рыжеватая плотная девушка.

— Наш колхоз на семьдесят рассчитывает, — сказала Таня.

Круг дружелюбно разомкнулся, и Таня сделала шаг вперед.

В этом нарядном городе, где так много зелени и роз, где улицы зовуще бегут вверх или услужливо спускаются вниз, в городе, вокруг которого раскинулось степное раздолье, балочки и холмы, поля и пастбища, в городе, где живут тысячи интересных людей, у Тани уже есть свое место и свои дела.

На обратном пути Таня зашла в парк. Села в густой тени каштанов и раскрыла учебник. Хорошо, что она умеет заниматься где угодно. Вот и сейчас не мешают ей ни крики ребятишек, ни шелест шагов по дорожкам, усыпанным крупным песком, ни песни.

Неожиданно капли дождя гулко ударили по листьям разлапистых каштанов. Таня подняла голову: когда успели собраться эти тучи? Куда сейчас? Не успела подумать — хлынул ливень.

Вскочила, прижалась к стволу дерева. Все пришло в движение, парк опустел, только неумные репродукторы по-прежнему добросовестно посылали в пустые аллеи песню:

По-иному и живу я и дышу  
С той поры, как мы увиделись с тобой.

Она была почти не слышна. Дождь бил по листьям, ударял о скамейки, суетливо и радостно плясал дождевыми человечками в лужах, мгновенно вскипавших на желтых дорожках аллей.

Таня передернула плечами: дождь уже доставал ее. На дорожке показался человек, бегущий в размеренной, неторопливой манере хорошего спортсмена. Пробегаая мимо Тани, он с укором крикнул:

— Промокнете! До павильона рукой подать, а вы трусили!

Таня поглядела ему вслед. Действительно, в нескольких шагах от нее был шахматный павильон. Она, прижмурясь, выскочила из-под своего ненадежного укрытия и бросилась туда.

Со счастливой улыбкой она вбежала в павильон. Вот и крыша. Теперь пусть льет сколько хочет.

Дождь барабанил все сильнее, гулко отплясывая по железной крыше. Искоса Таня взглянула на юношу. Густые волосы, смоченные дождем, закурчавились. Загорелое, чуть удивленное лицо, насмешливые губы.

— И нечего было трусить! — упрекнул он Таню.

Не получив ответа, он занялся малышом, успевшим вместе с предусмотрительной бабушкой укрыться здесь еще загодя.

Малыш оказался куда общительнее, чем Таня. Через пять минут он уже рассказывал юноше поучительную историю:

Жили-были два кота,  
Восемь лапок, два хвоста...

Голос у малыша поднялся до высот подлинно трагедийных, когда он добрался до печального финала:

И остались от котов  
Только кисточки хвостов...

Таня дружелюбно взглянула на юношу, глубоко заинтересованного судьбой двух серых забияк. Когда репертуар малыша был исчерпан, юноша посетовал:

— Вот не вырос ты еще, а то бы мы с тобой в шахматы сразились.

— Значит, считаете, что девушки в шахматы не играют? — не выдержала Таня.

— Прошу,— сказал юноша, садясь за столик.

Отступить нельзя, сама напросилась! Таня села напротив. Юноша переставлял фигуры небрежно, даже чуть свысока. Таня обиделась — детский мат готовит.

Она играла молча, ожесточенно, сосредоточившись на желании разгадать все планы противника и обязательно, во что бы то ни стало выиграть! «Ага!» — радостно подумалось ей, когда юноша, потеряв две пешки и ладью, начал больше думать над ходами.

Партию выиграл он, но победа далась ему нелегко.

— В институт поступаете? — спросил юноша, беря из ее рук учебник литературы. — В педагогический, наверное?

— В сельскохозяйственный.

Он поднял брови.

— Будем встречаться. Я учусь там.

— Я еще могу провалиться.

— Сдадите,— уверенно сказал он. — Вот вы как в шахматы одержимо играете. Наверное, и учитесь так же.

В вузе,

где мелом

стучит доска,

Учится зоотехник...—

прочел юноша, задорно глядя на Таню,—

Он пишет конспекты,

листает тома,

Льет кислоту в бюретки,

Он готовится

силу ума

На службу

отдать пятилетке.

Не подумайте, что мои,— засмеялся он.

— Знаю. Сергея Чекмарева,— сказала Таня.

Дождь кончился. Распрощались с малышом, вышли вместе. Остатки рваных туч торопливо убегали с голубого неба.

— Смотрите, радуга! — сказал юноша.

Таня подняла голову. В просвете омытой дождем листвы виднелся чуть намеченный обломок радуги.

— Я крутую радугу люблю,— сказала Таня.

— Это еще что за «крутая»? — удивился юноша.— Радуга всегда одинаковая.

— Бывает крутая,— упрямо повторила Таня.— Крутая — к ясным дням, полагая — к дождю. Крутая после сильной грозы бывает. Во все небо раскинется...

— Вам куда? — спросил юноша.

Таня назвала улицу; оказалось, идти по дороге. Юноша свернул в те же ворота, что и она. Таня насторожилась. Вместе с ней он дошел до подъезда, начал подниматься по лестнице.

— Слушайте,— сердито остановилась Таня,— куда вы идете?

— Домой,— спокойно ответил юноша и открыто усмехнулся.— Ну и спичка вы, Таня Лагутина. Я угадал, вас так зовут?

— Что все это значит? — еще больше рассердилась Таня и вдруг сама поняла.— Вы Дима? Тот самый шеф, которого Нина Васильевна для меня придумала?

— Тот самый,— развел Дима руками.

Смеясь, они взбежали вверх по лестнице. А солнце уже светило вовсю, забираясь даже сюда, на лестничную площадку.

## Глава IV

### «ОНИ У ТЕБЯ СИНИЕ...»

— По звонку слышу, сдала экзамен,— говорила Мария Константиновна, открывая дверь.— У Димки звонок всегда скажет, в каком настроении он явился. Бывало, получит двойку...

— Мама, не подрывай моего авторитета,— выскочил в коридор Дима.— Ну как, Таня, все хорошо?

Таня счастливо кивнула и сейчас же испугалась, а вдруг...

— Отметок еще не сказали...

— Отметка — чепуха, — определил Дима. — Сама как чувствуешь?

— Кажется, все в порядке, если запятые не подведут.

Нины Васильевны не было дома. Таня бухнулась в мягкое кресло и только сейчас поняла, как устала.

Нет, сочинение написано хорошо. Запятые бы не подвели. Вера Васильевна кое-что ей прощала. «У тебя, Таня, — говорила она, — сочинения очень эмоциональные. Ты ставишь авторские знаки. Ну, а правила все-таки подучи».

Таня ничего не имела против того, чтобы лишние запятые назывались «авторскими знаками» и, как таковые, не снижали отметки. Интересно, как отнесется экзаменатор к ее авторским знакам?

Хорошо, что сочинение дали о труде. Кто-кто, а Таня знает, что такое труд, и никогда он ее не пугал, даже если работать приходилось от зари до зари. Устанешь, бывало, а все равно с поля словно радость какую уносишь.

А что же теперь? Молодой, сильной еще на пять лет сесть за парту? На целых пять лет. Не много ли?

Розы здесь цветут... А вот запаха свежего сена не услышишь. Не обдаст душистой волной аромат чобора. Пахнет бензином, разогретым асфальтом. Интересно, знает ли Дима, как радостно и остро пахнет земля апрельским ясным утром, когда легкий парок поднимается от нее, а в овражках еще лежит черный снег. Розы? Их и в колхозе «Рассвет» посадить можно.

Как-то у Маши экзамены? А глаза у Димы... Почему у него такие знакомые глаза? Увиделись только вчера, а глаза эти словно век знала...

Разбудил Таню разговор по телефону, доносившийся из коридора.

— Славная такая девушка, — говорила кому-то Мария Константиновна. — И, представьте, простая колхозница. Ничего от деревни... Даже платочка не носит... Да... А мать простая доярка. Ну, спасибо, очень рада...

Щеки Тани густо залила краска. Речь идет о ней. Значит, это на ней должна лежать особая печать. Деревни, бескультурья. С каким превосходством произнесено это слово — «колхозница».

Вчера на кухне Мария Константиновна говорила с Ниной Васильевной тоже об этом.

— Не верю! Извините, не верю,— горячилась Мария Константиновна,— должно же это прорваться в манерах, в поведении.

— Девушка кончила среднюю школу,— протестовала Нина Васильевна.— Получила медаль. Два года была секретарем комсомольской организации, звеньевой в школьной бригаде.

— Но идиотизм деревенской жизни,— не сдавалась Мария Константиновна.— Простите, об этом еще Маркс писал.

— Когда писал! О какой деревне? — возмущенно говорила Нина Васильевна.

Этот случайно услышанный вчерашний разговор только позабавил Таню, даже подзадорил: не верите, что колхозница? А я таки действительно колхозница. Но сейчас Мария Константиновна обидела ее. Тоном? Или брезгливо оброненным словом «платочек»? Конечно, Таня носит платочек. И на лоб его надвигает. Кому же хочется, чтобы нос обгорел и облез потом. Дать бы Марии Константиновне тяпку в руки да послать на кукурузное поле. Что бы она надела: шляпку или платочек? И босиком Таня, бывает, ходит. Ну и что?

Вспомнились слова «идиотизм деревенской жизни». Усмехнулась: до чего подкованная Мария Константиновна, даже Маркса цитирует.

А Нина Васильевна тоже не права. Есть, есть еще то, что идет от этого самого проклятого «идиотизма». И пьяный Швыдченко, и усталость от непосильного труда, которой пронизано все тело матери. А то, что клуба до сих пор нет, что молодежи собраться негде,— это не идиотизм? Только не Марии Константиновне говорить об этом. Таня может. Это ее родное. Это ее дом, семья, жизнь. И нечего в красивой городской квартире, с коврами и китайскими безделушками, судачить о том, чего они еще не успели сделать в колхозе.

«Дима, ты уже принял утреннюю ванну?» — вспомнился снова заботливый голос Марии Константиновны. А знаете ли вы, Мария Константиновна, как мы принимаем «вечернюю ванну», вернувшись после работы с поля, все в поту и пыли? Нужно дымными киззяками разжечь кирпичную печурку во дворе и согреть два ведра

воды. То-то славно: одна нога в тазу, другая на полу, так и плаваешь. Да еще воду эту принести надо за несколько кварталов из колонки. Нести и радоваться, что колонки поставили: не идти к речке за полтора километра, не доставать зацветшую дождевую воду из цементного водосборного колодца во дворе, как было совсем недавно.

«Идиотизм»! А это не идиотизм, когда не старая еще женщина не работает только потому, что денег хватает, обмахивает пыль с бесчисленных безделушек метелочкой из перьев?

А Дима? Что думает Дима?

— Танюша,— с искренней радостью сказала Мария Константиновна, когда Таня вышла в коридор,— у меня подруга в приемной комиссии. Я не утерпела, позвонила. Пятерка у тебя. Поздравляю...

Весь день Таня просидела над химией, а вечером ее и Нину Васильевну пригласили на чай Кравцовы. Таня познакомилась с отцом Димы. Это был худощавый человек с приятным, несколько утомленным лицом, подвижный; особенно подвижными у него были руки, хорошего, сильного рисунка.

За чаем Таня чувствовала себя напряженно. Особый, непривычный для нее уклад сказывался во всем: в салфетках и тарелочках у каждого прибора, сахар надо было класть в чай серебряными щипцами, тонкие ломтики лимона брать с хрустальной розетки особой крохотной вилочкой. Не хотелось допустить оплошности, и потому Таня неторопливыми, мелкими глотками выпила одну чашку, съев какое-то воздушное печенье, и отказалась от второй, радуясь, что чаепитие кончилось для нее без происшествий.

— Ты любишь симфоническую музыку? — спросил Дима, открывая шкафчик с пластинками.— Или лучше поставить эстрадный концерт?

У Тани не было никакого отношения к симфонической музыке. Прослушала как-то по радио одну из симфоний Бетховена, не разобралась в обилии хлынувших звуков, и больше слушать симфонии не хотелось. Музыка всегда связывалась для нее со словами песен. Серьезной музыки она просто не знала.

Но сейчас, в присутствии Марии Константиновны, ей не хотелось признаться в этом.

— Люблю,— решительно сказала она.

— Чайковского или Рахманинова?

— Все равно... Лучше Чайковского.

Мягкие звуки заполнили комнату. Таня слегка нахмурилась: а ну как придется разговаривать об этой музыке. Что она скажет?

Через открытую дверь было видно: Павел Григорьевич в соседней комнате склонился у стола над работой.

— Дима,— осторожно спросила Таня,— может, не надо музыки или потише, что ли, сделать? Твой отец работает.

— Он привык,— усмехнулся Дима.— Да и отдохнуть человеку надо.

Павел Григорьевич опять вошел в комнату и остановился у косяка.

— Люблю! — сказал он, когда пластинка кончилась.— До чего душа у человека русская. Большая душа, щедрая. Слушаешь, полный своими мелкими заботами, и поднимаешься над ними. Лучше становишься. Чище.

Таня не запомнила музыки, не смогла бы узнать ее и, пожалуй, ни о чем не думала, пока звучала она, а вот сейчас в душе родилось неясное, светлое чувство. Неужели музыка дала эту легкость, эту тихую радость? «Поди, схватила бы сегодня тройку,— усмехнулась про себя Таня,— и никакая бы музыка не обрадовала, а пятерка — вот и разнежилась!»

— Знаете, чем я доволен? — Павел Григорьевич смотрел на Таню, но обращался к Нине Васильевне.— Доволен, что вот такие к нам в институт идут. Признавайтесь, Таня, хлебнули жизни?

— Хлебнула... немножко,— замялась Таня.

— Ну и как? Горька?

— Нет,— сказала Таня.— Интересно жить... Вот экзамены сдаю. А как подумаю, что еще пять лет учиться...

Она не поняла почему, но ее слова затронули всех. Зашагал по комнате Павел Григорьевич. Напряженным стало лицо Димы.

Павел Григорьевич бросал обрывки фраз, которые на лету ловила Мария Константиновна и, словно мяч, посылала обратно. Все вертелось вокруг сказанных Таней слов и вместе с тем не имело к ним прямого отношения.



— Правильно,— сказал Павел Григорьевич.— Силы в человеке бродят. Самый расцвет. А он эти силы в учебу вбивает. Не в учебу — учится тот, кто от практики идет,— в зубрежку, сдачу экзаменов да в танцульки!

— Что же, ты враг своему сыну? — почти крикнула Мария Константиновна.

— Да разве только о нем речь! Можно же говорить отвлеченно. Таких немало у нас в институте. Молодые! Сильные! Им бы только работать, а они отсиживают с сонным видом на лекциях по шесть часов в день. Одни, понимаете, на целине, на стройках, жизнь делают, а эти...

— Ты что же, институты закрыть готов? — возмутилась Мария Константиновна.

— Да боже меня упаси!..— Павел Григорьевич даже руки вверх поднял.— Таня, вы не огорчайтесь, я не о вас... Я о тех говорю, кто пришел в институт, не зная труда. Жизнь, практика — вот учителя. А у нас чуть не с пеленок объявляют талантом, прочат в научные работники. Нет, если талант, ты его на практике испробуй. Отточь! Ты не только стихи Сергея Чекмарева читай с дрожью в голосе. Ты где-нибудь в Кулундинской степи гурты объезжай. Не хочешь в Кулундинской — на Ставрополье мест хватит, где ты позарез нужен.

Дима сидел, склонив голову, с каким-то неопределенным выражением на лице, словно прислушивался к своим мыслям, а мысли эти были далеко не ясными.

Нина Васильевна встала:

— Пойдем, Таня!

Таня писала схемы валентных соединений, когда вошел Дима.

— Перерыв,— объявил он.— Предложение — подняться на горку. Потребное количество времени — полчаса.

Часы показывали десять. Дома мать шуганула бы всякого, кто явился бы так поздно с подобным предложением, да никому бы это и в голову не пришло. Но здесь это, видимо, в порядке вещей, потому что Нина Васильевна сказала:

— Сходи проветри голову. Только смотри, Дима, недолго: человеку заниматься надо.

Две шеренги серебристых столбов с матовыми шарами фонарей шагали вверх. На улицах было еще людно, на лестнице, ведущей на Комсомольскую горку, тоже. В неярком свете зелень казалась темной, и только розы алели по-прежнему броско. Рядом с ними гордо высились огромные садовые ромашки.

— У нас дома у крыльца тоже растут ромашки,— сказала Таня,— только мелкие.

— Эти называют «воловий глаз»,— пояснил Дима.

— Придумали же!..— оскорбилась Таня таким не-поэтичным названием.

Поднялись наверх, остановились у полукруглой балюстрады. Внизу расстился город, сверкали огни то яркой строчкой улицы, то россыпью окон.

— Пойдем, я тебе березку покажу,— сказал Дима и повел Таню вокруг памятника генералу Апанасенко.

На краю площадки белел ствол березки.

— Смотри, какая она сильная, узловатая. Ветрами ее било, а она выдержала. У нас ведь не растут березы. На весь город шесть штук.

Таня подошла, потрогала ладонью толстую, корявую кору, коснулась листьев. Шепнуть бы ей, березке: «Молодец! Держись!»

— Знаешь, чего отец разбушевался? — внезапно спросил Дима.— Мою работу в ученых записках института напечатали. Заведующий кафедрой овцеводства предлагает идти в аспирантуру.— Он помолчал.— А тебе понравился мой отец?

— Очень,— искренне призналась Таня.

— А мама?

— И мама... ничего, тоже понравилась,— покривилась душой Таня.

— Не она бы — отец меня совсем запил. Ну скажи, у сына научную работу напечатали, другой бы радовался, а он...

Таня робко посмотрела на него. Вот он какой! У него уже есть своя научная работа...

Посидели несколько минут на скамеечке у фонтана, болтали о каких-то пустяках.

Вдруг Дима взял ее за плечо и повернул к себе.

— Слушай,— сказал он радостно и удивленно,— а ты знаешь, какого цвета у тебя глаза?

Таня чуть повела плечом, высвобождая его.

- Ну, серые... — сказала она.  
— Синие они! Совершенно синие... Вот что!  
Таня поднялась:  
— Домой надо.

Свет от настольной лампы по-прежнему падал на раскрытый учебник. Схема производства соды по Леблану... Никто и никогда не говорил ей, что у нее синие глаза... Неужели синие? Нет, так нельзя! Ей надо химию учить. Послезавтра экзамен.

## Глава V

### ДОРОГИ ЗА СТАНИЦЕЙ

И вот Таня опять дома. Ей показалось, что потолки стали ниже, окна меньше, ситцевые занавески полиняли. Раньше Таня не замечала, что голубые цветы на клеенке стерлись, а на углах клеенка порвалась. Дома никого не было. Таня села на табурет. Табурет скрипнул. Васька, лентяй, даже гвоздя не забьет.

Бурная жажда деятельности овладела Таней. Ожесточенно терла полы веником, скоблила ножом, выстирала у колодца полосатые половички и разбросала их по траве сохнуть, протерла окна, обернула тетрадными голубыми обложками горшки с геранью, перечистила песком закопченные чугунки и сковородки. Но как ни переставляла безделушки на комод, все ей что-то не нравилось. Почему раньше ей не резали глаза эта огромная гипсовая кошка, эта синяя вазочка с аляповатыми разводами, пыльные розы из стружки, угловато и мертво торчавшие в ней?

Таня решительно вынула розы, повернула вазочку разводами к стене, принесла со двора небольшой букет ромашек. А что? Определенно лучше. Пластмассовая коробка с пуговицами и нитками, красноголовый деревянный гриб, целлулоидный заяц с поднятым ухом — это все пока пусть остается. Но кошка? Полуметровая, позолоченная кошка с обрюзгой мордой? Таня пристраивала ее и так и этак, наконец поставила на окно, прикрыла занавеской — с глаз подальше!

Пока Таня возилась с комодом и посудой, подсохли дорожки, аккуратно разостлала их.

Теперь ничего, терпеть можно, а потом все будет иначе...

А что, если на ферму к матери пойти? Или в бригаду к девочатам?

Таня вышла из дому.

Как обычно, в жаркие дневные часы станица казалась вымершей. В правлении колхоза окна распахнуты настежь, но и там никого; только на ступеньках крытого шалашиком крыльца в тени дремала старушка, видно дожидаясь председателя.

В поле было удивительно тихо. Ветер шевелил голубые огоньки цикория у дороги, а за ними, чуть не до горизонта, золотая, колкая стерня да горбатые скирды солом.

На обочине, перед лесополосой, кусты девичьих кудрей распушили легкие красноватые метелки.

До чего небо сегодня глубокое. И синее-синее...

В памяти прозвучал Димин голос: «Синие они! Совершенно синие!»

Как неожиданно вошел он в ее жизни! Могла Вера Васильевна не давать ей письма к сестре? Могла Нина Васильевна жить в другом месте? Могли они тогда не встретиться с Димой? Подумать только! Жили бы на одной земле, сталкивались на улицах, проходили мимо и не знали, что он — это он и она — это она...

Вечерами долго бродили вдвоем по городу, шли бульваром, в странном голубоватом свете длинных труб. «Лампы дневного света», — объяснил Дима.

Она рассказывала о доме, о матери, даже об Алеше Шумадо, какие он стихи пишет, только о платочке промолчала. Говорила, как шумит Кубань, беснуется по весне и в середине лета, когда тают в горах снега и вода в ней становится холодной и желтой. Рассказывала, как ездила в станицу Горячеводскую на первый слет ученических бригад и впервые увидела настоящие горы.

Потом слушала. Дима говорил об отце. Он готовит микробрикеты для скота, чтобы дать организму именно те вещества, которых не хватает в почвах и растениях данного района. Это ускоряет и рост и привес. А мать? Напрасно Таня ее сторонится. Она хорошая. Заботится о семье, создает все условия для работы отца, для учебы

Димы. Раньше всякое бывало. После войны сидели на ящиках, ели из глиняных плошек. Стаканы Мария Константиновна сама делала из бутылок. Всех соседей научила. Сейчас, конечно, взяла у жизни реванш. Ковры, безделушки. То китайскую вазу ей надо, то купит отцу зеленую велюровую шляпу, а он с комсомольских лет привык носить кепку...

Таня удивлялась, как она физику сдала. Пойдет на бульвар с учебником, а Дима за ней. Сядет на другом конце скамьи:

«Учи, я тебе мешать не буду».

И правда, не разговаривает. А мысли? Разве с ними справишься?

«А ты дружил с девочками?» — спрашивала Таня.

«Бывало,— смеялся Дима.— Они еще в школе за мной гонялись, записочки писали.— Он увидел, как лицо у Тани невольно стало растерянным и огорченным.— А вот ты, уверен, никогда никому не писала. И вообще ты ежик! И я страшно рад, что тебя встретил!»

Таня шла, вспоминала, и казалось ей, что знает она Диму давным-давно. Вдруг знакомая песня вернула ее к действительности:

Когда над лугом и над сонным садом  
Малиновый раскинется разлив,  
Выходит в поле школьная бригада,  
Задорной песней дали разбудив.

— Девчата! — взмахнула Таня косынкой.

Песня оборвалась, товарищи забарабанили по крыше кабины. Машина остановилась. Когда Таня подбежала, десяток рук протянулся, чтобы помочь ей забраться в кузов.

Девчата визжали. Хлопцы спрашивали об оценках, экзаменах. На Таню обрушили целый поток новостей: в колхозе была египетская делегация, заезжала и в школьную бригаду; прошли спортивные соревнования, по району заняли второе место. Жаль, конечно, что не первое.

— Ты завтра в бригаду приходи!

Словно и не уезжала никуда. И вспомнились любимые стихи:

Я знаю: я нужен степи до зарезу,  
Здесь идут пятилетки года,

И если в поезд сейчас я залезу,  
Что же со степью будет тогда?

Подумаешь! «До зарезу!» Вот зоотехником стану,  
тогда другое дело.

Но нет, пожалуй, это неверно,  
Я, пожалуй, немного лгу.  
Степь без меня проживет, наверно,—  
Это я без нее не могу!

Маша приехала через день. Вошла, словно виноватая. Наталья Ивановна глянула на младшую дочь и, готовая к худшему, решила: глаза прячет, видно, не спокойно у девчонки на сердце, провалилась, наверно.

— Ты головы не вешай,— сказала она.— И старшей сестре не завидуй. Молодая еще, все у тебя впереди.

Но другое мучило Машу.

— Зачислили меня,— виновато потупилась она, а радость сама рвалась наружу, дрожала в уголках губ. Маша подняла голову, взглянула прямо в глаза сестры.— Знаешь, как трудно было. В нашей группе шестнадцать человек совсем срезались. А у меня одни пятерки.

— Слышал, Василий? — растроганно спросила мать и пошла рассказать соседям, что и младшая не подвела; в дверях мать остановилась.— Вы жеребьевку-то бросьте: кому учиться, кому — нет. Я, девчата, еще потяну. Сил хватит...

Маша и Таня перебивали друг друга, обоим хотелось выложить все тревоги, опасения, торжество.

— И чего бы я столько хвастался! — передернул Василий плечом и вышел вслед за матерью.

Через минуту со двора донесся его голос:

— Ну, приехали. Обе. А ты чего три дня дома не был? Слушай, Алексей, взял бы ты меня с весны помощником. Ну чего там, сдали, конечно. Я тебе про дело говорю, а ты все на какую-то чепуху сворачиваешь.

Маша, покраснев мгновенно, оборвала речь на полуслове, прислушалась:

— Это с кем Василий?

— С Алешей... — спокойно ответила Таня.— С кем же еще?..

И вдруг Тане стало жаль Алешу, показался он таким близким, словно братишка Васька. Парень совсем неплохой, свою бы долю ему найти...

## Глава VI

### ЧУВСТВУЙ СЕБЯ КОМСОМОЛКОЙ

Через день у дома Лагутиных остановился парнишка, высокий, нескладный, в кепке, надвинутой на лоб, в синих бумажных шароварах. За спиной у него самодельный, старенький, довольно тощий рюкзак. Лицо у парнишки было угрюмым, и даже показалось Тане неприятным. Он постоял, потом повел плечами, скидывая лямки, бросил рюкзак на скамейку.

Таня не выдержала:

— Эй, парень, чего тебе?

Парнишка поднял голову, угрюмо посмотрел на Таню.

— Или у ваших ворот и постоять нельзя? — неприятно и даже с горечью спросил он.

— Стой, пожалуйста. — Таня отвернулась и вошла в дом.

Прошло с полчаса, а парнишка сидел на скамейке покурившись.

Видно, у человека беда какая-то. Таня вышла за ворота. Парнишка вскочил, настороженно глядя на нее.

— Выкладывай, что с тобой? Не заболел, часом?

— Нет, я здоровый.

— Тогда чего голову повесил? Ищешь кого?

— Да вроде нашел... Лагутины в этой хате живут?

— Здесь. — Таня всмотрелась в парнишку, ахнула: — Саша? Никак, ты?

— Ну, я. — Он сказал это, досадливо пожимая плечами, словно его слова обязательно должны огорчить Таню.

— Так чего ты за воротами торчишь? Чего в хату не идешь? — заволновалась Таня, ничего не понимая.

Она потащила племянника домой, быстро накрыла стол, нарезала помидоров, сала, — голодный, поди. Саша поел с охотой, но оставался таким же угрюмым.

— Ну, а Варя-то, Варя как? — расспрашивала Таня.



— ...чего голову повесил? Ищешь кого?



-- Живет, работает, — неопределенно ответил Саша. Немного словен стал, а малышом болтал без умолку.

Саша покопался в рюкзаке и достал письмо. Он держал его на ладони, словно прикидывая что-то и не решаясь отдать.

— От Вари? — спросила Таня.

Пока она читала письмо, Саша сидел потупив голову, зажав ладони между коленями.

*Дорогая маманька! — писала Варя. — Кланяюсь вам до самой земли. А еще шлю поклоны золовкам моим...*

Как всегда, в своих редких письмах Варя перечисляла всех родственников и соседей по имени и отчеству.

*...Обиделись вы на меня, маманька, вовсе зазря, — читала Таня, — не забыла я Александра Даниловича, хоть и спит он в сырой земле, порубанный проклятыми фашистами. И доси сердце печет от горя. А только, маманька, молодая я, голову приклонить надобно.*

Скоро пять лет, как вышла Варя замуж, и все-таки в каждом письме пишет об Александре, просит у свекрови прощения. Таня знала каждый поворот Вариных сбивчивых писем. Вот сейчас начнет поклоны от мужа передавать. Так и есть.

*А еще шлет вам низкий поклон муж мой, Кузьма Ефимыч Погребняк. А на него, маманька, обиду не держите, он в этом деле невиноватый. Теперь ходу назад и вовсе нету, — Мишеньке нашему три годочка сравнялось. А мне как вы через Александра Даниловича маменькой стали, так по гроб жизни маменькой останетесь.*

*Кланяюсь вам, маманька, и прошу — не оставьте Сашку. Я, маманька, тоже его не оставляю, денег перешлю. Кузьма Ефимыч не против. И сейчас у него сотельная<sup>1</sup> с собой. А только вместе нам жить невозможно: через него у нас в семействе всякая свара идет и семейная наша жизнь шатается. Поперечный он до ужаса и Кузьме Ефимычу покориться не хочет. Такой характерный, что сил моих нету. Я уже и свечки ставила, да зря тратилась: не до меня Миколу милостивому, не до моих бабьих горестей.*

---

<sup>1</sup> Деньги даны в исчислении до денежной реформы 1961 г.

«Эх, Варвара, Варвара,— подумала Таня,— годы идут, а ты не умнеешь». Значит, по-прежнему в церковь бегают. Посты и праздники правит. Видно, и новый муж уму-разуму не научит.

Многих тогда в дни войны поп сумел прибрать к рукам. Если у кого из верующих муж или сын с фронта вернется, по всей станице поп трубил: вымолили его, дескать, жена или мать у бога, за верность, за молитву награда. А Варваре извещение о смерти мужа пришло, ну и уверил ее поп, что сама она в своем горе виновата. Три дня рыдала Варя: «Сами мы, маманька, виноватые, слез перед богом пожалели, поклонов. За грехи покарал господь».

Панихиду отслужила в церкви. Потом поп в дом к Лагутиным появился. Мать тогда тихо, но твердо заявила: «Уходи, батюшка, сын у меня коммунистом был, муж в партизанах погиб. Раньше не веровала — мужу и сыну спасибо. А теперь и вовсе. Твой бог детей сиротит, Гитлера-собаку по свету бегать пустил!..»

А Варя так и прилепилась к церкви: мужа, дескать, не отмолила, сыну счастья вымолю...

Таня взглянула на Сашку:

— Что, Варя и сейчас в церковь бегают?

— Вдвоем они!

— Как? — ахнула Таня. — С кем вдвоем?

— Да с этим самым... с Погребняком.

— Да где ж она такого нашла?

— Вот и нашла,— неохотно откликнулся Сашка.

Пытаясь понять, Таня опять взялась за письмо:

*Не оставьте, маманька, Сашку, а я за вас буду бога молить. Остаюсь с приветом к вам и в надежде Варвара Погребнякова. Жду ответа, как соловей лета.*

Таня читала медленно, сквозь каракули и полное отсутствие запятых продираясь до смысла письма.

— Значит, ты к нам жить приехал? — в раздумье спросила Таня.

— Жалуется, поди? — мотнул Сашка головой и, словно только сейчас Танин вопрос дошел до него, неуверенно добавил: — Вроде бы жить. — Он помолчал и хмуро спросил: — Не прогонит меня бабка-то?

— Ты что, Саша, совсем бабушку забыл, если такое спрашиваешь? Помнишь, она тебе всё пела?

— Яблоки давала,— без улыбки и тем же угрюмым

тоном добавил Саша; он подошел к стене, где висел портрет Александра Лагутина.

— Чего так смотришь,— сказала Таня.— Ведь и у вас такой есть.

— Нету! — отвернулся Саша.— Этот всё... Понапился... Глаза красные. Раз! — портрет со стены и в клочья. Я его тогда,— Саша усмехнулся, и недобрая это была усмешка,— за руку зубами... Аж кровь потекла.

Саша не сказал, как долго и сосредоточенно бил его тогда отчим. А когда мать бросилась к сыну, отчим только крикнул: «Варвара!..» И она остановилась как вкопанная. Промолчал, но словно тени пережитого прошли по его лицу, заставив побледнеть, плотнее сжать губы.

— Майка у тебя грязная, видно, запыхилась дорогой,— сказала она.— Есть во что переодеться?

— Я ее сниму, постираю.

— Сама я постираю.— Она отодвинула ящик комода.— Вот Васькину пока надень.

Саша натянул на себя голубую рубашку, закатал рукава.

— Ты вообще не бойся...— Он покрутил головой на длинной, тонкой шее.— И бабке скажи...

— Бабушке,— мягко поправила Таня.

— Ну, бабушке. Я зря хлеб есть не стану. В колхоз пойду или куда там еще...

— Ты какой класс кончил?

— Ну, четвертый.

— Ты же с Василем погодок!

— А я... не учился. Мать на стройку пошла. Я с Мишкой нянчился. Потом пошел в пятый, а тут с чего-то — раз-раз! — за два часа собрались и подались в другое место.— Он махнул рукой, досадливо нахмурился.— Черт с ней, со школой!

Таня взглянула на ходики — шестой час. Вот-вот пригонят на ферму коров доить. Раньше восьми мать не вернется. Надо пойти ей навстречу. По дороге домой поговорить обо всем, что принес с собой Сашкин приезд.

— Ты оставайся, отдохни после дороги,— сказала Таня,— а я пойду, дело у меня есть. Василий и Маша вот-вот вернутся.

— Я не больной — отдыхать,— хмуро бросил Сашка.— Огород полью, нехай жара малость спадет.

Таня шла быстрым шагом. Под каблуком звенела

спекшаяся земля. Сколько тысяч раз прошла этой тропкой мать до утренней зорьки, в полдненное пекло, в буран и слякоть.

Вправо-влево вьется недалняя тропка, обегает заросли колючего татарника, замшелый, ноздреватый камень, сама несет в балочку и вот уже вынырнула из нее. Наверху пахнет полынком. Низкорослый, серебряный на вечернем солнышке, раскачивает он желтые шарики цветов. Вот-вот зазвенит ими, как бубенчиками. Может, и правда, не цикады это тянут томительную и торжественную песню, а полынок звенит?

Когда-то Сашка и Василий, словно котята, возились на цветных половичках, а Варя то плакала, прижимая Сашку к груди, то радовалась, подбрасывая его кверху: «Сынка, сыночек!» — а сейчас пишет: «Через него у нас в семействе всякая свара идет». Тогда родные звали Сашку «мужичок-пудовичок», такой он был плотный, словно сбитый, а сейчас бледный, шея как у журавля.

Приближаясь к ферме, Таня увидела: коровы, помехивая хвостами, отгоняя назойливых слепней, с протяжным мычанием неторопливо вливались в загон. Доярки уже спешили со всех сторон, на ходу завязывая тесемки у халатов, позвякивая ведрами. На краю каменного колодца сидел Швыдченко в шлепанцах на босу ногу, в рубашке без пояса, жевал хлеб с салом. Мухи, огромные, зеленые, толпились в воздухе, пахло навозом.

Швыдченко приветливо помахал ей рукой:

— Никак, вместо матери пришла? Рады будем!

Почему — вместо матери? Таня насторожилась, и, как бывает в таких случаях, тревожное предчувствие овладело ею.

— Пока нет, — сказала она. — Мать мне нужно увидеть.

— Тю! Чего ж ты сюда тащишься? — вытаращил глаза Швыдченко.

— Да к матери. — Таня почувствовала, что губы у нее пересохли.

— Ты чего? С луны свалилась? — Швыдченко подбил пальцем левый ус. — Да твоя мать уже третью неделю с фермы уволенная. На кукурузе она.

Значит, мать скрыла свою обиду. Скрыла, чтобы дочерям не помешать! Ничего не сказав, Таня повернула обратно.

Мать она застала уже дома. Заплаканная Наталья Ивановна обнимала Сашку, а тот смотрел настороженно. Это еще ничего не значит, что бабка сейчас ласковая. Отчим поначалу тоже ничего был, прикидывался. Никому не доверит Саша своего сердца. Лучше вот так, не надеясь на хорошее, быть готовым к обороне. И пусть не выдумывают: учиться он не пойдет. Сначала помянут, а потом заставят бросить. Василий вон сколачивает во дворе топчан, говорит: «Ты, Сашка, на моей кровати будешь спать, а себе я топчан налажу». А потом начнет кроватью попрекать да рубашкой. Впрочем, пока Таня ходила, Сашка успел выстирать майку и еще влажную натянул на себя. Так-то лучше. Спокойнее.

— Я сейчас в правление пойду,— сказала Таня матери.

— Зачем еще? — дрогнули у матери брови.

— Чего болтал человек! — Таня была глубоко возмущена председателем.— Болтун! «Езжайте спокойно, вашу мать в обиду не дадим»! — с горечью передразнила она Ивана Гордеевича.

— А Иван-то Гордеич, может, и не знает: колхозников-то поболее тысячи, где за каждого думать,— заступилась мать.

— Не знает, вот и надо сказать.

Помолчав, мать тихо сказала:

— Никуда не пойдешь. Не похвалю Швыдченку. Дрянь человек! А только шестой десяток домениваю. Сил у меня не хватает коров доить. Руки болят. Отдоилась.

Напрасно протестовала мать. Напрасно большими и чуть испуганными стали глаза у Маши.

Учиться Таня будет заочно. И для нее лучше. Подумать только, еще пять лет просидеть за партой! Да за это время позабудешь, как корова мычит. Чемодан теперь по праву попал к Маше: уезжает-то учиться она, но никакие замки и никелированные углы не радовали ее — сестра остается.

Пришел Алеша и, не глядя на Таню, уговаривал ее идти в тракторную бригаду.

— В общем-то, это здорово — девушка-тракторист! Ты поразмысли. Стала бы вроде Паши Ангелиной.

Таня отказалась. Вася только ахнул: зря сестру счи-

тают умной — от такого дела отказалась ради каких-то коров, у которых только и уменья, что мычать да лспать.

Иван Гордеевич планы Татьяны одобрил:

— Ты не теряйся. Там у Швыдченки по старинке живут. Ну, и чувствуй себя комсомолкой! Ясно? Голос не бойся подать. Конечно, не зря, а если по делу. Ясно?

Только одно было не ясно: как же с Димой? Может быть, выдумала она все? И Диму, и неожиданно возникшую дружбу с ним. Перевод на заочный можно было бы оформить и письмом, но тридцать первого Таня все-таки была в Ставрополе.

Все оказалось правдой. Они опять сидели на горке. Дима был так огорчен ее решением, так поник, что она невольно чувствовала себя старше и сильнее.

— Я эти дни не знаю, как прожил. Хотел тебе писать. Все сюда ходил. Послушай, неужели нельзя иначе? Подумай, сессия только в ноябре. До ноября не видется?

Таня улыбалась: Дима есть, думает о ней. И каждый день станет приближать встречу.

На прощание они поцеловались. Вот и все. Ничего нет сейчас на свете. Только он и она. Таня верила: что бы ни случилось, они будут вместе. Навсегда.

Раннее утро. Еще заря не раскинулась по небу широко и вольно, только чуть алеет небо с краю. На ферму идет девушка. Ей двадцать лет. Таких девушек много на свете. У нее веселые, задорные глаза. Они серые, но иногда могут казаться совсем синими. Две русые косы уложены в несколько рядов; так заплетают и укладывают волосы старшие школьницы. У нее высокий, чистый лоб, загорелое, чуть скуластое лицо с твердым и красивым очерком губ. Идет она быстро, не прочь перепрыгнуть через овражек или взбежать на пригорок, словно там ждет ее невеста какая радость. Ей хочется петь, и она поет. В руках у нее пестрая косынка, концы которой вьются по ветру.

Это студентка первого курса, доярка Таня Лагутина. Она идет на работу и все ускоряет шаги. Впереди нее по тропинке вверх поднимается из балочки группа доярок. Надо догнать! Вместе идти веселее, и песня, которую сейчас мурлычет она себе под нос, обретет тогда новую силу, свободно полетит над степью со взгорья на взгорье, тревожа утреннюю тишину. Прислушается к ней жаворонок и ввинтит в голубое небо свою ответную песню,

цикады неуверенно возьмут две-три ноты в тон и поведут свою партию; добродушно и ласково вступит в нее шелестом кукуруза; захочет и солнышко услышать эту песню — поднимется над горизонтом. Проснется степь...

Таня, хорошая моя девчонка, смело иди вперед! Мне очень хочется знать, что будет с тобой дальше.

Счастливого пути тебе, Таня.

## Глава VII

### НАЧАЛО НЕ ОЧЕНЬ ВЕСЕЛОЕ

Шумно дышат коровы. В полумгле их морды кажутся грустными, сосредоточенными, их большие, спокойные глаза — задумчивыми, словно знают они что-то свое и только сказать ничего не могут.

Изредка раздается короткое мычание. Для постороннего уха все коровы мычат одинаково: то протяжно, то отрывисто — вот и вся разница. А доярка слышит в этом мычании призыв или недоумение, тоску по ласковой руке или упрек за холодность или небрежность, жалобу или благодарность. Нет, не просто так тянет корова свою низкую, басовитую песню.

Вот Ланка поднимает каштановую, словно точеную голову, перекидывая губами из стороны в сторону клочок душистого сена,— это не случайное движение, она ждет, что Таня погладит ее.

Пять коров уже отдоены, семь нужно подоить, а пальцы уже как деревянные. Какая это, как тетя Паша говорит, «болючая» жилка, что соединяет большой палец с указательным! И до чего неудобно сидеть на маленькой скамеечке. Хочется выпрямиться, раскинуть руки. Вот звонкая струя молока становится все глуше. Молоко бежит с переборами, и струя иссякает. Опадает пена в подоийнике, похожая на белоснежные соты. Она и пахнет, как мед, цветочной свежестью, сладким теплом. Вероятно, все. Можно встать. Но Таня подавляет это желание, спокойно, неторопливо массирует вымя, и, словно в награду, Ланка отдает еще со стакан молока. Таня относит молоко. Принимает его сегодня сам Швыдченко; отрывисто щелкает замок у весов.

— Ты, Лагутина, смотри не торопись,— хрипловато поучает он, записывая удой Ланки.— Я вас, молодых, очень хорошо знаю, вам бы скорее отделаться, а за ферму я в ответе.

— Молодые плохие, старые ненадобны,— с обидой сказала Таня, вспомнив мать.

— Разговорчивая какая! Ты дело делай, а кому языком трепать, без тебя найдутся,— ворчит вслед ей Швыдченко.— Образованная...

Работает Таня на ферме уже шестой день.

— Вот будет твоя группа,— сказал Швыдченко, приводя Таню в коровник.— Людей у нас не хватает, а ты опять же не с луны свалилась, понимаешь, что к чему. Вместо матери сколько раз доила.

— Мне бы ту группу, что у матери была,— заикнулась Таня.

— Капризов не разводи,— отрезал заведующий,— та давно закрепленная, не стану я туда-сюда людей гонять. Не футбол.

Швыдченко вначале был доволен приходом Тани на ферму: молодая, сильная, от работы бегать не станст, трудовых кровей.

— Смотри, Ефим Алексеич, какой народ на фермы пошел,— сказал Иван Гордеевич,— с аттестатом зрелости. Это, брат, нам с тобой смена пришла.

Швыдченко поежился: и как он сам не догадался, что в аттестатах молодежи таится для него такая опасность? Он стал особенно придирчив к Тане, слово «образованная» звучало у него ругательством.

...Позвякивая ведром, Таня опять идет по коровнику. На очереди Ласточка. Что с ней делать? Уж больно она строптива.

Таня придвигает скамейку к Ласточке. Коровенка переступает ногами, норовя задеть ведро. Прямо выплясывает, проклятая, как в цирке.

— Воюешь? — раздался сзади нее насмешливый голос.

— Воюю,— стараясь быть спокойной, ответила Таня, не поднимая головы. Она великолепно знала, что за ее спиной стоит Нюра Галаган.

«Ты, в случае чего,— сказал Швыдченко Тане в первый же день,— к Нюре обращайся. Она у нас на ферме королева удоев. Постигай, значит».



И Таня поверила: есть у кого учиться. С открытой душой обратилась она к Нюре, но та сразу ее оборвала.

— А я тебя учить необязанная,— лениво прищурилась Нюра, поведя великолепными бровями.— Меня небось не очень-то учили. Сама до всего дошла.

Таня знала от матери, что Нюре на первых порах помогали все. Но, как только имя ее стало появляться в печати, она забыла всех, кто ей помогал. Мать умолчала, что особое положение Нюры на ферме подкреплялось и особым вниманием Швыдченки, но доярки тут же посвятили в это Таню.

— Сохнет он по Нюрке.— Тетя Паша досадливо махнула рукой.— Совесть окончательно раструсил по степи. У самого жинка, трое ребят, а он: «Нюрочка, дозвольте проводить?..» Ей бы отвадить такого провожатальщика, а она, ровно кошка, глаза щурит: вот-вот мыша проглотит. Тыфу!

Таня совсем не хотела, чтобы Нюра была свидетельницей ее единоборства с Ласточкой, но Нюра продолжала стоять рядом.

— Еще студентка,— укорила она,— а не поймешь, что ко всякой животине свой подход нужен! Ты ей песню спой, она к песне приучена.

«Врет, поди! — подумала Таня, хотя о подходе и мать говорила и тетя Паша.— А если не врет, если помочь хочет?»

— Какую? — спросила Таня.

— Лирическую, пожалобнее,— сказала Нюра, отходя.

На всякий случай Таня вполголоса запела «Рябинушку». Это не произвело на Ласточку никакого впечатления. Таня запела погромче.

Сзади раздался смех. Смеялась Нюра, рядом с ней стояли две доярки.

— Девчата,— издевалась Нюра,— у нас еще такой моды не было заведено — коров песней ублажать.

Таня вскочила, руки невольно сжались в кулаки:

— Идите отсюда! Эх, ты, сама ведь научила! Провокатор ты!

— Таких и учить, что ушами хлопают.

— Я людям верить привыкла!

Слово за слово ссора заходила дальше.

— Без году неделя на ферме,— кричала Нюра,— а голос поднимает!

В эту минуту Ласточка дала знать о себе громким мычанием. Забытое Таней ведро со звоном покатилося, молоко разлилось по полу. Хорошо еще, что надоено было всего с литр.

— Доярка тоже мне! — презрительно повела плечами Нюра.

Хотелось плакать от обиды на Ласточку, на Галаган, на девчат, которые смеялись над Таней.

— Вот чумовая коровенка! — рассердилась тетя Паша.

— Тресни ты эту Ласточку промеж глаз. Будет слушать, — посоветовала молоденькая доярка Галя Гвоздева.

Молча, стиснув зубы, Таня подняла ведро и снова под села к корове.

— Помой ведро, — сказала тетя Паша. — Помогла бы я тебе, да что с ней делать, верченой, ума не приложу.

Таня вымыла ведро, вернулась; около станка стоял старший скотник, Иван Кириллович Шумадо, отец Алеши.

«Ему еще что понадобилось?» — устало подумала Таня.

Иван Кириллович протянул ей несколько кусков жмыха.

— Коровенка балованная, покорми ее да, пока кормишь, разговаривай, чтобы она твой голос запомнила, — учил он.

Ласточка, вытянув голову, мягкими губами брала жмых. Таня поглаживала ей морду, крутые рыжие бока.

— Пойми ты, глупая, вѣдою — тебе же легче будет, — с ласковым укором негромко говорила Таня, и корова словно прислушивалась.

Молоко Ласточка отдала.

— Ласточка, — сказала Таня, ставя ведро на весы. — Литр на меня запишите, пролила-таки поначалу.

— Два записываю, — невозмутимо откликнулся Швыдченко.

Вот и поговори с ним!

— А почему у нас фартуки синие? На других фермах белые, а у нас синие? — в отместку за недоверие спросила Таня.

Швыдченко вместо ответа повернулся к ней спиной.

Пело свою незатейливую песню молоко, падая в по-дойник; шумно дышали коровы; справа от Тани разда-вался спокойный и ласковый голос тети Паши; слева Галя Гвоздева негромко обещала непокорной корове:

— Вот ка-ак звездану тебя, будешь знать.

Как ни в чем не бывало подошла Нюра Галаган, оста-новилась, развязывая тесемки на халате:

— Татьяна, ты проворная, помоги убраться, а то неко-гда мне сегодня.

— Мне тоже некогда, — отказалась Таня.

Нет, Нюре она больше не помощница. Дня три назад Нюра вот так же вечером попросила помочь: мать, дес-кать, больная. А утром смеялась: «Ну и картину я, дев-чата, смотрела — «Штепсель женит Тарапуньку». Таню она даже не поблагодарила, а только насмешливо ска-зала, проходя мимо нее: «Здоровеньки булы!»

— Гордая больно, — сказала Нюра с угрозой, услы-шав отказ. — Не пожалей!

— С ней только свяжись, рада не будешь, — говори-ла Галя, скобля скребком пол. — Швыдченко-то под ее дудку пляшет. А она ему ну чисто все переносит...

Таня убедилась в этом скоро. Через неделю она уже заканчивала дойку одновременно с большинством доярок.

— Ты чего, как на парах, летишь? — спросил ее Швыдченко. — Поди, молоко оставляешь?

— Проверьте, — обиженно отозвалась Таня.

— Не учи, — сказал Швыдченко и взял подоийник. — Ничего, — буркнул он одобрительно, проверив двух ко-ров. — Работать ты, Лагутина, видать, можешь. Только свары не заводи. Слышал, ты на днях уже с кем-то сце-пилась.

— С Галаган, — с вызовом сказала Таня.

Швыдченко покачал головой.

— «С Галаган»! И поворачивается у тебя язык! Да такой доярки, как Галаган, на весь район, может, нету. А ты кто? Думаешь, работник? Ты еще козявка неопре-деленная! То ли будет с тебя толк, то ли нет. Нос-то не дери, что школу кончила. Ты вот по четыре тысячи лит-ров дай!

На следующий день Швыдченко на ферму не пришел. Таня заметила, что кое у кого из доярок оказались с со-бой бидончики. Где они их прятали, никому не известно.

У тети Паши бидончика не было, она наполнила сливками резиновую грелку.

— Тетя Паша, как же это? — ахнула Таня.

— Да вот сливочек... — засовестилась тетя Паша и сразу ожесточилась. — Кому-то можно, а мне, выходит, нет. Ты посмотри на Нюрку Галаган. Та и вовсе краю не знает. Брат у нее как прослышал, что Швыдченко с вечера пьяный лежит, во какой бидонище приволок, литров на пять!.. — И тут же забеспокоилась по доброте душевной. — Может, тебе какую посудинку расстараться?

— Нет, тетя Паша, без чужого проживу.

— Гордая. В мать пошла. Наталья тоже никогда не пользовалась.

Значит, мать знала? Знала и молчала. Спокойно и хозяйственно позвякивают бидончики, раскрывают серые пасти кошелки. Вон Галя спокойно нагребла полную кошелку жмыха...

— Ты чего делаешь? — возмутилась Нина Корнакова.

Она выхватила из рук Гали кошелку, раздавшуюся в боках, и высыпала жмых.

— Горстку такую и ту взять нельзя, — расстроилась Галя. — А Швыдченко вечер полную бричку жмыха отвез. Ему можно! Он заведующий, а как доярка, так ей и попользоваться ничем нельзя, — ворчала Галя и даже носком ботинка толкнула кошелку, словно именно та была виновата в ее огорчениях.

— Ты видела, что увез? — горячилась Таня. — Значит, заявить надо.

— Ничего не видела, — замахала руками Галя. — Ничего не знаю. Доносить не приучена.

— Да как тебе не стыдно! Ты комсомолка!

— Вон чем попрекаете. «Комсомолка»! А я, может, уходить надумала.

— Уходить? Из комсомола?

— Кричите: «комсомол», «комсомол», а толку что? Взносы платить, да за каждую малость «комсомолом» тебя попрекают. Вот и вся польза от вашего комсомола. А на собраниях скущища: бидон молока принести — сразу скиснет... — И она ожесточенно стянула на себе концы белой косынки.

Вечером первый раз в жизни у Тани с Натальей Ивановной произошел крупный разговор.

— Ворует,— сказала мать на вопрос дочери о Швыдченке.

— А ты молчала?!

— А чего зря о стенку головой биться?

— Снимать таких надо!

— Не снимут его...

И веря и не веря, слушала Таня рассказ матери.

— Ивана-то Гордеича «бывшие» по рукам и по ногам связали. Вот смотри, Дормидонтов — бывший председатель колхоза. Не забыла, поди, как он из конца в конец станицы на бричках целым поездом носился. Глаза оловянные, пьяные. Лошадь ли тебе надо или сена корове — все даст, душа человек! Только пол-литра поставь. Ну ладно, дошло до райкома — сняли. Заместо него Глущенко поставили; хрен, говорят, будет редьки послаще. Только скоро раскусили колхозники: сласти не получается, горечь одна. Тут новая линия вышла: Ивана Гордеича из города прислали...

Таня знала, как хмуро приняли Ивана Гордеевича изверившиеся в председателей колхозники.

Он стоял на сцене, ошарашенный и огорченный ядовитыми репликами, летевшими из зала:

«Ты как потребляешь, стаканом или кружкой?»

«Жинка, поди, в барынях ходит, ногти красные».

«Квартиру-то в городе за собой оставил?»

«А насчет севооборота соображаешь или как?»

«Он понимает, как в кармане рубль оборачивается».

Сдвинув брови, Иван Гордеевич шагнул к самому краю сцены, голос его звучал очень твердо:

«Как рубль в колхозном кармане оборачивается, председателю надо знать».

«Про твой карман речь!» — перебили его.

«Насчет севооборота разбираюсь, агроном,— спокойно продолжал Иван Гордеевич.— Квартиру в городе жилуправлению сдал. Жинка в полевую бригаду пойдет. Насчет выпить — в праздник выпью, но пьяным не увидите».

В зале зашумели:

«Тише вы, горлопаны! Похоже, с разумом человек».

Лицо Ивана Гордеевича стало еще напряженнее.

«Вы что думаете? В другом месте на харчи не зарабатую? Подумаешь, радость: колхоз-то какой! Первый... от конца. «Рассвет» называется! Потемки, а не рассвет!»

А я за эту развалину партийной совестью отвечать должен. Овец у вас сколько передохло? Из тракторов половина на ходу, каждая десятая хата заколочена».

В зале раздались возмущенные голоса:

«Ты нас не кори!..»

«Нам, может, самим наша жизнь поперек горла!»

«Не нравится, значит,— даже обрадовался Иван Гордеевич.— Мне тоже. Так, чем ругаться, ахоть да насмешки строить, давайте по-серьезному разговаривать...»

Видно, и Наталье Ивановне припомнилось это первое собрание, потому что она сказала Тане:

— И правда, с ним рассвет занялся, зашевелилась в колхозной кассе копейка, строить начали. И к людям с подходом, уважает он трудового человека. А только хоровод вокруг себя не разгонит. Трудно ему. Вот считай: Дормидонтов остался в колхозе, Глущенко, Швыдченко — тоже. Вот тебе одних председателей трое. Васильев, что в райкоме инструктором был. Мы как-то с бабочками посчитали — семь начальников. И каждый себя высоко ставит — он, дескать, не хуже председателя командовать может. Опять же на жизнь в обиде. Он вроде размахнулся бы от края до края, а тут сиди на ферме или в бригадах ходи.

— А Иван Гордееч слепой, что ли?

— С одним бы и потягаться можно. А ежели их семеро? Чисто хоровод, уцепились за руки. Пьяная, бестолковая, а сила.

— Васильев не пьет,— возразила Таня.

— Не пьет, а всё одна лавочка. Он одними умными словами забьет начисто. Иван-то Гордееч послушает да и плюнет: «Хороводьтесь! А мне работать надо».

— Вот и пойти к нему насчет Швыдченки...

— Молодая ты, знай работай, а в чужое дело не встрейай,— нахмурилась мать.

Тане стало горько. Да, молодая, вот и скажите мне, как себя вести, что делать, чтобы перед людьми глаза не опускать?

— Молчать я не буду. Нельзя молчать! — твердо сказала она.

— Ну, и вылетишь с фермы.

Когда Наталья Ивановна вышла из комнаты, Сашка, полуотвернувшись, буркнул:

— Чувяки у тебя порвались. Дай мне. Я чинить умею.

— А уроки сделал?

— Моя забота!

Таня достала чувяки, подала племяннику. Сашка взглянул Тане прямо в глаза.

— Ты не слушай ее,— мрачно сказал он и вдруг почти крикнул: — Если кто сильнее — значит, молчать перед ним?

## Глава VIII

### ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ЗАВТРА...

Коля Винниченко уже около года заправлял комсомольскими делами фермы так же неторопливо, как своей упряжкой. Подвозя корма или направляясь с молоком на сдаточный пункт, он даже из приличия не считал нужным хлопнуть хворостиной или поднять голос: быки дорогу знают, ползут и ползут себе. Быки — скотина ленивая, чего с них возьмешь, известно: «МУ-2».

Комсоргом Коля стал неожиданно для себя. Может, девушки показали этим внимание к единственному парню, а может, решили сами увильнуть от трудного дела, но так или иначе, а проголосовали за Колю единогласно. Он было растерялся, но быстро обрел обычное спокойствие: есть старшие, что надо будет — скажут.

Работал ни шатко ни валко, а... «основные директивы выполнял»: собирал взносы, проводил подписку на газеты, организовал участие молодежи в «Неделе сада», приводил на ферму лекторов и сам аккуратно посещал доклады. Когда услышал, что кровное дело комсомола — борьба за мясо, молоко и шерсть, завел точный учет удоев и с тех пор в любую минуту мог сказать, кто из комсомолок впереди.

Однажды Коля поручил Тане с Ниной подготовить красный уголок для комсомольского собрания. Дело в том, что в красном уголке жил учетчик, веселый и разбитной парень Валька Росликов. Здесь у него стояла койка, покрытая серым солдатским одеялом, с огромной подушкой в розовой замызганной наволочке — «напернике», как он говорил. Изредка кто-нибудь из девчат отстирывал «наперник» на совесть, он цветастым флагом играл на ветру, свешиваясь с акации, пока сох, но

скоро опять принимал затрапезный вид, что ничуть не смущало хозяина. Два табурета, длинная узкая скамья и неуклюжий стол довершали убранство комнаты. На столе, застланном газетами, у стены стопкой лежало два десятка тоненьких трепаных книжек, стояла бутылка с чернилами, около которой расплылось ядовито-лиловое пятно.

Висели какие-то старые плакаты с оборванными углами.

Девушки старательно подмели земляной пол, выгребли изрядную кучу подсолнечной шелухи, вымыли окна, засиженные мухами. Росликов, стоя у косяка, посмеивался: почаще бы собрания проводить, вот и был бы порядок!

Таня сняла потерявшие цвет и смысл диаграммы. Сжечь бы весь старый хлам, но более опытная Нина удержала ее:

— Сверни да веревочкой завяжи, засунь за печку, а то еще, того гляди, Швыдченко крик поднимет: «Наглядную агитацию сгубили!»

Девушки развели известку, бросили синьки, в две кисти прошлись по стенам и потолку, выставив кровать учетчика под открытое небо. Запахло домом, чистотой.

— Ну и девчата! Любую замуж беру,— радовался Росликов.

Таня с каким-то внутренним подъемом ожидала собрания.

— Ты куда? — удивилась она, видя, что Галя Гвоздева направляется домой.— Собрание же.

— До дому пойду,— решительно заявила Галя.— Надоело слушать одно и то же...

— Имей в виду, Гвоздева,— вырос рядом Коля,— мы обсудим твое поведение, если уйдешь.

— Обсуждайте. Я разве против...

Галя так и не осталась.

— Ты, Николай, надолго не заводи,— бросила Тая Винниченко, проходя мимо брата.

— Глянь, как наши комсомольцы на собрание рвутся,— заметила Нина Тане,— удержу нет.

Перед собранием Коля поставил всем в пример «Лагутину и Корнакову, которые добросовестно отнеслись к комсомольскому поручению и хорошо подготовили помещение для собрания».



Во время доклада чувство стесненности и скуки все больше овладевало Таней. Интересная штука — цифры: они могут требовать немедленных решений, звать к действию, быть рубежом, дорогой в будущее. А Коля читал их, запинаясь, по бумажке. Они вытянулись в унылый ряд: центнеры, гектары, проценты... Думалось только: «Когда же конец?» Коля читает, читает монотонно, без выражения, сам не схватывая сути, не радуясь и не удивляясь. Бредет по цифрам, словно по степи едет на своих «МУ-2».

...Таня видит двойную строчку фонарей, розы; они с Димой идут мимо памятника на горе. Вздрагивает: заснула на комсомольском собрании. Нехорошо и горько становится ей. Скучно? Неужели потому, что Коля читает чужой доклад, написанный где-то в районе и отпечатанный на папиросной бумаге? Как же так! За этими цифрами жизнь, ее судьба, судьба фермы, колхоза.

«Лагутина добросовестно подготовилась к собранию!» Неправда! Не подготовилась, окна мыла, стенки белила! Не нравится, как говорит Коля, так помоги ему! Он восемь классов кончил. А ты первая выпускница школы, которая пришла на ферму, медалистка, студентка, с чем ты пришла сюда?

— Товарищи,— закончил Коля,— живем мы в замечательное время, и потому нам определенно надо подтянуться. Семь комсомолок на ферме, а лучшая доярка — не комсомолка.

Девушки говорили мало и неохотно.

— Да чего там, понимаем, работать надо по-комсомольски. И Нюру Галаган догнать. Только если одному человеку и коров лучших отберут, и концентратов для них вволю, это вроде и нечестно. Так легко рекорды ставить. А вот с Галей Гвоздевой беда — корове может кулаком в бок или по морде дать. И не отдаивает до конца — лишь бы скорее. К делам комсомольским остыла. На собрание вот не осталась.

— Замуж Галя выходит... — пояснил развеселый девичий голосок.

— Ты предложение вноси,— перебил ее Коля.

— Дояркам замуж не идти,— засмеялись девчата.

— О разном говорим вроде правильно. А вообще-то можно говорить, можно нет... — начала Нина Корнакова. — А вот главное — как зимовать будем? Кормов

мало. Силос когда закладывали, Швыдченко пьянствовал.

— Болел он,— перебил ее Коля.

— «Болел»! С перепоею отлеживался,— спокойно продолжала Нина.— Корма — главное. Хватит ли? Травостой не ахти какой был...

Девчата уже давно поглядывали на дверь, и косынки половчее завязали, и жакеты обдернули,— кончать разговоры пора, но раздалось живое слово, и не осталось ни следа скуки или равнодушия на лицах.

— В степи трава давно погорела. Коровы не наедаются. Бедная худоба ходит, ходит...

— Молоко-то у коровы на языке. Корма дай — удои получишь.

— Называется, зеленый конвейер спланировали! Нет чтобы летом, попозже кукурузу посеять. Ели бы сейчас коровушки зеленую, молодую...

Таня волновалась. Две недели она здесь, а не задумалась, как живет ферма. Увидела только то, что сверху лежит: Швыдченко грубит, доярки молоко крадут, Нюра Галаган нос задирает, а главного не увидела. Ну, старалась, работала, но разве это называется жить по-комсомольски?

Вот Галя Гвоздева. Она ей в трудную минуту, когда Ласточка безобразничала, хоть совет от души дала: «Тресни ее по морде». Пусть плохой совет, но ведь помочь хотела. А Таня путного слова для нее не нашла.

— «Постановили...» — читал Коля.

Решение было длинное, написано хорошо — недаром Коля, покопавшись в делах, отыскал какое-то позапрошлогоднее, подходящее к данному случаю.

Проголосовали быстро, поправок не вносили.

— А как же,— заикнулась было Таня,— девчата насчет кормов говорили.

— В рабочем порядке,— свел брови Коля.

Вечером Таня писала письмо:

*Дима! Я сейчас вижу, что еще очень неопытная и глупая. И ничего я еще не кончила. Никакой школы. Что-то делала, сидя за партой, а учеба-то, вот она началась...*

Таня задумалась. Как напишешь о комсомольском собрании? И стоит ли писать о себе? О девчатах нужно... Рука невольно смяла листок.

Спать пора. Ой, как хочется спать! Только бы голову донести до подушки. Как хорошо, что все поправимо. Завтра будет новый день. Как хорошо, что есть завтра...

## Глава IX

### В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

Утром после дойки Таня и Нина подошли к Коле:  
— Ты говорил со Швыдченкой?

— Ну, говорил...

Коля не соврал. Проходя мимо него, Швыдченко бросил:

«Ну как, Николай, состоялось собрание?» — «Состоялось, Ефим Алексеевич». — «Нажмете, значит?» — «А как же!» Правда и то, что Коля хотел рассказать подробнее о выступлениях комсомольцев, но Швыдченко уже заспешил по своим хозяйственным делам.

— А он что? — спросили девчата.

— Ничего.

— Вот что, Коля, пошли к нему вместе, — предложила Таня.

— Никуда я не пойду! Мне сейчас на приемный пункт молоко везти.

Словно в подтверждение его слов, рядом раздался недовольный голос Швыдченко:

— Долго, Винниченко, копаешься. И быки не запряжены.

Коля кинулся к быкам, подвел их к бричке.

Таня и Нина переглянулись и почти одновременно шагнули к Швыдченке.

— В чем дело? — поднял он брови.

Девушки заговорили, перебивая друг друга. В стремительном потоке их слов Швыдченко разобрался не сразу, но, как только он услышал слова «кормов мало, полы погнили», понял, о чем шла речь у комсомольцев.

— Винниченко! — заорал он.

Коля и запрягать бросил.

— Винниченко, чего у вас вчера было, комсомольское собрание или так, болтовня? Обрадовались, что заведующего нет, давай кто во что... Всякие сплетни сплетать.

Это кто вам сказал, что силос неправильно заложен? Почему отпор вредным настроениям не дал? «Солому к ферме подвезти»! Нечего приbedняться! Без соломы обойдемся. Солому Дормидонтов решил сжечь еще на поле, чтобы мыша не разводилась. Вы о чем обсуждать должны? Какая линия, какой прицел у комсомола? Лучше работать. На ферме семь комсомолок, теперь еще одна для разговору появилась,— кивнул он головой в сторону Тани.— А кто впереди? Анна Галаган. Вы мне зряшную говорильню прикройте! — кричал Швыдченко.— Вы обязательство давайте! На всех фермах берут, а вы отстаете...

Таня не выдержала:

— Обязательства взять, чтобы «как у людей было». А если они в воздухе повиснут, это вас, Ефим Алексеич, не касается? А мы хотим сначала на ферме создать условия для хорошей работы.

— Значит, так. Вам условия? Дворец наместо коровника? Может, еще худóбу одеколоном опрыскать? А вы потом еще посмотрите, работать или нет. И потом, кто это тебе, Лагутина, поручал от имени комсомольцев требовать? Для этого комсорг есть.

А комсорг стоял с потупленной головой, кирпичным румянцем на щеках, стиснутой в руках кепкой.

— У нас комсорг хуже мокрой курицы! — сорвалось у Тани.

Ни слова не говоря, Коля повернулся и пошел к упряжке.

— Вот оно что...— Злые глазки Швыдченки взяли Таню на прицел.— Подрывную работу ведешь. Заведующий плох. Комсорг комсомольский тоже. Одна ты, выходит, хороша. Не заносись высоко, Лагутина, падать низко будет!.. У тебя почему Ланка мало молока дает?

— Так я недавно группу приняла...

— Оправданий ищешь?

— Ефим Алексеич, не обо мне речь...— сказала Таня.

— Ага! Не любишь критику. Правда глаза колет. Ты себя не очень высоко ставь. Никакой тебе особой цены нету. Вчера подойники грязные оставила.

— Неправда, мыла я их...

— Я тебя, Лагутина, в последний раз предупреждаю: поблажек не жди.

Показывая, что разговор окончен, Швыдченко повернулся и зашагал по двору.

Мимо девушек неторопливо прошли быки. Коля сидел на передке брички, смотрел в сторону. Осеннее солнце играло на чистых бидонах, золотило выцветшую рубашку возницы.

— Зря ты его,— вспыхнула вдруг Нина.

— Размазня! Телок! Тоже мне выбрали комсорга!

Нина смотрела вслед упряжке, смуглое лицо ее было и чуть обиженным и радостным. «Наверное, дружат они с Колей»,— подумала Таня.

— А Швыдченко теперь тебя съест,— уверенно сказала Нина.

— Не пойму я тебя,— с горечью возразила Таня,— сама начинаешь, а потом в сторону, будто тебя не касается.

— Ученая,— грустно сказала Нина,— загорится душа да и охолонет, как на нее ледяной водицей плеснут. Вдвоем с тобой ничего нам не сделать. Знаешь: и в бою не бывать и рога поломать. А девчата все в разные стороны смотрят.

Вечером Таня зашла к Гале Гвоздевой. При свете лампы Галя шила. На столе разбросаны куски голубого ситчика.

— Блузку шьешь?

Галя кивнула головой. Помолчали.

— Воспитывать пришла? — с обидой в голосе спросила: — «Как ты могла на комсомольское собрание не остаться! И какая ты комсомолка! И как ты могла на жмых польститься!..»

— Ты чего на руках шьешь? — вдруг спросила Таня.

— Машинки нету,— растерялась от неожиданного поворота Галя.

— А ну примерь,— попросила Таня.

Галя надела уже смётанную блузку. Ее совсем юное лицо стало еще свежее от голубых теней, что упали на него. Словно чувствуя, какой ладной удается кофточка, засветились голубизной глаза.

— Красивая ты! — невольно вырвалось у Тани.

— Чего там...— застеснялась Галя, торопливо скидывая кофточку.

— Зачем ты воланчики подрубаешь, мережить надо.

— Да не умею...

— А ну, давай сюда.— Таня завладела иголкой.— Знаешь, я тебе спасибо хотела сказать. Помнишь, как Нюра Галаган надо мной посмеялась: песню заставила Ласточке петь. А ты все-таки сочувствовала.

Галя, совсем как девочка, как Маша, бывало, шумно потянула воздух носом.

«Хорошо, что я пришла к ней»,— думалось Тане, а руки быстро перебирали материю, иголка словно песенку пела: «Шью, шью, наряжу».

Вошла Серафима Петровна, Галина мать.

— Помогаете,— сказала она.— Спасибо! Глянула на тебя и свою молодость вспомнила. У нас как девушке замуж идти...

— Мама! — вспыхнула Галя.

— Что — мама? Не плохое говорю. Так вот... Подружки собирались. Одна шьет, другая вяжет. Песни поют. Не все старое на свалку надо. Сейчас молодым всего нанесут. А только велика ли забота до магазина пройти да тридцатку из кармана вынуть? Будто и подарок, а большой души в нем нету. Может, видела у матери дорожку розочками,— это я вышивала. Тоже к свадьбе.

Таня вспомнила, была у матери такая. Розы выцвели, ткань вот-вот порвется, а мать бережно хранила ее: «Это молодость моя, дочка».

— Сашок,— крикнула Таня, вернувшись домой,— а ну слетаем с тобой до Зинаиды!

Ни о чем не спрашивая, Саша надел кепку. Вышли на улицу. Разговаривала, как обычно, Таня; Саша слушал и молчал. О его прошлом Таня только догадывалась по коротким, скупым фразам вроде: «Мать на все его глазами смотрит» или «Мишку тоже в церковь таскает». Отчима он не называл ни отцом, ни по имени, а только «он». В этом коротком «он» у Сашки сосредоточилась ничем не прикрытая ненависть. О матери он говорил грубовато, но Таня чувствовала за этим глубокую горечь: не нашлось в жизни матери места для сына. Открыто тосковал он только о братишке: «Мишка-то около меня спал. Головой к плечу привалится и знай себе сопит».

С Василием не подружились. Сашка казался гораздо старше своего молоденького дядьки, завидовал его уверенности в том, что «жизнь штука стоящая». А самое главное — у Васи был дом. Здесь он вырос и живет по праву. А Сашка? Где его дом? Вроде здесь, а вроде и нет. Бабка его зовет «внучек», Таня и Вася — «братишка», а сыном — никто!

У Игнатьюков пили чай. Это Федор завел городской порядок — по вечерам пить чай. В станице ужинали: ели помидоры, огурцы, хлебали оставшийся от обеда борщ, пили молоко или «узвар», сваренный из дичка.

Увидев сестру и Сашку, Зинаида обрадовалась. Несмотря на предупреждающее покашливание мужа, достала варенье. Тане с детства нравилось злить экономного Федора. Она положила в чай три полных ложки варенья, похваливала: «До чего вкусно!» Сашка хмуро отнекивался от угощения.

Жили Игнатьюки, как считал Федор, хозяйственно. Громоздкая, пышная кровать занимала треть комнаты, на стене висел ковер машинной выделки, такой пестрый, что глаза ломило. В углу полированный шифоньер. В зеркале отражался диван, — по апельсинному полю голубые розы. На диван Зинаида повесила дорожку, на подлокотники положила салфетки. На диване не сидели: он стоял как символ хозяйского достатка. Показать достаток Федор никогда не опасался. «Это пускай тот боится, кто ворует, — говорил он. — А я пить не пью, людей не обманываю, мне достаток прятать нечего. Жить, конечно, умею. Хозяйство опять же доход дает».

— Сегодня Ефим Швыдченко в магазин заходил, — нахмурясь, сообщил Федор. — Чего-то он тобой, Татьяна, недоволен. Говорит, только пришла на ферму, свару затеваешь. Куда попало нос суешь. — Он усмехнулся. — Я ему говорю: «Молодая, жизни не знает. Вы ее поучите, как человеком стать, Ефим Алексич». Он покорное слово любит, Ефимка-то. А потом удочку закидываю: «Костюмы хорошие на днях ждем. Занарядили нам». Ну, он и размяк. Ты вот обижаешься на меня, бывает, а я для родни всегда расстараюсь. Оставляю Ефиму костюм. Глядишь, тебе поблажку даст.

Щеки у Тани запылали:

— Никаких поблажек мне не надо!

— И чего раскипятилась! — обиделся Федор и встал.— Пойти худобе корма задать.

— Он как лучше хотел,— пояснила Зинаида, когда муж вышел.

— Лучше! Прямому в обход!

— Так Швыдченко-то подлый человек. Обидеть может.

— Подлый, так нечего перед ним егозить.

— Проведать пришла? Или дело какое? Может, деньги перехватить? — спросила Зинаида.

— Машинку дай.

— Чего шить надумала?

— Галя Гвоздева, доярка наша, замуж выходит, на руках приданое шьет. Помочь хотим.

— А заплатит?

— Кто же у нее возьмет? Говорю, доярка наша. Подруга моя,— пыталась втолковать сестре Таня.

Бесцветные глаза Зинаиды смотрели недоуменно.

— До всего тебе дело, Татьяна!

Машинка была у Сашки в руках, когда вошел Федор.

— Куда это наладились?

— Мама просила.— Голос Зинаиды звучал виновато.

Федор сел к столу, недовольно отодвинул чашку:

— Поломаете когда-нибудь. Таскают туда-сюда.

На улице было темно. Около ворот лагутинского дома маячила темная фигура. Сашка невольно пошел ближе к Тане: вот беда, машинка в руках, но в случае чего — он и ногой наподдаст. Крикнет: «Беги, Таня!» — и ногой со всей силы, если это жулик какой.

Таня знала: это Алеша. И, вероятно, ее ждет.

Это действительно был Алеша. Ждал давно. Знал, что она пройдет мимо, и все-таки ждал. Ну чего бы ей стоило присесть... Алеша бы прочел ей стихи. Просто прочел, и все. Про звезды, что над головой. Если человек на них смотрит один, грустно у него на душе. А двое глядят — и россыпь звезд ближе, ярче. Все на свете для нас — и звезды, и небо, и утро, что придет на смену ночи.

Таня не остановилась. Одной бы сейчас побыть Тане. Когда она одна — она вдвоем с Димой. На небо бы посмотреть. Вон на ту яркую звездочку. Может, и Дима на нее смотрит.



## Глава X

### «НАМ ДО ВСЕГО ДЕЛО!»

Быстро крутилось колесо машинки, бежала под ровной строчкой материя. У Гали Гвоздевой собрались девчата.

— Мы сами управимся,— стыдливо запротестовала Галя, когда подруги пришли помогать.

— Глупая ты,— сказала Серафима Петровна,— им самим, поди, в радость.

Она достала бязь на простыни, розовое покрывало — подрубить надо. Нина вязала прошивку, Тая пришивала кружева к пододеяльнику, кто-то завладел полотенцами — вышить узор крестиком.

Славно девчатам вместе. Только несколько минут молчали, примериваясь каждая к своей работе, а потом замелькали иголки, блеснули в руках ножницы и крючки, рассыпался смешок, затянули негромкую песню, и так хорошо и уютно стало, словно не первый раз собрались вот так — за работой.

Пели девчата про Днепр широкий, про сердитый ветер, что до земли гнет высокие вербы, про одинокую гармонь, что не дает девушкам спать, про сады весение, про молодость и любовь.

Ласково, по-девичьи подшучивали над Галей, загадывали, что сейчас делает Роман.

Сын тети Паши, Роман Карташов, колхозный шофер, считался в станице завидным женихом.

Работать ему пришлось чуть не с детства, но школу сумел кончить. Потом призвали в армию. Командир части, где служил Роман, прислал благодарность и колхозу и матери Романа. Но еще больше, чем письмом командира, гордилась тетя Паша фотографией, где Роман был снят у полкового знамени. Не всякого, поди, так снимут. Честь-то заслужить надо!

Не одна из станичных девушек мечтала о видном и статном Романа, а он, вернувшись из армии, взял да и посватался к ничем, казалось бы, не примечательной Гале Гвоздевой. Может, потому это случилось, что Галя-то как раз и не старалась увлечь Романа. А может, потому, что еще в детстве он спас Галю, чуть было не утонувшую в Кубани. Роман вынес ее на берег уже полу-

мертвой. С тревогой ждал, вернется ли к девочке жизнь. С тех пор он взял на себя обязанности защитника и опекуна Гали.

...После работы Роман обычно заглядывал к невесте, но сегодня, услышав шум и песни, постоял под окном, не понимая, откуда столько народу набралось, и прислал на разведку мать.

— Ну, счастливая ты, Галина,— растроганно сказала тетя Паша, входя в дом Гвоздевых,— видать, любят тебя подруги.

— Мы, тетя Паша, ей комсомольскую свадьбу справим,— откликнулась Нина.

— Замуж выдадим, а из комсомола не пустим,— засмеялась Таня.— Не согласится— с мужем разведем. Вон нас сколько, всех-то не переспоришь!

— Девчата, откуда у нас на ферме такое повелось: вышла девушка замуж— и прощай комсомол? Как отрезала.

— А думаешь, легко: и на ферме, и по дому, и на собрании? А тут еще свекруха сердится: «Нечего тебе по собраниям таскаться».

— Тетя Паша, а вы тоже будете Галю пилить?— засмеялась Лида.— Она с собрания, а вы ее за косу.

— И не грех попусту болтать,— обиделась тетя Паша, но сейчас же усмехнулась.— Может, и схватила бы за косу, так косы-то у Галочки нет, загодя остригла.

Серафима Петровна ласково смотрела на будущую сватью.

— Девчата, дочке моей у такой свекрухи горькая судьба приготовлена: каждое утро мокрым рушником утираться.

Девчата не поняли шутки. Пришлось Серафиме Петровне объяснять. Раньше в крестьянской семье, а семья была большая, утирались одним полотенцем. Вот приехала мать дочку проведать: «Как живешь, доченька?» Та в слезы: «Плохо, маменька, каждое утро мокрым рушником утираюсь, места сухого нету». Не пожалела мать дочку: «А ты,— говорит,— не вставай последней в доме, будет и рушник сухой».

Ушла тетя Паша, а через полчаса заглянул Роман. Не глядя на девчат, поставил ведро со сливами. Хороши сливы у тети Паши! Сизой дымкой тронуты, полопались от спелости.

— Мать послала,— сказал он Серафиме Петровне и хотел улизнуть, но не тут-то было.

Никто не позавидует парню, даже самому боевому, если попадет он на зубок девчатам. Каждая порознь будто и скромница, а вместе до того бойки, что не знает бедный парень, куда ему деваться.

Послушал бы кто-нибудь девчат, пожалуй, и правда решил, что хуже Романа в станице и парня нету: и нескладный, и неладный, и неумелый, и невладелый, танцевать пойдет — за косяк зацепит, машину задом наперед водит. И еще совсем неизвестно, отдадут ли за него такую девчонку, как Галя Гвоздева. Вот соберут комсомольское собрание и вынесут резолюцию: «Отказать. Пускай Роман сначала на барабанах играть научится».

Наконец-то вырвался Роман из мягких девчачьих лапок. Даже Галя не помогла, только улыбалась чуть смущенно. Височил и кепку забыл. Аллах с ней, с кепкой! Голову унес — и то ладно! Уже с улицы крикнул в распахнутое настежь окно:

— Всем парням в станице закажу к вам свататься, языки-то чисто бритвы! — и скорее дал ходу, чтобы последнее слово осталось за ним.

А у девчат завязался серьезный разговор. Откуда начался, и не вспомнить. Так широкая, полноводная речка берет начало из подземного, чистого ключа. У истока — озерко в две ладони, а из него ощупью, неуверенно отыскивая дорожку между стеблями высоких трав, пробивается вода. Бежит тоненькой, невидной струйкой, вот-вот оборвется, пропадет, но струйка бежит себе, крепнет и ширится, набирает глубину. Глядишь, из ручья стала рекой, не слабую травинку, а целое деревце приняла в свою зеркальную поверхность, полюбовалась им — до чего хорошо! — отразила целое облако и дальше и дальше катит воды свои.

Началось с халатов. Да, именно с халатов. Почему синие? Вон в кино доярок показывают: словно доктора — белоснежные халаты, косыночки.

— В белом-то халате да на нашей ферме!

— Чего-чего, а грязи у нас хватает.

— Помните, девчата, прошлый год погоним коров на водопой, а они, бедные, из грязи ног не вытягают, помаются и с полдороги домой. Разве тут молоко возмешь!

— И корма к ферме не подвезены!

— А что, девчата, неужели Швыдченке конца не будет? Войне конец пришел, зиме бывает, а Швыдченке нет.

— Давайте, девчата, пойдем вместе к председателю.

— Мы вместе пойдем, а разгонят нас поодиночке.

— Мало Швыдченко доярок поснимал...

— Разопьет с бригадиром Дормидонтовым пол-литра и пошлет на другую работу, вот и все.

— Девчата,— перехватила разговор Таня,— а если сейчас руки сложим, нам прощенья нету. Давайте так скажем: «Мы — комсомольцы, нам больше всех надо, нам до всего дело!» И даже лозунг такой напишем и на ферме повесим. Могу это я терпеть, чтобы зимой моя Ласточка перед пустой кормушкой стояла, а ветер в щели задувал?

— У меня Картошка четвертый год,— сказала Нина.— Вот обидно было, какой, думаю, дурак имя такое корове дал, насмешку над худобой устроил. Глядеть на нее не хотела. А сейчас, верите, девчата, загрущу чего, она, верите, сама не своя, оглядывается, так бы и спросила меня. Вот до чего сообразительная.

На другой же день Таня раздобыла в магазине у Федора кусок обоев. Оказалось, Сашка умеет рисовать. Буквы у него получились ровные, видные издали. Правда, пока Сашка писал, пол чернилами заляпал, но Таня успела соскоблить лиловые пятна раньше, чем Наталья Ивановна вернулась домой.

Скандал на ферме разразился в тот же день.

«Мы — комсомольцы, нам больше всех надо, нам до всего дело!»

Швыдченко прошел мимо лозунга, прочел его на ходу, вернулся, перечитал еще раз.

— Это как же понимать? — спросил Швыдченко у Коли.

— Комсомолки наши написали,— спокойно ответил Коля, посвященный в планы девчат.

— Кто же, к примеру?

— Лагутина.— Коля не видел надобности скрывать: хорошего хотят девчата.

— Так и знал. А чьи же это, к примеру, слова?

— Да ни чьи.

— Как это — ни чьи?

— Ну, девчат...— Лоб Коли начал покрываться испариной, опять, кажется, попал в историю из-за этих девчат.

— Когда из тебя, Николай, человек будет? — развел руками Швыдченко.— Вроде комсорг, понимать должен, а ты на поводу у девчонок идешь. Что это такое? — Палец Швыдченки указал на огромные буквы.

Коля молчал.

— Молчишь? Лозунг это. Так я говорю?

— Ну, лозунг...— неуверенно повторил Коля.

— А что такое лозунг? Призыв. Он, понимаешь, от лица партии и правительства идет. А у тебя кто за партию и правительство сработал? Лагутина. Вот и получается, что впал ты в политическую ошибку. Кто такая Лагутина, или там Корнакова, или Николай Винниченко, хотя ты и комсомольский вожак, чтобы лозунги от своего имени пускать?

Под тяжестью «политической ошибки» Коля все ниже склонял голову.

— Сними! — скомандовал Швыдченко.

Поминая девчат недобрым словом, Коля пошел за лестницей.

Но Швыдченко подстерегала еще одна неприятность. В красном уголке висела листовка, вокруг которой столпились доярки и скотники. Громче всех смеялся Валя Росликов.

Раздвинув руками умолкших доярок, Швыдченко подошел вплотную к листку. Начал читать, и шея его побагровела.

Листок назывался: «Готовимся к зиме». Худая, одни кости, коровенка вытягивала длинную шею к вилам, на которых ей подавали три соломинки, а рядом с ней, развалясь на диване, сидела сытая корова за столом, уставленным всяческими коровьими яствами. Под рисунками Сашка подписал: «Сто коров фермы» и «Каштанка у Швыдченки дома». Швыдченко (не узнать его было невозможно — одни усы чего стоили!) с револьвером в руках наступал на доярок, поднявших руки вверх: «Требую надоя по 3000 литров, а кормов не ждите. Научите коров газеты читать».

— Так, — сказал Швыдченко.

Не успел за порог переступить, как вслед ему раздался обидный хохот. Захотелось рвануть дверь, разогнать

всех: заведующий он или нет?! Но сдержался. Пригибаясь, чтобы не задеть за косяк, переступил порог своего «кабинета», старательно прикрыл дверь. В этой грязной и неудобной комнатухе стоял старенький письменный стол с одной тумбой. Вся «писанина», как говорил Швыдченко, лежала на учетчике, но уединяться заведующий любил: в тумбе стола всегда хранилась заветная поллитровка.

Швыдченко отпер дверцу, торопливо покосился на окно, достал бутылку, треснувший стакан, налил половинку, прищурился, еще добавил, кашлянул и выпил. Курица и та пьет!

Он налил еще, поставил остатки в ящик и даже ключ два раза повернул.

Прошелся по низкой, покосившейся комнатухе, поерошил волосы, приоткрыл дверь.

— Лагутину! — крикнул он.

Когда Таня вошла, Швыдченко сидел за столом, накрытым измятой красной материей, заляпанной чернилами.

Таня стояла, прислонившись к косяку: вторую табуретку Швыдченко предусмотрительно задвинул под стол.

Говорил он неторопливо и негромко. Концы фраз обрубал ребром ладони, и тогда в такт взмаху руки вздрагивали концы вислых усов. И этот тон, нарочито спокойный, сказал Тане, что заведующий зол до предела.

Таня слушала и смотрела в окно. Обрывки розовых обоев с лиловыми пятнами букв летели по степи. Ветер то прижимал их к земле, то бросал на куст курая, зазорным флажком трепетали они, запутавшись в колючках, и мчались дальше от фермы, гонимые ветром.

## Глава XI

### ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Нехорошо обернулась для Тани ее первая встреча с Анной Максимовной Дороховой — секретарем партийной организации третьей бригады, куда входила и ферма.

Анна Максимовна приехала в станицу совсем недав-

но. До этого жила на соседнем хуторе, и Тане не приходилось с ней встречаться.

— Сегодня Дорохова придет,— сообщила Нина.— Николай у нее был. Уйти он хочет из комсorgh. Говорит: «Все умные собрались... Лозунги всякие вывешивают».

— А Дорохова что?

— «Приду, говорит, разберусь. Мне, говорит, уже на эту Таню и Швыдченко жаловался, и Галаган».

Ну что же! Пусть приходит Дорохова. Она должна понять, с кем правда. Эх, Коля, Коля! Цыкнул на него Швыдченко, он и уши прижал, словно кролик. И чего Нина в таком нашла!

Спокойно и даже весело думала Таня о встрече с Дороховой, а явилась она в самую неподходящую минуту.

Накануне девчата посмеивались над Галей за щедрость, с которой она угрожает «съездить» или «звездануть» корове.

— Это я Розе — она по-доброму не понимает,— смутилась Галя.— Я, девчата, на слово скорая. Честное комсомольское, не дам больше воли рукам,— пообещала Галя.

Это было вчера. А сегодня Таня увидела, как Галя опять изо всей силы дала пинка корове.

Таня подскочила к ней, схватила за плечо:

— Ты... ты слово давала! Честное комсомольское.

— Ты чего лезешь! — крикнула Галя и изо всей силы рванулась в сторону.

То ли кофточка у Гали была старенькая, то ли Таня слишком разгорячилась, но... раздался треск, и рукав повис, оторванный наполовину.

Галя заплакала.

— У нас драки-то еще никогда не бывало,— ахнула Нюра Галаган.

— Кофта совсем новая,— соболезновала Тая.

«Я нечаянно,— хотела сказать Таня.— Ты прости».

Тут она подняла голову. Рядом со Швыдченкой стояла Анна Максимовна и глядела на Таню так, словно заранее брезгливо отстранялась от нее.

— Мне говорили, что ты забияка, Таня Лагутина,— услышала она голос Дороховой,— а ты, оказывается, еще и драться умеешь!

— Лагутина, идем с нами,—раздалась команда Швыдченки.

Доярки расступились. Швыдченко шел рядом с Анной Максимовной, за ними—Таня. Коровник словно длиннее стал. Сквозь боковые двери на пол падал солнечный свет. Вот знакомое мычание. Ласточка повернула голову и смотрит удивленно: как это могла Таня пройти мимо, не сказать ласкового слова, не потрепать по крутому боку.

У самого выхода из коровника к Швыдченке подошла Нина:

— Горячей воды нету. Бидоны и те помыть нечем.

— Кто дежурный? — Швыдченко даже остановился.

Таня, холодея, вспомнила: дежурная-то она. Забыла! Да как она могла забыть?

— Я дежурная,—прошептала она, готовая разрешиться.

— Дежурная! — возмутился Швыдченко.— Дежурная за порядком следит, а ты... драку затеяла.

«Драку»!.. Позор-то какой! Как объяснить, что случайно все вышло. А это не драка—кофточка с плеча напрочь? Вся станица узнает. Но главное—воды нет, а она дежурная.

— Отпустите меня, Ефим Алексенч,—попросила Таня,—воду я согрею. Я быстро. Сейчас же...

Швыдченко, нахмурясь, кивнул головой. Таня со всех ног побежала за водой. Нина бросилась ей помогать. Скоро в плите бушевало пламя, облизывая бачок с водой, вырывалось из открытой конфорки.

— Иди,—сказала Нина.— Досмотрю я. Но Галине это даром не пройдет.

Разговор с Дороховой вышел невеселый. Говорила Анна Максимовна, не повышая тона, но каждое слово горько отзывалось в сердце Тани.

— Посмотри, чего ты за месяц добила, — глаза у Дороховой стали узкими, — заведующий от тебя открешивается. Комсорг из-за тебя уйти хочет. Лучшая доярка фермы на тебя в обиде...

Может быть, еще в эту минуту Таня могла откровенно рассказать о бедах фермы, о настроениях девчат, но тут Анна Максимовна обратилась к Швыдченке.

— Так я говорю? — спросила она.

— Еще бы не так! — Швыдченко даже руки на



груди сложил.— Толковал ей: «Учись у Галаган», а она вместо того свару заводит.

Словно на замок захлопнулось Танино сердце. А она еще ждала встречи с Анной Максимовной! Таня нахмурилась, прикусила губу: ладно, говорите себе, а я буду слушать да молчать.

Анна Максимовна продолжала:

— Сегодня, оказывается, о дежурстве забыла. В школе ты, говорят, медаль получила, а на ферме ты оборотную сторону своей медали показала. Забыла, что комсомолка. До драки докатилась. Подумать только! По-настоящему перевести бы тебя с фермы, как Ефим Алексеич предлагает. Оснований достаточно.

Она испытующе поглядела на Таню. Та сидела совершенно убитая. Слова «перевести с фермы» не прозвучали для нее неожиданностью. Она была готова к самому худшему, а вот слез удержать не могла.

Голос Дороховой стал мягче.

— Молодая ты, можешь исправиться. Ну, рассказывай, как все это у тебя получилось.

Губы у Тани дрогнули:

— Чего мне рассказывать! Вам все Ефим Алексеич рассказал. Пусть так и будет.

Анна Максимовна отошла к окну, постояла, глядя на двор.

— Ну-ну,— сказала она,— значит, с гонором девушка. А ты его иногда в карман умей прятать. Я ведь с тобой не потому толкую, что времени у меня свободного много.

— Гордая такая, что не подступись,— заскрипел Швыдченко.

«Да почему вы вместе-то в одну дудку поете?» Таня почувствовала усталость: пусть скорее окончится разговор, уйти бы и никого не видеть.

За дверью послышался шум.

— Еще кого принесло,— заворчал Швыдченко.

Дверь распахнулась. За ней теснились доярки.

— Разобрались мы,— сказала тетя Паша.

— Я виноватая,— покраснев, как бурак, шагнула вперед Галя.— Драться она не хотела, просто за плечо схватила.

Анна Максимовна сидела, подперев лицо обеими руками и глядя на доярок.

— Не хотела драться, а драка получилась,— сказала она, чуть поведя бровями.

— Я тебе при всех скажу, Лагутина,— прищурился Швыдченко,— больше никакой самой малости тебе не прошу.

Таня смотрела на девчат. Пускай злится Швыдченко. Пускай поверила ему Дорохова. А вот девчата на свете есть, рядом с ней,— это хорошо. Выручать ее пришли. Значит, есть-таки на свете справедливость.

Вечером Таня пошла к Вере Васильевне. Сколько раз в своей жизни сидела она в этой уютной комнате! Свежий ветер колыхал шторы на окнах, под потолком метался белый ночной бражник, прилетевший на свет.

Свет, лившийся из-под голубого абажура, был особенно мягким, располагал к откровенной беседе. А когда говоришь, можно смотреть вот на ту картину, где по лесу вьется тропка, уходит все дальше в глубь леса к освещенным красноватым стволам сосен. Такой тропкой можно идти и идти, а пока идешь — многое понять и решить.

— Значит, знакомство ваше с Дороховой просто не состоялось. Оно впереди,— сказала Вера Васильевна, выслушав Танин рассказ.

— Швыдченке она верит,— загорячилась Таня.

— Погоди.— Рука Веры Васильевны ласково сжала ее локоть.— Погоди. Представь себя на месте Анны Максимовны, погляди на себя ее глазами.

— Да, показалась я ей в хорошую минуту, лучше и выбрать нельзя,— сердито и обиженно проговорила Таня.

Говорили долго.

— Вот ты кричишь: Коля — теленок, размазня, мямля. А может, ему помочь надо?

— Комсорму-то!

— А если ты сильнее? Ты живым человеком будь. Расстроилась: не по тебе все скроены. Нет! Видишь недостатки — борись с ними. Не кофточку с подруги рви, а в сердце к ней войди. Где ты идеальных-то возьмешь? Из соседнего колхоза выпишешь?

Вера Васильевна приготовила чай, поставила сахарницу, чашки, печенье.

Невольно вспомнился Тане вечер у Кравцовых, музыка, лицо Димы.

— У вас нет Чайковского, Вера Васильевна? — внезапно спросила Таня.

— Хочешь, «Пиковую даму» поставлю?

— Оперу? Не надо!

— Нет, поставлю! Кусочек... Вот слушай! Сейчас Лиза у Зимней канавки ждет Германа, — тихо, словно в ожидании какого-то огромного события, сказала Вера Васильевна.

Прозвучали первые аккорды. Музыка все полнее захватывала Таню. Вот как бывает: любить и ждать, любить и сомневаться, любить и мучиться.

Прикрыв глаза, вся отдавшись музыке, слушала Таня. Вот Герман. Он пришел. Он любит. И вдруг всё... Последние звуки, словно всплеск воды в Зимней канавке, — и нет Лизы, и нет любви.

Вера Васильевна привлекла к себе девушку.

— Ну как? — ласково спросила она. — Видишь, сколько красоты на свете: книги, музыка, любовь. А главная красота — человек, его борьба, его живая, мятущаяся душа. И вот что, — без всякого перехода, буднично продолжала она, — я завтра побываю у Дороховой, если ты не хочешь к ней пойти.

— Я думала, любовь — это счастье, — сказала Таня; музыка все еще кипела в ее сердце, рождая и жалость, и гнев, и еще какое-то странное ощущение не то торжества, не то счастья.

— Любовь — она всякая, — в раздумье ответила Вера Васильевна. — Она и счастье и проверка. Испытание огнем и доверие. И жертва и подвиг.

Лицо Веры Васильевны стало строгим и прекрасным, и Таня поняла: в глубине ее сердца, как тень облаков, что в солнечный день плывут по степи, возникли воспоминания, и горькие и ласковые, дарившие и счастье и боль.

Таня подняла голову и посмотрела на портрет. Он всегда висел у Веры Васильевны. Мужа ее, секретаря райкома, Андрея Петровича, не стало в тридцать седьмом. Долгих двадцать лет она жила любовью к нему, памятью о нем.

«Спасибо. Верила, не изменила, — словно говорили глаза портрета. — Вот потому и любил тебя. Только тебя всю мою короткую жизнь».

«Напрасно вы загубили свою жизнь, — сказал ей кто-то из друзей. — Была бы своя семья. Дети». Нет, семьи

бы не было. Напрасно загублена жизнь? А может быть, потому, что она осталась верной погибшему, у Тани Лагутиной такие чистые глаза и так трепетно пишет стихи о любви Алеша Шумадо. Может быть, именно потому...

Когда Таня ушла, Вера Васильевна пододвинула к себе шкатулку и стала читать дневник мужа.

Она читала короткие записи в две-три строчки, а перед глазами вставали годы, люди, события, вся жизнь, пронизанная злыми и добрыми ветрами, полная борьбы.

Да, надо пойти к Анне Максимовне. Сказать ей: «Мы вам таких ребят дали, как Таня Лагутина, Алеша Шумадо. Мы душу свою в них вложили. Возьмите все хорошее, что у них есть. Не растеряйте. Это новая сила пришла в колхоз, наши первые ласточки. С ними вы горы повернете».

Но не пришлось Вере Васильевне увидеться с Дороховой. Утром в учительской стало ей неожиданно плохо, а днем по требованию врача отправили Веру Васильевну в районную больницу. Вечером звонил туда Иван Гордеевич.

— Вы ее на ноги скорее поставьте! — волнуясь, кричал он в трубку. — Это знаете какой человек! Сотням людей дорогóй. Это в нашем колхозе почетный человек. Да нет, не колхозница. Учительница.

Немало забот у председателя колхоза в горячие осенние дни. Зима обещала большие неприятности. Лето выдалось засушливое, травостой был никудышный. На полях стог от стога стоял так далеко, что хоть скачки между ними устраивай. А развезли сено по фермам, и вовсе глянуть не на что. Смеришь взглядом скирды, прикинешь, сколько времени зима тянется, — как ни крути, а тяжело придется худобе. Из-за этого и Швыдченко не снимали; ну-ка, поставь сейчас нового заведующего фермой, и станет он только руками разводить да старое руководство ругать. Не спросишь тогда ни за падеж, ни за удои. Ну, а Швыдченко знает: сам виноват, тянутся будет из последних сил.

Затихает вечером станица, а в колхозном штабе кипит жизнь.

— Да как же ты можешь с виноградника на кукурузу людей требовать — у нас же сейчас самые работы!

— Половину оставлю — спасибо скажи, — говорил Иван Гордеевич. — Пусть по-ударному действуют: один за двоих. Ясно?

Со списками колхозников сидят бригады. Кто-то вспоминает: у Росликова-старшего есть теща.

— Стара больно, — сомневается бригадир.

— Хлеб колхозный ист? Ист. Ну и поработает потиху!

Бригадир хмурится: будет кричать завтра голосистая старуха: «И помереть спокойно не дадут».

— Из стариков бы кто выступил по доброй воле, глядишь, тогда и росликовская теща прибежит: «Что мы, не люди? Нас и позвать нельзя?»

— Мать моя завтра по радио выступит, — предложила Анна Максимовна. — Два-три десятка гектаров убедут старики, и то подспорье.

— Наши-то доярки посказались: «Посылайте и нас на кукурузу!» — негромко говорит Швыдченко.

— Да что ты! — удивляется Иван Гордеевич. — Кто же такое дело придумал?

— Лагутина все выдумывает! — вздыхает Швыдченко.

— Знаю. — Довольная усмешка трогает губы Ивана Гордеевича. — Хорошая дивчина!

— Ошибаешься, Иван Гордеч, — уверенно говорит Анна Максимовна. — Пока от нее шум да скандал, а в деле ее не видать. И предложение не ее, а Винниченко.

— Правильное предложение, — говорит Иван Гордеевич, ему сейчас некогда разбираться в характере Тани Лагутиной. — Надо каждой ферме выделить участок кукурузы для уборки. Ясно?

Иван Гордеевич смотрит на товарищей. Лампочка горит слабым красноватым накалом. Лица выступают из полумрака блеском глаз, красным огоньком папирос.

Силы расставлены, завтра опять нелегкий трудовой день.

— Ну, братцы, отдыхать. Ясно? — встает Иван Гордеевич.

Дома Иван Гордеевич вспомнил о Тане.

Студентка Таня Лагутина работает на ферме, тракторист Алеша Шумадо две нормы дает. Это новые люди в колхозе. Рабочий класс. Высокое это звание! Растить но-

вых людей — вот сейчас главная задача. Может, это поважнее, чем кукуруза. Решить ее — и в кукурузных и мясных делах победа придет. Побеждает-то человек. И чем сильнее он, тем ближе победа. Завтра вставать на заре...

Мысли его уже мешаются. Внезапно вспоминаются слова Дороховой о Тане Лагутиной: «Пока от нее шум да скандал». Разобраться надо. Иван Гордеевич засыпает крепким сном, а ночь уже доживает последние минуты. Да и как ему не быть крепким, если в эти дни работал Иван Гордеевич двадцать часов в сутки.

«Вы, партийцы, на запасе прочности живете», — сказали ему однажды. Ерунда! Другой, «спокойной» жизни Иван Гордеевич просто не мыслил для себя.

...С Таней он столкнулся через два дня. Доярки все вышли на уборку кукурузы. Только тетю Пашу освободили по возрасту да Нюра категорически отказалась. Швыдченко ее поддержал:

— Ей руки беречь надо. У нее руки дорогого стоят.

Небо было осеннее, блеклое, но удивительно высокое, просторное, ни облачка на нем. По воздуху летели серебряные нити паутины, сухо шелестела кукуруза, початки золотой горой блестели на прокосе.

Раздвигая шуршащие стебли, обламывая и очищая початки, которые словно сами просились в руки, Иван Гордеевич шел на голоса. Среди высоких стеблей кукурузы он увидел девушку в синих выцветших шароварах, выдавшей вида спортивной курточке на «молнии», с мешком через плечо, куда то и дело, не глядя, посылала она початки. На какую-то долю секунды показалось, не Настя ли это была здесь, на колхозном поле, в горячий трудовой час. Девушка повернула голову, усмехнулась, щурясь от яркого солнца. Нет, не Настя!

— Ну, студентка, как дела? — спросил он.

— На все сто, Иван Гордеич, — ответила Таня, проходя.

И столько в ее голосе было радостной уверенности, что председатель усмехнулся. Вот и ладно! Дорохова сама увидит, что ошиблась в девчонке.

И, занятый делами, Иван Гордеевич надолго забыл о Тане, да и зачем беспокоиться о человеке, у которого все ладится, у которого быстрые и ловкие руки, светлая, хорошая улыбка.

## Глава XII

### ВАНДА И ГОГЕН

Дима писал часто, чаще, чем Маша. Та отделялась открытками. Редко писала и Настя. Ее письма казались Тане чуточку обидными. Настя словно потеряла всякий интерес к делам подружки, зато, захлебываясь, хвалила Ростов, университет, профессоров, радовалась, что уехала из Надзорной. Настины письма были «задавалистыми» и все больше разъединяли подруг. Тане не раз хотелось пойти к Ивану Гордеевичу — поговорить с Настей. Но как пойти, что сказать: никакой беды с Настей не приключилось, поступил человек в университет и жизни радуется.

Переписка с Настей висела на волоске, готовая навсегда оборваться. Но и Димины письма нередко вносили тревогу в жизнь Тани.

*Здравствуй, Таня! — писал он. — Ты спрашиваешь, как живу. Шесть часов отсиживаю на лекциях. Уже пятнадцатый год по шесть часов в день. Звучит? По совести говоря, надоело. Впрочем, мы с ребятами находим развлечения. Решаем кроссворды, читаем «про шпиёнов». Лекции записываем по очереди. Ты, наверное, думаешь: доведись мне, я бы каждое слово ловила. Это так издали кажется. У нас на курсе достаточно таких терпеливых ишачков, которые пишут все лекции, читают все пособия, выполняют все лабораторные работы. Мы с ребятами зовем их «трудяги». Это просто какие-то всеядные в учебе. Посредственность интересуется всем, талантливый человек выбирает себе одно.*

Ты бы не смогла вести такой серый образ жизни, как эти ишачки, и примкнула бы к нашей компании. Чего стоят хотя бы лекции профессора Сергейчука. Решает вопросы кормодобыывания. Пишет книги. Но лекции его — брр! Говорит не очень-то складно, вступает в полемику с неизвестными для нас учеными. Ребята даже ходили к декану жаловаться: нам надо излагать позитивные основы науки, чего Сергейчук не делает. «Трудяги» возмутились, чуть не овацию Сергейчуку устроили, заявили, что учатся у него отношению к науке. Я сейчас вообще бросил за ним записывать. Перед экзаменом засяду на недельку за учебник и сдам на «отлично».

На нашу бедную студенческую голову добрых два десятка таких ученых монстров приходится, и удивительно, как они сейчас все спелись,— вытащили на белый свет свои биографии и делают из них оружие против нас. Вспоминают бои, фронты, рабфаки...

Я с уважением отношусь к подобным биографиям, это, если хочешь, биография страны. Меня возмущает другое: почему старики, укоряя нас, не учитывают время, условия? Ну, честное же слово, я не виноват в том, что у меня есть три хороших костюма. У отца была косоворотка и пиджак, он до сих пор не любит галстуков. Так что же, мне из уважения к нему влезть в косоворотку и предавать галстуки анафеме? Он работал из-за куска хлеба, учился урывками. Что же, и мне положить в основу своей жизни эту печальную программу? Он стал научным работником после сорока лет, а я могу получить степень в тридцать. Неужели это плохо?

Зачем каждому следующему поколению точно копировать судьбу и каноны предыдущего? Это просто неостроумно. Надо делать следующий шаг, а не топтаться на месте. Наши старики обвиняют нас в иждивенческих настроениях, а сами требуют, чтобы мы были иждивенцами мысли — ничего своего, ничего критического. Все это окрещено словом «скептицизм». Ну, а если скептицизм — это просто угол зрения, вправе же я смотреть на мир с любой точки зрения.

Я тебе уже писал о Ванде Сторожевой (кстати, она племянница моего будущего научного руководителя). Вот кто обладает способностью беспощадного анализа! Дома ей приходится не сладко. Меня хоть мама понимает, а у нее мать — инструктор горкома, этакая парт-тетя, которая мужа зовет по фамилии: «Сторожев, хочешь чаю?» Звучит? В общем-то, мать у нее ничего, только уж больно ортодоксальная. Однажды даже закричала на дочь: «Ты скажи прямо, ты за Советскую власть или нет?» Конечно, Ванда за Советскую власть, просто она сказала, что ей скучно в комсомоле.

Кончаю, Танюша, сегодня в шесть у нас шахматный турнир, надеюсь стать институтским чемпионом.

Вчера был на выставке картин местных художников. Есть довольно интересные этюды. Понравились ставропольские пейзажи Тополева. Говорят, что он ухватил ставропольский колорит. Воздух у него получается, дали.



*Пейзаж, а все в движении, зовет куда-то. Впрочем, я больше горы люблю на картинах.*

*А ушел с выставки и снова начал думать о точке зрения. Вспомнил выставку французской живописи в Москве: голубые тени картин Дега, «Любительницу абсента» Пикассо. А глаза на портретах Сезанна? Или невероятной яркости и остроты краски Гогена. Импрессионистов ругают, но, черт возьми, в них что-то есть. Главное, они не фотографии действительности.*

*Таня! Уже пять. В институте я должен быть за четверть часа до игры. Пиши! Крепко-крепко... Ну, ты знаешь что! Д и м а.*

Таня выписала на листочек имена художников, слова «позитивный», «ортодоксальный». Придется лечь спать на час позже. На час? А плечи болят и руки тоже. И ферма, и кукуруза, и подготовка к заочной сессии. А тут еще надо узнать, кто такой Гоген.

Ванда... Странное имя. Какая она? Тане представилась девушка в узкой-узкой юбке, на высоких-высоких, тонких, как гвоздь, каблуках, и волосы сзади перевязаны у затылка, а дальше спадают лошадиным хвостом. Такую девушку Таня видела в одном кинофильме. Ей даже на минуту стало жаль эту Ванду — экая нескладная и ведь, наверное, в Диму влюбилась. И ему, наверное, так же совестно перед ней, как Тане перед Алешей за то, что никогда не сможет ответить на эту любовь.

Вечером, встретясь с Алешей, Таня спросила:

— Алеша, а ты слыхал о Гогене?

— В общем-то, слыхал, — добросовестно припоминая, ответил Алеша. — Вроде его и еще кого-то против реалистического искусства выставляют. Они-то сами, в общем, ничего художники. Ищут, понимаешь. Да, вспомнил: еще Пикассо есть. Он даже коммунист. Есть у него такая картина «Пьяница». Смотришь — и, в общем, мороз по коже, до чего человека проклятые буржуи довели! Эти художники вроде душу хотят раскрыть. А вокруг них, в общем-то, свистопляска. Подняли крик: ах-ах, особенное, необыкновенное. И схватились, конечно, не за то в их творчестве, что на пользу народу идет, а за чудачества всякие. А они стойкости не проявили и стали рисовать что попало. Ну, скажем, селедку с собачьей головой.

— Алеша, а ты не путаешь? — Тане почему-то хотелось, чтобы Алеша ошибался.

— В общем-то, кажется, нет,— поерошил волосы Алеша.

Неуверенность, прозвучавшая в его тоне, заставила Таню решить, что надо почитать о Гогене и Пикассо. А может, и репродукции найдутся. В библиотеке или у Веры Васильевны. Скорей бы она поправилась!

Она хотела проститься с Алешей, но он удержал ее:

— Таня, стихи я тебе хочу прочитать. Новые...

— Почему мне? — насторожилась Таня.

— Я их Роману написал. К свадьбе. Вроде от его имени Галине. Послушай.

— Читай,— разрешила Таня.

Алеша читал, чуть запинаясь, не глядя на нее, глуховатым голосом. Степь, восход, он за рулем, и мысли о ней, о любимой, о том, как узенькой тропкой спешит она к ферме.

Если бы поняла Таня — не Роман это обращается к Гале, а сам Алеша, сидя на тракторе, складывает ласковые строчки.

Алеша кончил. Не поднимая глаз, ждал.

— Ничего,— сказала Таня.— Даже трогательно. Гала будет довольна. Только вот рифма глагольная. Помнишь, в школе нам говорили, что нехорошо, если глагольная. А у тебя «приду» — «найду», «ловлю» — «люблю».

Алеша повертел головой, словно рубашка ему тесна.

— В общем-то, правильно,— сказал он покорно.

— Алеша,— спросила Таня,— а тебе нравится такое имя — Ванда?

— Я русские имена люблю,— сказал Алеша, сжимая в кармане листочек с ненужными ей стихами.— А ты опять каких-то глупостей начиталась!

Таня ушла, а он стоял и смотрел ей вслед. «Глагольная рифма»! И это все... Все, что она поняла!

Он вынул из кармана бумажку со стихами и разорвал на мелкие клочки. Бросил их в дорожную пыль. Вот так! Здесь им и место. И читать стихи на свадьбе у Романа Алеша не станет. Пусть Роман сам невесте стихи пишет. И на свадьбу Алеша не пойдет. С чего это он будет по чужим свадьбам ходить, да еще если на сердце кошки скребут...

## Глава XIII

### ЛАСТОЧКА-КАСАТОЧКА

Небо с утра хмурилось. Спозаранку еще проглядывало солнце, а потом горизонт затянуло сплошное серое полотно. С полчаса накрапывал дождь, переставал и снова накрапывал, словно никак не мог набрать силы, чтобы разразиться всерьез. Ничего, лишь бы завтра, в день Галиной свадьбы, распогодилось.

Стадо паслось на кукурузе. Какое там паслось! Не очень-то много прока от сухих листьев, больше аппетит нагуливало. Перед вечерней дойкой коровам давали тыкву, арбузы, а последнее время привозили чуть подвявшую сахарную свеклу. Рубили ее в больших, наскоро сколоченных корытах, а потом разносили по кормушкам. Девчата ворчали: еще до дойки все руки отмахалось.

— Лагутина,— укорял Швыдченко, когда Таня сказала ему о напрасной затрате времени и сил,— и не стыдно тебе! Все, понимаешь, работают, не жалуются, а тебе всё не угодить. Нету силы, так чего на ферму шла? Тебе говорят: работу осваивай, а ты осваиваешь, как критиковать. Корнерезку ей вынь и положи, а я, может, без памяти радый, что у коров крыша над головой есть.

— Дырявая,— вполголоса вставила Таня,— а доски, что на ремонт привезли, таять начали.

Глаза у Швыдченки забегали от злости, а щеки противно задрожали.

— Тебя что, здесь начальником поставили? — загремел он.— Нос повсюду суешь. Смотри, не прищемить бы его ненароком.

Круто повернувшись, он почти побежал по двору.

Ожидая, когда привезут свеклу, доярки сидели на досках. Настроение было мирное, и разговоры велись самые легкомысленные.

Вчера Галя шептала девчатам: «Роман-то в подарок колечко купил с красным камушком. И крепдешинный отрез. Красота такая, что глаз не отвести!..»

Завтра у Гали свадьба. Посмеивались, прикидывали, как она станет работать, выйдя замуж, перебрали всех девчат — кто следующий после нее свадьбу сыграет. Дошла очередь до Тани.

— Ей, поди, агронома подавай,— шутили девчата.

— По ней Алеша Шумадо сохнет,— подмигнула Лида.

И пошло. Тут и ахи, и восторги, и шутки, и предостережения. Алеша? И хорош-то, и скромненький, и чуб у него замечательный, только робок больно, хозяином в доме не будет, и стихи пишет — какой уж тогда от человека толк!

Таня даже убежала под громкий смех девчат. Вышла за ферму на пригорок. Далеко отсюда видно. Станица раскинулась, словно серые камни разбросаны, — только приглядишься получше — движутся камни: это пасется ота-ра, а на самой вершине склона, окидывая овец хозяйским взглядом, сторожкий кудлатый пес. По дороге в райцентр бегут машины с золотой кукурузой. Поворачивает, пройдя гон, трактор — поднимает зябь.

Встать бы здесь, на взгорье, рядом с Димой. Сказать бы ему: смотри — вот оно, мое родное. Все хорошо здесь: и этот покатый склон холма, и вызолоченная осенью, уже сквозистая лесополоса, и тот круглый, иссеченный ветрами и дождями замшелый камень, и тот одинокий клен, осенним ярким костром пылающий в степи, и тусклое в бессолнечный день зеркало водоема на дальних пастбищах. Около него пасется сейчас ее Ласточка-касаточка.

На дороге вдаль показалась Галя. Таня пошла ей навстречу. Наверно, беспокойно и радостно сегодня на душе у Гали. Пройдет год-два, и для Тани настанет такая же минута. Это будет весной, в солнечный день, полный птичьего гомона, благоухания сирени. И сады будут в цвету, бело-розовые, как облака на восходе солнца, только облако скользнет и растает в синем небе, а сад не оторвешь от родимой земли — здесь ему расти, здесь радовать людей сочными, сладкими плодами.

Но почему Галя бежит навстречу, кричит и размахивает руками? Беспокойно становится на сердце.

Вот Галя уже рядом и, запыхавшись, рассказывает: беда с Сашкой, полез крышу чинить и свалился вниз.

— Побегу я,— рванулась Таня, рисуя себе самые страшные картины: мог и ноги поломать, и легкие отбить — вот и калека.

— Беги! — мгновенно согласилась Галя.

— Я мигом,— сказала Таня.— Ты Швыдченко не говори.

- Знаю.
- Свеклу привезут, и моим наруби!
- Порублю. Беги!

Волнуясь, распахнула Таня дверь.

— Герой-то наш каков! — встретила ее мать.

По ее ласково-ворчливому тону Таня почувствовала — дело не так плохо.

— Фершал там, — кивнула мать головой на комнату, — говорит, внутри будто все цело. С рукой вот неладно, и лицо покорябал.

Увидев Таню, Саша отвел глаза. Голова у него была перевязана.

— Сашок! — бросилась к нему Таня. — Больно?

Прикусив губу, Сашка отрицательно мотнул головой.

— Счастливый ты, Александр, — говорил фельдшер. — Этак брякнулся — и ничего. Летчиком быть тебе! А вывих есть.

Он взял мальчика за руку. Саша невольно ойкнул.

— И куда вашего брата не заносит, — с укором говорил словоохотливый старик. — Не то бес в каждом сидит?

Не торопясь набил короткую трубочку табаком, прижал его желтым, обкуренным пальцем, разжег и выпустил целый клуб дыма, повисшего сизым облаком над Сашкой.

— Ну, терпи, хлопец, — предупредил он и изо всей силы дернул Сашу за руку.

Сильная боль заставила мальчика вскрикнуть. Слезы выступили на глазах. Сашка сердито тряхнул головой, они скатились к ушам, а фельдшер уже успокаивал:

— Вот и все. Был вывих — и нету. Медицина, брат! Ты вместо летчика-то в фельдшера подавайся. — Он сурово взглянул на Таню: — Термометр есть?

— Нету.

— Школу кончила, студентка, — укорил фельдшер, — а термометра дома нет. Свой оставлю до завтра.

Не совсем понимая, какая связь между термометром и вывихом руки, Таня на всякий случай поблагодарила старика.

— Тоже мне кровельщик нашелся! — укорила Таня

— Не хочу я зря хлеб есть, — буркнул Сашка.

— Я тебе вот покажу, как по крышам лазить! Встань только, встань! — грозила из кухни Наталья Ивановна. — Баламут! Выберу хорошую хворостину и отвожу за милую душу.

— Ругается вот, — тоскливо пробормотал Сашка, сдвинув брови, — а не ей же на крышу лезть...

Таня обняла мальчика за плечи.

— Ругается? — сказала она. — Глупый ты! Рада она без памяти. Думаешь, не испугалась за тебя. Ты ей сейчас, может, всех нас дороже!

Сашка недоверчиво хмыкнул.

— Знаешь, как я сейчас бежала! Сердце выскочить хотело.

— Из-за меня бежала?

— А то из-за кого же!

Сашка как-то судорожно вздохнул и вдруг закрыл лицо рукавом рубашки.

— И, выходит, ты глупый! — Взглянув на ходики, Таня спохватилась: — Болтаю с тобой, а там Швыдченко, поди, заметил, что меня нет.

В дверях столкнулась с матерью, которая вместо обещанной хворостины несла мальчику чашку сметаны.

До поворота доехала на попутном грузовике. Шла тропкой, уже спокойная, даже напевала вполголоса. Нет, славно жить на свете: и Сашка хороший, и Диме сегодня письмо пошлет. И Ласточка, того и гляди, в рекордистки выйдет. Теперь бы еще в коровник так войти, чтобы Швыдченко не заметил.

Около телятника, прижавшись к стене, сама не своя стояла Галя. Видно, Швыдченко узнал, разорался.

— Чего ты, — усмехнулась Таня. — Какой он ни есть, но человек же, поймет. Голову не снимет. — И, спеша порадовать Галю, сказала: — А Сашка ничего, синяков только насажал.

Галя преградила ей дорогу, схватила за руку:

— Таня! Я ничего ему не говорила... Таня! Я не виновата! Ты сама виновата! Сама ушла!

В голосе ее было такое отчаяние, что и Таня похолодела. И вдруг тем чувством, которое приходит к человеку в минуты самого сильного напряжения, поняла:

— Ласточка?!

— Бураком подавилась, — отступила на шаг Галя, прижав руки к груди.

— Ну?

— Прирезать решили...

Коровник качнулся в глазах. Ласточка? Таня бросилась бежать. А вдруг напугала Галя? Вдруг спасли Ласточку? Но сердцем почувствовала — нет!

Стараясь не отстать, Галя бежала рядом. Что она скажет Роману, матери, тете Паше? Неужели Галя виновата? Каждую свеклу перерубила. Неужели ее обвинят? Сегодня, накануне свадьбы?

— Ты сама виновата! Зачем ушла?— доносились до Тани обрывки фраз; в них было только одно — желание спасти себя любой ценой.

— Сама! — с ненавистью крикнула Таня. — Не бойся, на тебя не свалю! Только отстань! Уйди! Слышишь, уйди!

Поняв, что самое страшное миновало, Галя остановилась. Расплата ее минует, но облегчения она не почувствовала. стыдно и горько. И Ласточку жаль! И Таню! Швыдченко все равно не простит Тане — он только ждал случая, к чему бы придраться. Зачем же обоим пропадать? Свадьба у нее завтра!

У коровника Таня остановилась, не находя силы переступить порог. А войти все-таки надо.

Первое, что бросилось ей в глаза, была Ланка. Она, шумно вздыхая и коротко взмахивая хвостом, наклоняла голову к кормушке. Ломти свеклы исчезали у нее во рту.

Таня сделала несколько шагов, вытягивая шею, словно ожидая увидеть Ласточку, но рядом с Ланкой никого не было.

Таню заметили, окружили.

— Ты где была-то? — метнулась к ней Нина.

— Швыдченко тебя требует, — хмуро сообщил Коля.

— Ветеринар зарезать приказал, — тихо сказала тетя Паша.

— Пробегала корову-то, — упрекнула Нюра.

— Где... — окончить вопрос у Тани не было сил.

— За коровником, — тихо ответил Коля.

Во дворе Таня увидела несколько человек и не сразу поняла, что коричневая грудa на земле и есть Ласточка.

Таня подошла вплотную. Иван Кириллович стоял с ножом в руках рядом со Швыдченкой и ветеринаром, готовясь свежевать Ласточку. Все было кончено.

По лицу Тани текли слезы, застилая все мутной пеленой.

Швыдченко заметил ее.

— Явилась? — с холодной злостью спросил он, на-  
двигаясь на Таню.

Таня молчала.

— А ну, марш отсюда! — загремел Швыдченко. —  
Нечего тебе здесь больше делать!

Его слова не сразу дошли до сознания Тани. Пол-  
ными слез глазами она смотрела на Ласточку, которая  
никогда больше не встретит ее коротким ласковым мы-  
чанием.

— Кому говорю? — схватил ее за плечи Швыдчен-  
ко. — Марш с фермы! И дорогу сюда забудь!

Таня повернулась и пошла прочь. Вот и тропка вьет-  
ся по степи. Моросит дождь. Первый, по-настоящему  
осенний дождь.

Таня шла не спеша, будто не было никакого дождя,  
будто ноги не скользили по глинистой тропке.

Куда и зачем ей сейчас спешить?

## Глава XIV

### А ЖИЗНЬ ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ...

Сквозь щели в ставнях пробивался мутный рас-  
свет.

Вздохнула мать. Не спит, значит. Разве ей легко?  
Позор-то какой! Сейчас полстаницы знает: Татьяну Ла-  
гутину вчера выгнали с фермы. За дело выгнали.

Не открывая глаз, по легкому шуршанию платья,  
скрипу половиц Таня поняла: мать встала, убрала по-  
стель, вышла на кухню. Звякнул в сенцах рукомойник,  
звякнуло ведро — видно, мать собралась доить Лысуху.  
Встать? Помочь? Нет, только не сегодня! Протяжно и  
требовательно замычала чья-то корова под окном, и сно-  
ва тоска заполнила все существо. Нет Ласточки! Плотно  
сомкнула веки, сжала кулаки. Не думать, забыть! А раз-  
ве забудешь?

— Танюша, — тихо позвала мать.

Не отозвалась.

Мать постояла у двери, выжидая. Потом хлопнула



дверь, прозвучали ее шаги по замощенной дорожке во дворе.

Встали ребята.

— Спит? — тихо спросил Василий.

— Вроде спит, — неуверенно откликнулся Саша.

Ребята старались одеваться и двигаться тихо, но это не выходило: упал на пол ремень, грохнув пряжкой, скрипели и топали сапоги, гремела посуда.

— Ты как после вчерашнего полета? — донесся до Тани голос Василия.

— Вроде здоровый...

— А чего не ешь? Чего кислый такой?

— Вась... Из-за меня ее... — вырвалось у Сашки.

— Выдумывай больше! — Василий говорил с набитым ртом. — Она давно там по жердочке ходила.

— Как же теперь? — тревожно спросил Саша.

— А я знаю?! Да ты голову не вешай. Татьяна у нас боевая.

Ребята ушли. Таня медленно поднялась. Посидела у стола, очистила картофелину, посыпала солью, нехотя сжевала, хлебнула ложку кислого молока. Тошно! Тошно так, что сил нет.

В бачкѣ не было воды. Ведра стояли пустые. Нет, за водой она не пойдет. У колонки можно встретить досужих станичниц. А видеть Таня никого не хочет.

Как Галина перетрусилась! Свадьба у нее сегодня. Пусть веселится, если совести хватит. Таня никогда не простит ей этого страха в голосе, в глазах, в каждом движении.

Хлопнула дверь. В комнату стремительно вбежала Галя.

— Чего пришла? — сурово спросила Таня.

Опустившись на стул, Галя заревела, как режут ребята, глотая слезы, давясь ими, размазывая их кулаком по лицу, всхлипывая, твердя какие-то бессмысленные слова.

Таня нахмурилась. Крикнуть бы на нее, небось сразу бы перестала. А в сердце уже стучалась жалость. Этого еще не хватало. Ее только пусти — хозяйкой станет.

«Девчонка же, — думалось Тане. — Вот так и Маша ревела, бывало: прищепит палец и даже дверь лягнет ногой от обиды — пускай и двери больно!»

Ревет... А день-то у нее какой! Один раз в жизни бывает.

— Ладно тебе! — прикрикнула Таня, доставая платок. — Возьми вот, глаза вытри. И кончай реветь, а то я сама зареву. У меня причин-то побольше.

Угроза подействовала на Галю.

— Хороша, — критически оглядела Таня опухший Галин нос, покрасневшие глаза, вздрагивающие губы. — Невеста называется!

Из потока беспорядочных фраз и новых всхлипываний Таня поняла: Галя тоже не спала ночь, решила, что свадьбу нужно отложить. Роман не простит ей, если узнает, что Галя вчера смолчала. Он такой принципиальный. Галя сейчас пойдет к Швыдченке: пускай ее увольняет, а не Таню.

Таня слушала-слушала, потом взяла ее за руку, вывела в сени и подвела к умывальнику:

— Умывайся!

Холодная вода немножко остудила Галю.

— А теперь садись и слушай, — сказала Таня, когда они снова вошли в комнату, — да молчи, потому что не-сешь ты чепуху несусветную: «Свадьбу отложить»! Больно скорая на решения. Людей позвали? Позвали! Тетя Паша затратилась — трех гусей вчера еще зажарила, пироги печет. Ты о чем думаешь? А насчет Швыдченки и не выдумывай. Никогда он меня на ферму не вернет. Он только случая ждал выгнать. Ну, еще тебя выгонит. Кому от этого легче? И Роману ничего не смей говорить! Нечего человеку праздник портить! Пудра вон у зеркала стоит, на комод. Напудри нос и беги домой. Где это видано, чтобы невеста в день свадьбы в слезах по чужим домам бегала. Что люди подумают?

Уже в дверях Галя остановилась.

— А ты придешь? — робко спросила она.

— Постараюсь. — Врать Тане не хотелось. — А если не приду — не обижайся.

— Приходи.

Оставшись одна, Таня задумалась. Вот так и бывает: у одного человека беда, а рядом радость. А только радости людской тоже помогать надо. Есть силы — вот и помогай. И пускай сам в беде, а чужой радости руку протяни.

От этих мыслей стало спокойнее. Пока другого дела нет, решила хоть обед сварить.

Пошла за дровами, распахнула двери сарайчика и ахнула: мрачный и сосредоточенный сидел там Сашка.

— Ты чего не в школе?

— Не пойду я туда!

— Это еще почему?

Сашка, нахмурясь, изучал носки своих сапог.

— Обидел тебя кто?

Еще упрямее сжав губы, Сашка продолжал молчать.

— Саша! Без тебя тошно! Еще чего выдумал!

Тут Сашку как прорвало:

— И ничего не выдумал. Уйду я. Я работать могу. А вы не даёте. И тратитесь. Сапоги вот купили. А теперь ты. Из-за меня... И Ласточка из-за меня...

Сашка упал на сено лицом вниз.

— Ты вот что, Саша,— Таня положила ему руку на плечо,— расти скорее, учись. На кого нам с мамой надеяться? На тебя да на Василия. Был бы жив твой отец, он бы нас никому в обиду не дал.

Саша ответил очень тихо:

— Я этому Швыдченке!..

Голос его прервался, и угрозу договорили только глаза, но Таня не заметила этого. Она ласково провела рукой по его всклокоченным волосам, вынимая запутавшиеся в них сухие травинки.

Сашка на мгновение прижался к ее плечу головой, закрыл глаза. Вот кто ему сейчас самый родной. Он осторожно отстранился, чтобы Таня не заметила, как он раскис.

— Воды я принесу.

— Куртку накинь, прохладно. Рука-то не болит?

— Нет!

Сашка накинул куртку, взял ведро. Не за водой, на край света пошел бы для Тани.

Часа в четыре за Таней пришли подруги: без нее свадьба не в свадьбу. Галя сидит сама не своя. Роман беспокоится. Алеша Шумадо шею отвертел — все ее выглядывает.

— Сходи, дочка,— посоветовала мать.— Хоть на часок. Порадуй человека.

Не удалось Тане остаться наедине со своей бедой.

В доме у Карташовых веселье в полном разгаре. Все три комнаты битком набиты гостями. Играли два баяна, окна с улицы облепили ребяташки, падкие до зрелищ.

На столах румяные пироги, золотистые гуси, чашки с янтарным студнем, хрусткими огурцами, солеными помидорами, тарелки с холодной курятиной, яблоки, сливы, виноград, вино.

Галя, завидев Таню, бросилась навстречу, забыв о неторопливой повадке, обязательной для невесты. И, конечно, место для Тани нашлось около Алеши.

Скоро шум, поднятый с приходом новых гостей, улегся, и застолье пошло своим чередом. Потчевала с приговором раскрасневшаяся от вина и волнения тетя Паша, гости чокались с молодыми, желали им дружной, ладной жизни, чтобы деньга за деньгу забегала, чтобы знали счастье да почет, чтобы завелись у Романа романыта. Коля пытался справиться с длинной и прочувствованной речью. Двое комсомольцев — товарищи Романа — очень вежливо отесняли к двери беспокойного старичка, родственника тети Паши, успевшего, к ее большому смущению, хлебнуть через край и все порывавшегося рассказать, «какие есть бабы вредные, без всякого снисхождения».

Старичка увели. За столом то тут, то там среди шутивых речей и праздничного веселья начинался и серьезный разговор.

— А что, братцы, слышал я про китайцев: так рис сеют, что ребенок по верхушкам колосьев пройдет.

— Нет, земля все может. Ты ей уходи, а она ответит! Ей предела нету.

— Земля что... Без человека — пустыня.

Да, каждый говорил о своем деле. А вот о чем ей, Тане, сегодня сказать?

Должно быть, эти мысли ясно отразились в ее взгляде, потому что Алеша наклонился к ней.

— Ты, в общем-то, не думай, всяко бывает, — шепнул он.

— Само думается, — вырвалось у Тани.

— Я, в общем-то, понимаю, — протянул Алеша. — Мне сегодня тоже не сладко. Стихи посылал в краевую газету. Говорят, стоящие, а лучше не пишите.

— Ну, и что ты решил?

— Да, в общем-то, бросить надо, если умные люди советуют.

— Бросишь?

— Не смогу, понимаешь...

Девчата запели песню, давно переделанную на свой лад:

Не слышны в саду даже шорохи,  
Все в нем замерло до утра...  
Если б знали вы, как нам дороги  
Ставропольские вечера.

Роман что-то говорил Гале, наклонясь к самому уху.

Счастливая она какая! Все у нее ясно, а Танины стежки-дорожки прячутся в тумане. Куда выведут — никто не знает. Почему-то страшно далеким, совсем чужим казался ей сейчас Дима.

А свадьба шла своим порядком. Уже сдвигали столы к стенке, освобождая место для танцев. Уже оба баяниста дружно нажали на лады, словно выхваляясь друг перед другом. Уже самые заядлые танцоры приосанились, оглядывая пестрый цветник девчачьих платьев и улыбок, разыскивая ту, единственную, ради которой стоит показать свою удачу. Сейчас и разлиться бы свадебному веселью во всю его ширь, но для Тани оно оборвалось совершенно неожиданно. Рядом с ней вдруг возникло встревоженное лицо Васи, делавшего ей таинственные знаки.

— Сашку выручать надо, — шепнул он так, что услышали его Таня и Алеша, стоявший возле нее. — Швыдченко его у себя в сарае запер.

Таня выскочила вслед за Васей на улицу, Алеша за ней.

Сашка действительно сидел в сарае у Швыдченки.

После ухода Тани Сашка долго думал, потом решительно вышел из дому. Не легко было ему поступиться своим самолюбием и идти на поклон к человеку, которого он терпеть не мог. Но он пойдет. Он объяснит, что Таня не может без фермы. Тогда произойдет чудо, и Швыдченко скажет: «Ладно, пускай Татьяна завтра выходит на работу».

У Швыдченки ужинали, когда Сашка переступил порог.

— Это еще что за явление? — поднял Швыдченко голову, всматриваясь в лицо Сашки бессмысленными, пьяными глазами.— А-а, Лагутин... — протянул он, услышав фамилию, и снова принялся за еду.

Ел он много и жадно, вытирая жирные руки грязным полотенцем, лежавшим у него на коленях. Крошки запутались в его вислых усах. Саша так и стоял около двери, готовый убежать, уже чувствуя, что ничего хорошего из его затей не выйдет.

Наконец Швыдченко отодвинулся от стола, закурил.

— Лагутин, значит? — снова повторил он, меряя мальчика недобрый взглядом.— Братишка Татьянин, значит.

— Племянник,— выдавил Сашка, который с каждой минутой все больше ненавидел Швыдченко.

— Варварин сын,— вспомнил Швыдченко,— хорош, значит, если мать бросила. Видно, в тетку пошел — отовсюду гонят: ее — с фермы, тебя — из дому...

Кровь отхлынула у мальчика от лица, кулаки невольно сжались. «Раз... два... три... — считал он, чтобы успокоиться,— девять... десять...»

— Ну, Варварин сын, говори, чего надобно? — развалился Швыдченко на стуле.

Сашка шагнул к нему.

— Таня дояркой хочет быть... зоотехником... Она работать хочет... на ферме...

— А я, может, министром хочу быть,— усмехнулся Швыдченко.— А ну, признавайся, Татьяна подслала?

— Сам я. Через меня это... Я вчера с крыши брякнулся, она испугалась, домой прибежала, а там пока...

Швыдченко поднял руку:

— Это меня не касается. Татьяне твоей нигде головы не сносить. Больно храбрая.

Теперь Сашке было уже все равно.

— Зато честная! — крикнул он.

— Ишь ты, зубастый твареныш! Погоди, погоди. Это не ты на меня карикатуры рисовал?

— Я! — с вызовом крикнул Сашка.— И еще нарисую!

Швыдченко распахнул дверь:

— А ну, Варварин сын, вали отсюда! И Татьяне передай: нечего ей посыльных слать. Не бывать ей на ферме!

Не помня себя выскочил Сашка из дома Швыдченки. А через час вернулся.

Ярко освещено окно. На занавеске горбятся тени. Вот эта, лохматая, тень Швыдченки. Сашка размахнулся — звон разбитого стекла и крик прорезали ночную мглу. Тут бы и бежать Сашке сломя голову, но мстительное чувство заставило его остановиться, посмотреть. Он не заметил рядом с собой человека.

— Я тебе покажу, как хулиганить, стекла бить! — кричал прохожий, схватив его.

Сашка рванулся, да напрасно; а из дома уже бежал, гремя сапогами, Швыдченко; от соседей на шум и крик выскочили ребята.

Швыдченко потащил Сашку во двор, как ни отбивался потерявший голову от страха и отчаяния парнишка. Закрыв за собой калитку на щеколду, Швыдченко стал бить его безжалостно и сосредоточенно, как может бить только пьяный, обозленный человек! Наконец перепуганная жена Швыдченки отняла Сашку, уговорила мужа посадить его до утра в сарай.

Когда Таня с Алешей прибежали к Швыдченке, хозяин уже спал. Жена Швыдченки долго кричала, что ей чуть глаз камнем не вышибло. А стекла где возьмешь?

— Вставлю я стекло,— сказала Таня.— Сашку отдайте!

— Стукнул его хозяин-то мой сгоряча разика два-три.— Голос ее стал елейно-ласковым.— Сами понимаете, руки не удержал. Мальчишка, можно сказать, щенок, а стекла бьет. Вставлял он эти стекла, чтобы их бить?

— Где Сашка? — требовала Таня.

— Сейчас, сейчас,— засуетилась хозяйка.— Только ты шума не поднимай, против тебя шум очень способно повернуть, под суд тебя подвести, что хлопца к нам подослала.

— В общем-то, хватит,— вмешался Алеша.— Давай-те парня, потом разберемся, что к чему.

— Забирайте своего сатаненка, безотцовщину,— снова перешла на крик хозяйка и распахнула двери сарая.

В луч света, падавший из окна кухни, шагнул Сашка. Из распухшего синяка чуть виднелся глаз, по лицу размазана кровь.

— Я как лучше хотел... — дрогнувшими губами сказал Сашка.

Что-то кричала жена Швыдченки, путая угрозы с оправданиями, с громким лаем рвалась с цепи клыкастая дворняга, а Таня, обняв Сашу за плечи, унимая бившую его дрожь, повела на улицу.

Алеша задержался на секунду, подбирая слова, которые яснее всего выражали бы его чувства.

— В общем-то, — вежливо сказал он, — передайте своему хозяину, что он самый настоящий гад.

— Здравствуйте, мамаша, — сказал Федор Игнатюк.

Он всегда почтительно относился к теще. Он вообще не жалел для людей добрых, уважительных слов: и человеку хорошо, и себе ничего не стоит. Федор принял самое живое участие в беде, свалившейся на семью. Выход из нее один: поскорее устроить Таню на работу, тогда Федору не придется помогать родне.

— На ферму Татьяне сейчас дорога заказана. С весны может пойти в полевую бригаду или в утятницы — дело тоже немалое, но до весны далеко, — говорил Федор. — Почему бы ей месяца четыре не поработать официанткой? Каждый день копеечка в дом, и немалая.

Наталья Ивановна угощала зятя, слушала и молчала — пусть Таня сама решает.

Тане представилось, как быстрые руки Федора бросают на прилавок штуку облюбованного колхозницей пестрого штапеля, с шумом раскручивают, отмеряют, словно играя, заставляя материю еще разок покрасоваться перед людьми. Умел уговаривать Федор и товар лицом был мастер показать.

Нахохлившись, сидел за столом Сашка. Василий сочувственно поглядывал на Федора: толково придумал.

— Заведующий сказал, пускай завтра приходит, — закончил Федор, взглядываясь в лицо Тани и стараясь понять его выражение.

Глубоко задумалась Таня, слушая Федора. Жизнь свою она все равно построят как хочет. К заветной цели придет.



— Ну, как решаешь? — не выдержал Федор.

Как будто сейчас могут быть два решения! Решение одно. Другого нет, и Федор прекрасно знает это.

— Пойду,— спокойно говорит Таня.— Завтра и пойду.

Федор шумно и облегченно вздыхает. Мать, не поднимая головы, вытирает чашки, в глазах Сашки тревога.

— Пока... — В голосе Тани не то угроза, не то вызов обстоятельствам, которые заставляют временно отступать.— Пока! А весной никаких чайных! Буду в колхозе. И на ферму вернусь!

— О чем разговор?... — торопливо соглашается Федор, надеясь, что за четыре месяца немало воды утечет.

Сашка открыто и ясно улыбается: как сказала Таня, так и будет.

Ночью мать садится на край Таниной кровати:

— Трудно тебе?

Взволнованная, сразу почувствовав себя маленькой, Таня, уткнувшись головой в материнские колени, говорит о Ласточке, о том, как хочется ей на ферму.

— Думаешь, я не понимаю,— с ласковым укором перебивает ее мать.— У меня на ферме без малого двадцать годков пробежало.

Рука матери, небольшая и жесткая, но, как всегда, ласковая, прохладная, опускается на горячий лоб дочери.

И тогда Таня, волнуясь и сомневаясь, радуясь и тревожась, рассказывает ей о Диме Кравцове.

— Не ошиблась бы,— тихо замечает мать.— Алексей-то, вот он, весь на ладони. Отцы ваши смолоду дружили.

Таня вторит ей: какой славный Алеша. И, чем больше хвалит его, тем яснее становится матери, что не запал он в Танину душу.

...Рано утром Таня поднимается по выщербленным ступенькам чайной. На кухне горит свет. За буфетом возится полная женщина, устанавливая под стеклом непритязательные закуски: яйца вкрутую и куски черной, пережаренной печенки. В чайной пусто, холодно; зеленоватое отсвечивает матовое стекло на столиках.

Ну что ж! До весны!..

## Глава XV

### «ГУЛЯШ—ДВА, СЫРНИКИ—ОДНИ»

В чайной облаком висит табачный дым, стеной стоит гул голосов. Из всех слов надо схватить то, что относится непосредственно к ней.

— Девушка, борщ и биточки!

— Пару пива!

— Мне, значит, антрекотик и яишенку... двойную...

— Почему лапшу вычеркнули? Ах, нету? А почему нету? А зачем писали?

— Гуляш — два, сырники — одни!

В маленьком блокноте наскоро сделать закорючки-пометки. На кухне перед раздаточным окном ворохом высыпать заказы: «Иван Иваныч, гуляш — два, сырники — одни». Потом снова метнуться в зал, принять посуду, вытереть и накрыть стол, потом — к буфету. Здесь, пока буфетчица режет и отвешивает хлеб, пока в кружки льется пиво, на одну короткую минутку передохнуть, облокотившись о прилавок. А из кухни уже кричит Иван Иванович: «Таня, принимай заказы!» И снова тот же путь — столик в зале, окошечко на кухне, буфет. Двенадцатый раз. Сотый. Посчитать бы, на сколько километров протянется этот ежедневный путь.

Сколько путей, сколько дорог на свете! Прелегают они по небу, идут дальними морями, карабкаются по отвесным кручам, бегут по равнинам. Дороги счастья и мечты, дороги замыслов и свершений. А у нее замкнулся треугольник: двадцать шагов — восемь — двенадцать. Снова и снова. Одно и то же. И все-таки сегодня это ее дело. Значит, делать его надо честно и хорошо. Люди работают, их надо накормить — все очень просто.

Надо не спутать, кому дать борщ, кому рассольник; надо успеть принести заказ, пока над тарелкой стоит легкий ароматный парок; надо рассчитать время так, чтобы не было перерыва между первым и вторым блюдом. Надо быстро и точно сделать подсчеты и успеть дать сдачу. Не хочет она этих рублевков и полтинников, которые готовы оставить ей. Пусть Федор говорит, что в них нет ничего обидного и невесть какие деньги — рубль, а у нее десятка-две за день набежит, вот и

подспорье к зарплате. Пусть посмеивается над ней буфетчица, этих денег она не возьмет!

Шла вторая неделя. Посетители чайной знали Таню уже по имени, да и она узнала многих и успела примениться к их вкусам: две молоденькие учительницы прибегают утром пить молоко и обязательно с печеньем или пирожным, толстяк — заведующий керосиновой лавкой — усаживается долго, возится, пыхтит, а потом сердито спросит Таню, как будто все зависит от ее ответа:

— Может, пивка выпить? А?

Незнакомые подзывали Таню и шепотом уговаривали:

— Ты, девушка, расстарайся, достань маленькую...

Второй раз с такой просьбой никто не обращался. Таня примечала и тех, после ухода которых под столом, стыдливо прижавшись к его ножке, оставалась пустая бутылка.

Чайная стояла на грейдере, частыми посетителями ее были шоферы.

— Девушка, на одной ножке поворачивайся, ехать надо, — предупреждали они, и Таня старалась обслужить их побыстрее.

Однажды засиделись в чайной три шофера. На улице стояла машина с племенными свиноматками, они уже больше часа недоуменно и обиженно похрюкивали, и две машины с бочками — самое время капусту солить. Таня все холоднее и настороженнее выполняла заказы заболтавшихся шоферов, наконец не выдержала:

— Ехать вам пора!

— Ишь ты, командир, — засмеялись шоферы, — пивка лучше принеси.

— Не положено вам пиво на работе, — хмуро отозвалась Таня. — Езжайте, езжайте. Целый час прохлаждается.

Шоферы подняли было шум, вмешалась половина посетителей, выскочил из кухни Иван Иванович.

— Правильная девушка, по-государственному подошла, — определил кто-то.

Это слово подействовало и на шоферов. Расплатились они торопливо и даже как-то виновато.

Во время перерыва весь маленький коллектив чайной волновался, обсуждая это происшествие.

— Кто ты? Может, председатель ихнего колхоза? — спрашивал Иван Иванович. — Какие такие у тебя права людьми командовать? Или ты автоинспектор? Твое дело человека обслужить. Спрашивает пиво — подай пиво, а куда он потом пойдет — не твое дело. Наше дело план выполнять, чтобы рубли промеж пальцев не текли. Кто ты на сегодня? Срывщик плана по чайной, вот кто! Этак ты и вовсе посетителей отводишь.

Его остановила буфетчица:

— Не очень-то сторожись, Иваныч. Девушка старается, сам знаешь. Да и беды большой нет, пиво у нас никогда не закисло. Не они — другие выпьют. А сидеть в чайной безо всякого разума шоферам на рейсе тоже не годится.

— Я же насчет плана стараюсь, — обиделся повар.

Здесь были свои интересы и заботы.

— Мяса дали в обрез, — жаловался заведующий. — На курортах и морковные котлеты или там суфле из капусты приготовить можно: курсовочник съест — ему жир спускать, а предложи ты морковь рабочему человеку, он за насмешку примет. Ему работать надо, а какая с моркови работа! Свиной заводить треба. Поставь свиные корыто, нехай чавкает да килограммы набирает. Нечего помои по хатам растаскивать, — решил он.

Федор издали, но внимательно следил за работой Тани, знал про ее отказ от чаевых, про историю с шоферами.

— Не пойму я тебя, Татьяна, — говорил он. — То ли проста очень, то ли хитра через край. С твоим характером ты и отсюда загремишь. Куда только из официанток подашься? В судомойки? А пораскину умом — в начальники можешь выйти, если до того головы не свернешь.

У Федора мысли бежали своей дорожкой. Работа в чайной — дело чистое. Таня — девушка грамотная, очень просто и до заведующей достигнет. Институт что? Синица в небе, и далекая: это какую силу надо, чтобы работать и учиться. Не один год, а целых пять. Не урод Татьяна, не обсевок в поле — выйдет замуж, какая уж тогда учеба!

Таня работала честно, с душой, но не испытывала того беспокойства и той радости, что владели ею на ферме. Там все обретало свой особый смысл, там просто дышалось легко, там она была дома, здесь — в гостях.

Жадно ловила она всякую новость о ферме, о девчатах, а гордость, может быть, очень глупая, не давала ей открыто показывать этого. Встречаясь с девчатами, говорила с ними суровым, холодным тоном: пусть не заметят, как ей горько и трудно, как тоскует она по ферме. Коля, наверное, рад, что ее нет: спокойнее стало жить. Гале теперь не до нее. Нина и та перестала забегать. Правда, свободны они в разное время: у доярок перерыв, а в чайной самая горячка — обед или ужин.

В десятом часу Таня освобождалась, тут уж не до танцев, надо хоть час-два позаниматься.

— Устала, поди, легла бы пораньше, — уговаривала ее мать.

Таня знала: отступать нельзя. Сдашься однажды, позволишь себе полентяйничать — и все полетит кувырком.

В тетрадку, где были стихи Сергея Чекмарева и любимые мысли из книг, она записала древнюю пословицу, услышанную когда-то от Веры Васильевны.

«Посеешь поступок — пожнешь привычку,

Посеешь привычку — пожнешь характер,

Посеешь характер — пожнешь судьбу».

«В кино сегодня смотрела «Дон-Кихота». Картина — словно песня. Выходили, какой-то дурак сказал: «Вот мура!» Сеанс шел, многие смеялись там, где слезы наворачивались на глаза. Мне хотелось вскочить — и туда, на экран, встать рядом с ним против глупых и злых людей».

Но еще больше записей появлялось в другой тетради:

«У лучших коров иногда нарушается правильный обмен веществ. С молоком из организма уходит слишком много фосфора и кальция. Средство борьбы — лечебное питание (минеральные вещества, витамины. Узнать, какие?), прогулки, свежий воздух. Лучшее средство — ультрафиолетовые лучи, «горное солнце». (Интересно, слышал ли о таких Швыдченко?)»

Нет, этих вечерних часов, которые надо было отвоевывать от усталости, Таня не могла растрачивать попусту. Ее радовало, что Сашка садился напротив нее, открывая свои тетрадки, и принимался за упражнения, считая, что его присутствие поддержит и Танину решимость заниматься: вдвоем-то веселее да и по-русскому он подтянется — не оставаться же на второй год в пятом классе. Пятнадцать на днях стукнуло.

Василий, повозившись немножко,—любил он пилить, строгать, сколачивать гораздо больше, чем заниматься,—остановился около стола, заложив руки в карманы.

— Институт на дому работает на полную мощность,—определил он.

— И для тебя местечко найдется,—предложила Таня.

— Устал чего-то. Спать лягу. Почитаю немного.— Он прищурился, глядя на Сашку, и сказал, не то ревнуя к сестре, не то желая его подразнить: — А хитрый ты, Александр, ишь как к Татьяне в сердце запал.

— Никуда я не западал,—огрызнулся Сашка и перевел разговор на другое: — И чего такая чепуховина: «растешь, растение» и вдруг «рос» — «о», корень-то вроде один.

— Не знаю,—усмехнулся Василий.— Я много чего не знаю. Не знаю, например, что Алешка в Татьяне нашел.

— Шел бы спать, раз собрался,—посоветовала Таня.

Вася улегся на своем топчане и с самыми добрыми намерениями раскрыл книжку, но не прошло и пяти минут, как она с грохотом упала на пол. Вася даже не пошевелинулся.

Хорошо, что Саша сидит напротив, можно иногда прочесть вслух, чему равна кормовая единица и сколько кормовых единиц дает килограмм кукурузного силоса. Конечно, Сашке это не особенно интересно, но так хорошо запоминается, когда кому-нибудь растолкуешь.

Надо еще Диме написать. Таня дает листок Саше:

— Матери напиши. Скучает, поди, Варя.

— Скучала бы, сама написала.

Сашка берет листок. Пишет: «Здравствуйте», проходит немало времени, прежде чем появляется «все». Таня молча наблюдает за племянником: письмо короткое и всё умещается на одной странице — все здоровы, отелилась Лысуха...

И Тане не пишется. Две недели прошло с того дня, как ушла с фермы. Много раз принималась писать, но фразы ломались, получалось грубо и сухо. «Выгнали с фермы», «работаю подавальщицей в колхозной

чайной». А Дима прочтет письмо, сидя в кресле, слушая Рахманинова; в огромной хрустальной вазе на изящном, полированном столике будут стоять последние астры... Нет, ничего не напишет Таня. Писать нельзя, надо рассказывать, держа Диму за руку и глядя ему в глаза. А вдруг в них мелькнет разочарование, укор? Неужели она не верит Диме?

Последнее время он стал реже писать. Видно, занят, сдает зачеты. В последнем письме писал, что шестого ее ждет большая неожиданность. Какая? Конечно, хорошая. Скорее бы пришло шестое.

## Глава XVI

### ЗАВТРА ПРАЗДНИК

И оно пришло. Первая неожиданность случилась утром, но к Диме она не имела никакого отношения.

Приехала Маша. Ее никто не ждал на праздник. Но соскучилась по дому и приехала. На дороге за городом «проголосовала». Шофер, молодой парень, даже в кабину ее посадил, болтал всю дорогу всякую чепуху, уверяя, что не встречал девчат веселее и красивее. Пятерка, зажатая на всякий случай в кулаке, так и осталась у Маши. Жаль только, что на развилке дорог машине нужно было сворачивать. Сначала Маше даже нравилось стоять одной солнечным, ветреным днем в степи и слушать сухой шелест придорожных трав. Потом стало чуточку тревожно и холодно, а потом остановилась машина, и пожилой шофер сказал ей: «Садись, дочка, поди, на праздник домой торопишься?» Пешком пришлось пройти километра два, и через полчаса Маша обнимала мать, кружила по комнате Таню, делала попытку примерить на Василия свою зеленую шляпу. Таковую же, только голубую, с белым, нежным перышком и веселым изгибом фетра над бровями, привезла в подарок Тане. Матери достался головной платок, ребятам — носки.

— Какую кучу денег выкинула, — с укором качала головой Наталья Ивановна, — голодом, поди, насиделась.

Вторая приятная неожиданность была на работе. Заведующий сдержал-таки слово и завел поросят. Во дво-

ре стоял отчаянный визг, а заведующий вместе со сторожем безуспешно пытался загнать в сарайчик трех юрких, упитанных боровков.

— Помогай, Лагутина! — крикнул заведующий, отирая со лба рукавом пот и нагибаясь за камнем, чтобы метнуть его в озорника, бегающего по двору с истошным визгом.

Таня засмеялась, заскочила на кухню и выбежала оттуда с ведерком помоев.

— Чух-чух-чух,— звала она, заманивая поросят в сарайчик.

Поросята принюхались, решили, что помои пахнут обвoroжительно, перешли с визга на хрюканье и на своих крепеньких ножках устремились к Тане. Они сгрудились у корыта, конечно, с одного бока, сердито толкая друг друга, один даже с ногами в корыто забрался.

— Номер не пройдет,— засмеялась Таня, выгоняя его из корыта.— Есть ешь, а свинячить нечего.

— Назначим тебя, Лагутина, директором нашей свинофермы,— засмеялся заведующий, — по совместительству, конечно. Работы хватит, зарплаты не проси. По рукам?

Таня усмехнулась: вот и у нее своя ферма из трех поросят.

И обед начался хорошо. Люди хоть и торопились, но настроены были празднично и добродушно. Иван Иванович на раздаче стоял сам, ревниво расспрашивая Таню об отзывах посетителей.

— Я сегодня, может, на два часа раньше встал,— хвастал повар,— да про соус и поджарку еще с вечера думал. А как поджарка-то идет?

С подносом в руках Таня вышла в зал. За угловым столиком уже сидел Алеша. Вот повадился в столовой обедать, будто его дома не кормят!

Солнце играло на графинах с водой, золотыми лучами ложилось под ноги. Завтра праздник!

И вот поди ж ты! Бывают люди, как ложка дегтя в бочке меда,— могут испортить все одним своим появлением.

В чайную вошел Швыдченко с двумя приятелями.

— Татьяна! Меню подай! — крикнул он.

Она работает здесь. Она должна подойти и вежливо принять заказ. Это ее обязанность. И разве не она



учила Сашку в такие минуты считать: «Раз... два... десять».

С блокнотом в руке остановилась возле столика, невольно оглянулась на Алешу, тот кивнул головой.

— Так...— протянул Швыдченко,— пива — шесть, ну... салатик там, селедочку, котлеты — три порции.

Таня отошла, вслед ей раздался смех.

— С фермы я ее, значит, наподдал,— объяснял приятелям Швыдченко,— так она сюда пристроилась, рублевки собирать,— услышала Таня.

Покраснев, с плотно сжатыми губами, накрывала она на стол. Швыдченко был сильно навеселе. Не таясь, вынул из кармана бутылку, сбил вилкой сургуч и начал выбивать пробку.

— Уберите! — коротко и сурово сказала Таня.

— Чего, чего? — засмеялся Швыдченко.— Я не слышу!

Таня вызвала заведующего.

— Ты, выходит, и здесь воду мутить,— с ненавистью сказал Швыдченко, но перечить заведующему не стал, сунул бутылку в карман.

Когда заведующий ушел, они все трое выскочили на крыльцо. Вернулись, побрякивая, морщась, вытирая губы рукой, и сразу набросились на селедку.

— Думаешь, я не знаю, что ты и сейчас на ферме людей булгачишь,— возмущался Швыдченко,— копаешь под меня!

Таня молча подавала и принимала, желая только одного, чтобы он скорее ушел.

Алеша расплатился за обед, но попросил еще чаю.

— В общем-то,— сказал он,— пока этот тип здесь, я тоже посижу.

А Швыдченко и не думал уходить.

— Понимаешь, дрянь какая,— доверительно говорил он собеседнику, косясь на Таню. Он все больше хмелел и терял всякую осторожность.— До всего доходит. Сейчас на молзаводе копает. Проверку затевает: все хочет одно к одному свести — и жирность, и количество, и сколько надоено, и сколько по накладной значится, и с чего Швыдченко бочонок масла получил... А вот получил! Получил, а ты сумей!

Какой бочонок? Какие накладные? Таня ничего не понимала.



— Пьяным у нас не подают.

Один из собеседников Швыдченки был потрезвее; указывая глазами на Таню, зашептал ему на ухо.

Швыдченко грохнул кулаком по столу — дребезжа, подпрыгнули вилки.

— Пива, — крикнул он, — да поживее!

Таня положила на стол счет.

— Пьяным у нас не подают, — холодно отчеканила она. — Прошу рассчитаться. Платите сорок семь рублей.

Швыдченко вскочил:

— А я пива требую! За свои. За кровные. Не доводи до греха, не проси кулака.

Перед ним встал Алеша.

— В общем-то, — сказал он, бледнея, — я прошу вас не кричать. У меня, в общем-то, голова болит, когда кричат.

— Насмешки строишь? — не унимался Швыдченко. — Твое дело подать, приказ мой исполнить, раз ты служащая при чайной.

Один из приятелей Швыдченки бросил на стол полусотенную бумажку, другой подхватил самого Швыдченко.

— Сдачу возьмите! — крикнула Таня, торопливо разыскивая трехрублевку.

Ее никто не услышал. Кричал Швыдченко, приятели, уговаривая, вели его к двери. Алеша выхватил у нее из рук трехрублевку, бросился догонять Швыдченко.

Таня невольно посмотрела ему вслед. Кровь ударила ей в лицо: у двери, через которую волокли сейчас злобно ругавшегося и мотавшего головой пьяного Швыдченко, изумленно и брезгливо посторонившись, стоял Дима Кравцов. На нем было светлое легкое пальто, светлая шляпа, яркий галстук. Он улыбался какой-то странной улыбкой, в глазах была растерянность.

Закрыв лицо руками, Таня бросилась на кухню. Она плакала. Иван Иванович поил ее водой, гладил по волосам, успокаивал:

— На свете еще всякая грубость бывает. А ты брось! Не обращай внимания. Еще на всякого обормота сердце расходовать. Это ему сейчас плакать надо — он человека обидел.

Вошел заведующий:

— Таня! Люди-то ждут.

Она на работе. Надо идти в зал, принимать заказы, делать свое привычное дело. Там Дима. Он видел весь этот безобразный скандал. Пусть думает что хочет. Теперь все равно...

Таня встала, насухо вытерла глаза, последний раз судорожно вздохнула и вышла в зал. Она еще не увидела, но сразу почувствовала — Димы в зале нет. Ушел. Может быть, совсем. Если так, то пусть. Пусть.

Она подавала, уносила посуду, получала деньги. И люди, простые люди, сидевшие в зале, были особенно ласковы с ней, словно стремились сгладить из ее памяти эту безобразную сцену.

— Трояк я им отдал, — сказал Алеша, расплачиваясь за чай. — И пошел я. Вечером забегу. Говорят, Маша приехала. — Он встал и вдруг усмехнулся: — Швыдченко франта одного напугал так, что тот без памяти из чайной выскочил и вдоль дороги ходит, опомниться не может.

Выйдя за станицу, они говорили чуть не одновременно. Нет, Дима не взял ее за руку, не сказал ей ласкового слова, он хмурился, досадливо поводил плечом:

— Попала ты в переплет...

— И все равно — ничего страшного нет!

— Страшно то, — веско, чужим голосом сказал Дима, — что у тебя нет ко мне доверия.

— Я не обманывала тебя.

— Ну, знаешь, умолчание — тот же обман. И потом, потом, я просто не могу примириться... полутемная столовка, грязные столы, пьяные... И ты... Прислуживаешь какому-то сброду!

Горло у Тани перехлестнуло обидой:

— Я колхозников кормлю.

— Слова! А на деле — пьяные морды... Трехрублевки какие-то. — Брезгливое выражение опять появилось на лице у Димы.

Как он мог! Махнув рукой, Таня быстро пошла по дороге.

Дима нагнал ее, обнял:

— Таня... Танюша... Я сам не знаю, что говорю. Обидно мне за тебя! Скучал же! Потому и приехал.

И все плохое отошло, растаяло, как марево.

Взявшись за руки, тихо брели дорогой. Оказывается,

Дима приехал за ней, чтобы увезти ее на праздник в город. Приехал на машине. Отец купил «Москвича». У Димы уже есть шоферские права. Потому и писал редко, что все свободное время проводил за рулем.

— Видишь, и ты молчал.

— Так я обрадовать хотел!

Таня хотела сказать: «А я боялась огорчить», но смолчала. Искося бросила взгляд на Диму: какой же он красивый! Дима с ней. Пробежала по небу тучка, бросила тень на пригорок. Скрылась — и тень ушла вслед за нею.

Вот и желание Танино исполнилось: они за станицей вдвоем с Димой; пускай посмотрит, как хорошо в степи!..

Но Дима передернул плечами.

— Скучные у вас края, — сказал он, оглядывая побуревшую, словно тронутую грязной ржавчиной, осеннюю степь.

Ветер ожесточенно трепал бурьяны, гнал через поле бурый шар колючего курая. Дорога в сумерках казалась серой, унылой. Не было сейчас в степи той игры света и тени, которая так радует глаз, не было дальней дымки, сиреневых и голубых тонов воздуха. Не захотели Танины родные места предстать своей казовой стороной, раскрыться во всей красоте чужому, равнодушному глазу.

Таня опустила голову. Нет, и такую ветреную, пыльную, сумеречную, осеннюю любила она степь. Но как найдешь слова, чтобы рассказать о ней, если Дима даже мимо вот этого придорожного кустика терна прошел, не порадовался его сизым, словно инеем тронутым, ягодам. Не заметил. И пестрого удода с задорным хохолком тоже не заметил. И не чувствует он, как и сейчас, осенью, благоухает степь: здесь и аромат отдыхающей земли, и терпковатый запах подсолнечных бодыльев, и горький дух полынка, а к ним примешан острый запашок горького кизячного дымка, что тонкой струей вьется со двора крайней хаты, чуть слышно вплетается в эту общую гамму яблоневый дух, аромат увядающих и прелых листьев, сухой и душистый аромат, что источают скирды сена.

Дима словно понял ее, усмехнулся:

— Вижу, что расстроил. Хочешь, я тебе сейчас про эту твою степь целую поэму прочитаю.

— Не хочу, — сказала Таня. — Не надо.

— Не надо так не надо,— миролюбиво согласился Дима.— Давай не станем времени терять. Улаживай свои дела — и в машину. Маме своей скажи, что Нина Васильевна просит тебя погостить.

— Так завтра у нас рабочий день.

— Подумаешь, рабочий! — вскипел Дима.— Да брось ты свою чайную! Невидаль какую нашла! А родных твоих я просто ненавижу: повисли на тебе камнем. Тебе учиться надо, а не деньги им добывать.

Таня обиделась. Снова Дима уговаривал ее, мешая резкие и нежные слова. Она невольно прощала резкость, казалось, за ней стоит еще большая любовь, чем за нежностью: так любит, что обидеть не боится!

— У нас завтра вечер. Я уже сказал, что приду с де-вушкой. У Ванды даже лицо вытянулось.

— Слушай! — Таня обрадовалась выходу.— Оставайся ты здесь. Я завтра до обеда и весь вечер свободна.

Дима растерялся:

— Здесь?.. А что здесь делать? Сама говоришь, даже клуба у вас нет... И потом, вечер мы затеяли. У Ванды большая квартира, родители в санатории. Знаешь, как весело будет.

— Ну и поезжай,— тихо сказала Таня.

— Обиделась? Нет, ты не подумай. Я не из-за вечера. Я должен быть в городе. Я отвечаю за колонну физкультурников завтра на демонстрации,— радостно вспомнил Дима.

— Мама, это Дима Кравцов,— сказала Таня, когда он, чуть пригнувшись, переступил порог.

В комнате было по-праздничному чисто, но Тане снова болезненно бросилась в глаза вся их незатейливая обстановка: старые стулья, некрашенные табуретки, дощатый топчан в углу, покрытый полосатым половичком. Она пристально глядела на выражение лица Димы, но он, видимо, и не ждал иного. Тане стало неловко. Неужели она не верит Диме, боится, что их дружба может зависеть от этих мелочей.

Дима чувствовал себя свободно, шутил с Машей и хлопцами, почтительно разговаривал с Натальей Ивановной, хвалил пироги.

Таня видела, что Наталью Ивановну смущало, когда

Дима, принимая чашку, чуть приподнимался и вместо «спасибо» говорил «благодарю вас».

«Ничего, мама, ты увидишь, что он простой и хороший, ты полюбишь его, мама...»

Хлопцы сидели насупясь и отвечали Диме односложно. Собственно, отвечал только Василий; Сашка упорно смотрел в сторону, он просто ревновал Таню, как ревнуют подростки своих старших любимых сестер. Да и Вася не отличался любезностью. Все его симпатии были на стороне Алеши. Об Алеше думала и Маша, глядя на Диму, такого уверенного и чем-то похожего на киноартиста. Бедный Алеша! Милый Алеша!

Таня вышла проводить Диму. Опять разлука, теперь короткая, всего на несколько дней. Прощались ласково, и вдруг снова, откуда ни возьмись, набежала тучка, распласталась над степью, над Таней, закрыла радость.

— Приедешь, не говори маме, что работаешь в чайной,— попросил Дима.

— Почему? — От обиды Таня и смотреть на него не могла.

— Состояние это временное, не будешь же ты долго в этой забегаловке, а у мамы голова таки забита пред-рассудками.

Поцелуй Димы опять отодвинул все тревожное и ненужное.

Дима сел за руль, вспыхнули фары. И вот — все: растаяла машина, поглощенная ночной темнотой.

Таня опять одна стояла у своих ворот. Кто-то кашлянул. Таня оглянулась. Так и есть, Алеша.

— Таня, это ты из-за него не хочешь дружить? — спросил он.

— Да...

Помолчали.

— Но ведь мы дружим с тобой,— опомнилась Таня.

— Он, в общем-то, ничего, красивый,— неуверенно сказал Алеша.

— Хороший он, замечательный,— сказала Таня; как младшего брата, как Сашку, стало жаль Алешу. Взяла его за руку.— Алеша, не сердись... И, поверь, у тебя все тоже будет хорошо.

— А я, в общем-то... — растерялся Алеша.— Какое, в общем-то, у меня право.

Он повернулся и быстро пошел прочь.

## Глава XVII

### «Я ПО ТЕБЕ РАВНЯЛАСЬ...»

— Думаю все,— вздохнув, сказала утром мать, когда они остались вдвоем с Таней.

Она положила несколько пирожков на раскаленную сковородку и повернулась к дочери.

— Не понравился он тебе? — настороженно спросила Таня.

— Паренек видный, обходительный, с образованием.— Мать говорила так, словно старалась убедить себя в этом.— Только... — Она запнулась и, чтобы скрыть смущение, опять занялась пирожками, хотя прекрасно видела, что переворачивать их еще рано. Тон ее стал ворчливым.— Явился невесть откуда: «Вот он я!» И не посовестился ничуть.

— Значит, таиться лучше?

— Выходит, вы уж все порешили?

— Ничего мы не решали,— сказала Таня и покраснела.

Неправда. Все у них решено. Только слов, конечно, про свадьбу не было, просто минута для них не пришла. Не выдалась, но придет. Обязательно придет.

Таня следила, как мать переворачивает пирожки, румяные и золотистые, ставит их на бочок.

А мысли Натальи Ивановны шли своим чередом.

— Может, и ладно, что не решили,— вздохнула она.— Не поглянулся он мне. Ты вчера, как огонек, светишься вся, глаза так и выговаривают, что любишь. А он все будто плечи расправляет, красуется: «Гляньте, какой я удалый!»

Таня знала, что мать сейчас заговорит об Алеше, и не ошиблась.

— Вот беда, Алеша тебе не мил. А парень-то какой честный да заботливый. Гляди, как он с нашими хлопцами крышу-то перестелил. Вчера грамоту получил, премию, а сам сидит смутный. Думаешь, не ясно ему, зачем тот, залетка, прилетал, крылышки чистил да охорашивался?

— Я Алеше сказала...

— Сказала! — ахнула мать.— Зачем еще?



— Спросил. Мама, да мало ли девчат хороших! И для него своя доля найдется. Вон Нина Корнакова...

— Молода больно в свахах ходить!— рассердилась мать и сейчас же смягчилась: — Пирожка возьми.

Пирожок горячий, в руке не удержать. По детской привычке, Таня сплющила его в боках, надорвала ему носик — оттуда вырвался аппетитный парок. Положила на блюдо да и забыла о нем. Вчера вот здесь, в дверях, стоял Дима. Там сидел...

И мать поняла: пришло оно, неотвратимое время девичьей радости, девичьих слез, тоски и счастья. Длинным окажется счастье или коротким, полным или куценьким, а только пришло оно, и ничего тут не поделать.

Матери остается только молить, чтобы нашла дочка настоящее, большое счастье.

— Ешь пирог-то, остыл давно,— сказала она, а взгляд говорил о другом, без слов понятном обоим.

— Чего же премию-то не показываешь,— усмехнулась Таня, чтобы переменить разговор.

Быстрый взгляд матери сказал: «Значит, была-таки на собрании».

Когда Дима уехал, Таня пошла к школе, где собрались колхозники, но войти не сразу решилась. Постояла сначала на крыльце, потом зашла в коридор и, только когда убедилась, что внимание всех сосредоточено на сцене, подошла к двери и встала так, чтобы ее скрывала чья-то широкая спина.

Колхоз проводит торжественное собрание, а Тане сегодня нет доли в колхозном празднике.

В президиуме сидели Иван Гордеевич, Анна Максимовна, Коля.

И с каждым из них вела сейчас внутренний разговор Таня.

«Народу-то в колхозе много, Иван Гордеич! Хорошего народа. Есть кому руку пожать на празднике. И зачем вам думать о какой-то девчонке, которая покрутилась на ферме два месяца, взбаламутила доярок, беды наделала, а сейчас с подносом бегаёт в чайной. Бегаёт, и ладно — значит, при деле. А что дело-то ей чужое, что свое, родное, за плечами осталось, это вам, Иван Гордеич, безразлично. Зайдёте в чайную, опять походя спросите, как тогда, на кукурузе: «Ну, как дела, студентка?»

Услышите: «На все сто», и снова забудете, что живет на свете Таня Лагутина».

И Анне Максимовне нет до нее дела. Тогда Швыдченко напел ей что хотел, а теперь, поди, квац в деготь обмакнул и нарисовал Танин портрет этим самым квачом.

Коля Винниченко сидит себе в президиуме, всем доволен, все думает, как бы потише прожить; поди, и сейчас для Швыдченки в хороших ходит. Интересно, кто сейчас на ферме «воду мутит», как сказал Швыдченко? Только не Коля...

Обидные мысли бродили в Таниной голове.

— Премируется Анна Серафимовна Галаган...— услышала Таня.

Заискрился в ярких лучах электрического света розовый шелк в руках председателя. Нюра, поигрывая глазами, спустилась со сцены, села в первом ряду около Швыдченки. Он сидел спокойный, уверенный в себе, а Таня стояла за дверью, выглядывая из-за чужой спины.

Таня повернулась, на цыпочках пересекла коридор и вышла на улицу.

Вслед ей грянула музыка, и Таня почувствовала себя еще более обойденной.

Мимо правления колхоза Таня спустилась к реке. Река шумела внизу, не то тревожась о чем-то, не то жалуясь. Ногой Таня сбросила камешек вниз. «Шлепс»,— сказала река. И это насмешливое «шлепс» показалось особенно обидным, связанным с ее личной судьбой. Вот так и она оторвалась от земли, только хотела крылья расправить и полететь, а вместо того — короткое «шлепс»... А река, большая река колхозной жизни дальше катит свои воды, и ничем не изменил ее течения маленький, жалкий камешек, оторвавшийся от родного берега.

Но река есть. Она течет заросшими ивняком берегами, разливается по лугам, огибает белоснежную лебединую стаю станичных хат, щедро посылает свои воды по каналам, чтобы поили они сухие ставропольские степи, а сама стремится к морским просторам. Река есть. А уж от самой Тани зависит, стать ли только камешком, на одно мгновение взморщившим ее воды... Да стоит ли столько думать о себе?

Жизнь только началась, встряхнула только на первом ухабе. А кто и когда обещал ей гладкую дорожку? Набила шишку? Болит? Ну что же!

Хватит! Домой пора! Там — Маша.

Машу она застала дома на скамеечке. И не одну. С ней сидел Алеша. Когда Таня подошла, он вскочил.

— Сиди, Алеша, — мягко сказала Таня.

— Да мы, в общем-то, поговорили. Домой пора.

Стукнула щеколда калитки, и сестры остались вдвоем.

— Алешу жалко, — с горечью вырвалось у Маши.

— Маша, он тебе нравится, да?

— И ничего не нравится. И вовсе не нравится, а просто плохо человеку. И должен у него в такую минуту быть друг. — Маша будто рассердилась, что такие простые вещи надо разъяснять старшей сестре.

Помолчав, она прижалась к плечу Тани и спросила робко, взволнованно, как может спросить только девушка, которая уже ощутила где-то возле себя первое дыхание любви, но еще не прикоснулась к ней!

— А Диму ты очень любишь?

— Очень, — серьезно и просто ответила Таня. — Мне кажется, потеряй я его — и половина жизни уйдет.

— Почему ты сказала так? — с невольным страхом спросила Маша.

И Тане вдруг самой стало тревожно, вероятно, поэтому она заговорила излишне громко:

— Не потеряю я его... Никому не отдам! И сам никуда не уйдет!

— Веришь ему?

— Верю!

Маша вздохнула:

— Ну и счастливая! А я бы, кажется, чем больше любила, тем меньше верила. Ох, и ревновала бы!

— Маша! Ты же пока ничего-ничего не знаешь. Я ради него все могу. Вон на ту звезду взлететь могу. Считай: раз... два...

— Не надо! — Маша положила ей руку на колено, будто и правда после счета «три» Таня могла бы взлететь на звезду.

— Подожди, полюбишь — сама поймешь, — пообещала Таня.

— А я, может, уже полюбила.

— Ты?! — ахнула Таня. — Кого?

— Так, человека одного... — пожала плечами Маша и сейчас же смутилась своего невольного признания. — Пошутила я, — засмеялась она (ведь не знала же Таня, что в кармашке у сестры лежал уже столько дней лелеемый платочек с якорьком). — Таня, а ты смотрела в кино «Ромео и Джульетту»?

— Смотрела.

Шепот Маши стал горячее, глаза чуть округлились.

— Вот это была любовь! Да? И смерти не побоялись. Только бы вместе, вдвоем. Теперь так не любят. Да, Таня?

— Теперь да, — согласилась было Таня и вдруг засмеялась: — Теперь любовь другая. Ромео только любил, и все. Нет, если любишь — сделай в жизни что-то большое. Вот тогда любовь.

Тут Маша забыла материн запрет — напоминать Тане про ферму и Ласточку.

— Тебе очень плохо в чайной? — спросила она.

— В чайной? Нет. Мне, Маша, без фермы плохо.

— Думаешь, я ничего не понимаю? — Маша еще теснее прижалась к сестре плечом. — А все-таки неправильно ты сделала.

Таня насторожилась. В Машином тоне прозвучал неожиданный вызов.

— Ушла и отрезала — после меня хоть пожар!

— После меня хоть потоп! — машинально поправила Таня, как привыкла поправлять сестру со школьных лет. — Это Людовик сказал, французский король.

— Видишь! Король! А ты повторяешь. Комсомолка!

— Да когда я это говорила? — возмутилась Таня. — Чего ты чепуху-то городишь?

— Начала, всех поманила и бросила!

Таня чуть отодвинулась от сестры:

— Бойка ты стала. Не узнать.

— Я по тебе равнялась. Я все тобой мерила. Думала, если надо, ты против течения поплывешь. А ты? Занесло тебя в чайную — работаешь. День да ночь — сутки прочь.

Никогда еще Маша, младшая, не говорила так с Таней.

— Ну и что? — Таня знала, что Маша права, и

все-таки пыталась защититься.— Разве работать в чайной позор?

— Ты меня не подлавливай.— Маша чуть не плакала.— Я сама или в магазин, или в чайную пойду, я такую дорогу выбрала. А ты со своей свернула, на чужую забрела... Вот!— Голос Маши сорвался, она уткнулась головой сестре в колени.— Жалко мне тебя! И зло берет!

— Молчи, Маша. Молчи.— Таня ерошила волосы сестренки, а звезды на небе расплывались мутными пятнами.

Нет, Таня не плакала. С чего бы ей плакать? Вот стукнул бы ее сейчас кто-нибудь по затылку. Да посильнее! И очень бы правильно сделал. А трудно все-таки быть старшей в семье. И хорошо. Не споткнешься — не позволят. Ах ты, Маша, Маша, сестренка. Уткнулась в колени и сопит. Сама обидела и сама защиты ищет.

— У меня из головы слова Швыдченки не выходят. Про масло. Видно, на заводе у него нечисто.

— Выходит, он совсем жулик?

— К Анне Максимовне пойти, так она, пожалуй, моим словам не поверит. Подумает: обиженная, вот и хочу наклепать в отместку.

— А ты все-таки пойди.

— Пойду...

Нет, не мутные пятна вместо звезд были на небе. Самые настоящие звезды горели ясными огоньками, перемигивались друг с другом и землей, словно хотели сказать: «Есть на свете правда, никуда ее не спрятать. Мы-то знаем, всего насмотрелись, а правда-то в огне не горит, в воде не тонет». И где-то там, в вышине, обжигая просторы неба, проносится под звездами спутник — дело рук советских людей. Захотели — и на небе новые порядки завели. Так неужели здесь, у себя на земле, не утвердить новый порядок?..

— Почему Швыдченко сказал, что я на ферме до сих пор булгачу? — сама у себя спросила Таня.— Я и не была там... после Ласточки.

— А я знаю! — с торжеством откликнулась Маша.— Ты девчат бросила, а они...

Таня почувствовала: Маша права, борьба на ферме продолжается. Выходит, никто, кроме нее, не сдался.

— Пойду я,— вскочила она.

— Куда? — удержала ее за руку Маша. — Ночью-то...

И, словно подтверждая ее слова, из репродуктора от правления донесли звуки гимна. Пришел новый день, 7 Ноября 1957 года.

## Глава XVIII

### ДРУЗЬЯ РЯДОМ

Кончив работу, Таня решила забежать домой переодеться и пойти вместе с Машей разыскать, где собрались девчата с фермы. Праздник она проведет вместе с ними.

Распахнув дверь, она остановилась на пороге. Все, кого Таня хотела видеть, были у нее дома. У стола с баном сидел Роман, рядом, конечно, Галя. Тут и Нина Корнакова, и Тая Винниченко, и Коля Винниченко, и Алеша Шумадо, и даже Валя Росликов.

Девчата подскочили к ней, закружили по комнате. Роман заиграл плясовую, и Таня, плавно разведя руки, вскинув голову и глядя вокруг себя счастливыми глазами, медленно и словно неуверенно пошла по кругу. А музыка все больше подстегивала, заставляла напрягаться каждый мускул, становилась все быстрее. И быстрее становились движения Тани.

Эх, и хороша ты, русская пляска, сколько в тебе воли и свободы, сколько обаяния! Вся душа человека раскрывается перед друзьями: смотрите, какая я ладная да веселая, сколько во мне радости и огня!

«Быстрее! Быстрее!» — звала музыка. Скользили ноги по полу, отбивали такт. Только платочка не хватало в руке. Догадалась Маша, протянула платок сестре. Нет, не тот, не с якорьком. И еще задорнее, еще роднее для всех стала пляска. «Меня, меня позови!» — неотступно и робко просили Алешины глаза, а Валя просто не выдержал, откинул назад волосы и пошел за Таней, за дразнящим этим платочком, за девичьим плечом, которое одним движением могло позвать за собой на край света или остановить так, словно каменная стена выросла за ним. Вот Валентин, рассыпав дробь каблуков,

ударился впрыска. Теперь ты, девушка, полюбуйся моей удалью.

Таня вырвалась из круга.

— Хитрые вы! — крикнула она. — Все нарядились, а человек с работы пришел...

— Мама, угостить-то найдется чем? — озабоченно спросила она, переодевая на кухне платье.

— Пирог есть, студень задался, — успокоила ее мать, — да и гости-то, смотри, понанесли всего, — показала мать на кухонный стол, заваленный свертками и узелками.

А за дверью звучала задумчивая и милая песня:

Что так сердце, что так сердце растревожено...

Жаль, нет Димы. Не увидит он ее друзей. Зря не остался. Сейчас он тоже на вечере. У этой самой Ванды. На секунду Тане стало беспокойно, даже дыхание занялось: представила Диму, окруженного девушками, танцующего с Вандой. Ну и что? Ведь любит-то Дима ее, Таню. Приезжал вчера к ней. Ей стало стыдно смутной своей тревогой. Она верит Диме, как себе.

Она распахнула дверь в комнату и запела вместе со всеми:

Посажу я на земле сады весенние,  
Зашумят они по всей стране,  
А когда придет пора цветения,  
Пусть они тебе расскажут обо мне.

Таня пела эти слова, думая о далеком Диме. Маша пела их, зная, что в кармане ее лежит шелковый платочек. Роман пел их для Гали. Галя — для Романа. Хорошо, что есть песни на свете, есть для кого их петь.

Составили столы, положили на две табуретки толстую доску, потому что стульев для всех не хватило. Рядом с Таней сели Коля Винниченко и Нина. Маша, удивляясь своей хитрости и прозорливости, села напротив: именно здесь окажется Алеша, а если сглупит, забьется в дальний угол, Маша попросту позовет его.

— В общем-то, Маша, ты хорошая девчонка, — шепнул ей Алеша.

И хотя Маша понимала, хорошей он назвал ее толь-

ко потому, что она старалась смягчить горечь, владевшую им, ей стало радостно, она благодарно и робко взглянула на Алешу.

В станице новости разносятся быстро, и девчата неведомо откуда уже знали о вчерашнем приезде Димы.

— Ну и боевая ты у нас,— с восхищением прошептала Нина,— за две недели какого парня приворожила, и, видать, крепко, раз сюда приезжал!

Она озорно поглядела вокруг, кивнула Роману, догадливо взявшемуся за баян, и запела высоким голосом. Роман прислушался к первой строчке и повел мотив, тихонько подыгрывая и рассыпая залиvistую трель в конце каждой частушки:

Над Кубанью — облака,  
А в Кубани — рыбка,  
Думалось: любовь мелка,  
Оказалось — глыбко!

Над Кубанью день пригож,  
Степь безветренная,  
Мой залеточка хорош,  
Шляпа фетровая.

Таня невольно вспыхнула, вот и знают все, что любила она. Ну и пусть знают!

Она посмотрела на Нину и перехватила мотив:

Над Кубанью по весне  
Небо с просинью,  
Хорошо с друзьями мне  
Даже осенью...

И снова пели и снова плясали...

— Ты думаешь, почему Росликов с нами? — спросил Коля Таню.

— Ну, пришел и пришел,— беззаботно откликнулась Таня.

— В комсомол мы его принимаем. Я ему говорю: «Не стыдно тебе, Валентин, молодой, а сам по себе болтаешься?» А он, понимаешь, замялся: «Хочу, говорит, в комсомол, а только вы, черти, как узнаете все, сами откреститесь, скажете: «Почему до сих пор молчал?»



Швыдченки боялся?» Я ему шуткой: «Где ты, говорю, видал, чтобы черти крестились?» — а он брови свел. Вижу, парню не до шуток. «Рассказывай, говорю, вместе мозги трудить будем, если беда какая». Он и выложил, что нечисто у Швыдченки со сдачей молока. Есть у Швыдченки на молочном заводе дружок-сапожок ему под пару. Я говорю Валентину: «Пойдем к Дороховой», а он боится: «Сживет меня Швыдченко со света». — «Не дадим, говорю, в обиду». А он: «Не дадите? А Татьяну отдали, «ох» не сказали». Он, конечно, не знал, что мы решили собрать против Швыдченки весь материал. Пускай его снимут, а нового заведующего попросим тебя обратно на ферму взять.

— Не возьмут меня на ферму, — хмуро сказала Таня. — Разве Ласточку простят?

— Туману ты много напустила, вот что, — неторопливо ответил Коля. — Роман сам со Швыдченкой говорил, а тот свое: «Поворота не будет. Элемент она». Ты то есть. Роман Галину за руку — и к Дороховой. А ты, между прочим, с Галиной неправильную линию повела. Я так думаю, в человеке силу надо выявлять, а не слабость.

— Вот, оказывается, ты какой, — задумчиво сказала Таня, оглядывая неторопливого комсомольского секретаря.

— Чего глаза таращишь? — рассердился Коля. — Знаю я, какую ты мне оценку дала: «недотепа» да «телок»...

— А вы с Росликовым ходили к Дороховой? — перебила она Колю и засмеялась. — И вовсе ты не телок, а самый настоящий комсомольский волк.

— Чего-то не слыхал про таких, — с сомнением pokrutil головой Коля, — и лезть мне в волки почему-то не хочется, да навряд такие и нужны. А Дорохова к родным на хутор уехала на праздник. Вернется — пойдем.

Таня коротко рассказала Коле обо всем, что услышала из пьяной болтовни Швыдченки в чайной.

— Вместе и пойдем, — решил Коля.

— А я за тобой посылать хотела, — сказала Анна Максимовна, увидав Таню. — Письмо я получила из районной больницы.

— От Веры Васильевны? Лучше ей?

— Лучше. И чуть полегчало — она за дела. На шести страницах письмо. Это надо же! Только жалеть я тебя не буду, опять выругаю. За что тебя Вера Васильевна хвалит, не пойму! И активистка-то, и честная, и деловая. Честная, а другим не веришь, Галю Карташову на обман толкнула. Свое сердце на замок заперла: пускай мне плохо — никому не скажу. Да ты чего сияешь-то! Ругаю я тебя. Ругаю, не хвалю. — Анна Максимовна махнула рукой. — Ну, выкладывайте, чего явились целой делегацией.

Выслушав о беспорядках на ферме, Анна Максимовна нахмурилась:

— Разберемся. И до меня слухок докатился, только думалось — слушкам веры не давай.

Прошла неделя. На партийном собрании бригады стоял отчет фермы. Швыдченко отчитывался не впервой. Знал, как товар лицом показать, а о чем и умолчать, но сегодня ему было тревожно. Умел Швыдченко держать нос по ветру, а признаков близкой и сильной грозы было достаточно: три дня на ферме провела Анна Максимовна и дружок с молочного завода прислал тревожный сигнал.

Когда посыпались вопросы, Швыдченко понял — его песенка спета. Был председателем. Стал заведующим фермой. Куда теперь податься? В бригаду? На поле? Нет, нет. Найдутся друзья, снабдят справкой, что тяжелая работа не для Швыдченки. Проживет и так, доходов хватит. То, что говорили, старался не слушать: и пьяница-то он, и бесхозяйственный, и колхозное добро к его рукам прилипает. И самодурство приписали, и невнимание к молодым кадрам, и очковитительство. Про бочонок масла и то все досконально развели.

И опять, как в тот раз, когда лишился председательства, казалось ему, что люди отходят все дальше, а вокруг бушует пустота. Словно попал он, голый, в луч прожектора, и никуда не спрятаться от яркого света.

Надеялся, может, Иван Гордеевич слово в его пользу замолвит: было время, сочувствовал он Швыдченке. Но Иван Гордеевич, не глядя на Швыдченку, говорил

резко, называя вещи своими именами, ругал себя, что вовремя не принял мер. Как ненавидел в эту минуту Швыдченко председателя! Ненавидел тем сильнее, чем бессильнее чувствовал себя перед ним. Найти бы возможность сказать: «И у тебя, Иван Гордеич, рыльце-то в пушку». Не скажешь: не дает оснований.

Секретарь партийной организации Васильев тоже резко говорил о Швыдченке, но Швыдченко напряженно ждал: не даст все-таки Васильев ему утонуть, бросит конец — он ведь тоже председателя недолюбливает.

И Швыдченко не ошибся, конец взвился в воздух, теперь только ловчее бы ухватиться за него.

— Снять — правильное решение, — сказал Васильев. — А только давайте о ферме подумаем, ну, кому мы ее сейчас, накануне зимы, передадим? Подумать надо, кому передать. Серьезно надо подумать. Сам ты, Иван Гордеич, так считал. И правильно считал, по-хозяйски ты считал, Иван Гордеич. Кто на себя возьмет ферму, где все в полном развале? А Швыдченко подтянется. Подтянется Швыдченко. Не захочет из партии вылететь. И для фермы польза: уж он-то ее теперь вытянет, будьте спокойны. Ограничимся выговором партийным, если, конечно, он обещает перестроиться. Я думаю, выговором ограничимся. Выговором. Так я думаю.

Швыдченко поднял голову. Конечно, обещает. Все, что угодно, обещает. Но не успел он и начать покаянной речи, как выступила Анна Максимовна.

— А ты знаешь, товарищ Васильев, — сказала она, — что тебя колхозники «бывшим» зовут?.. И тебя, Швыдченко. Люди вы, конечно, разные, ты и не пьешь, и бесчестья какого не допустишь, а кличка-то одна. Слово-то страшное. Нам сегодняшний человек нужен, а не «бывший», не тот, который вчерашним чином да вчерашним умом держится.

— Я прошу не оскорблять меня! — нервно выкрикнул Васильев. — Не оскорблять меня прошу!

— Да не оскорбляю я, а раздумья от тебя жду. В народе слово даром не молвится. А ты, Иван Гордеич, тоже задумайся. Окружили тебя «бывшие», а ты им потачку даешь. Нам теперь, после сентябрьского Плenums, только хозяйство и разворачивать. Далеко шагнули, а шагать-то еще дальше надо. А ты, Иван Горде-

ич, Швыдченку терпел. Почему? От недоверия к коммунистам. Кто разваленную ферму возьмет? Этого боялся? Партия нас сейчас на самые трудные участки посылает. Вот и надо сказать лучшему из коммунистов: «Иди!» Кому скажем, тот и пойдет, и на полную меру ответственности.

— Словом легко бросаться.— Васильева крепко задел разговор о «бывших», хотелось заставить отступить эту уверенную и твердую женщину.— Легко словами-то бросаться! А вот тебя послать, пойдешь? Сам-то пойдешь, если тебя послать?

Только секунду замедлила с ответом Анна Максимовна.

— Пойду! — твердо сказала она.

— И ответственность всю на себя возьмешь? Ответственность? На себя?

— Возьму!

О Швыдченке все словно забыли. Волновало выступавших другое: зима, что надвигалась со дня на день, корма, которых было так мало на ферме. Анне Максимовне давали советы, как будто рекомендация партийного собрания была уже принята правлением. Она слушала и знала: отступать нельзя, теперь вся ответственность за ферму на ней. Пусть не работала она еще в животноводстве, но она коммунист, а именно сюда, именно на фермы, позвал коммунистов Пленум ЦК.

На следующий день в чайную зашел Иван Гордеевич, сел за столик. Таня подошла, подала меню:

— Обедать будете, Иван Гордеич?

— На тебя посмотреть зашел.— Тон у председателя был явно иронический.— Нашла себе не пыльное местечко; конечно, здесь грязи нет, навозом не пахнет, в три часа не вставать.

— Иван Гордеич, разве я...— попробовала было оправдаться Таня.

— Ты. Именно ты. Не я же! — сурово прервал ее Иван Гордеевич.— Жидка ты оказалась на расправу, студентка! Не добилась своего. И вот что: нечего тебе здесь делать! На ферме твое место. Ясно?

— Иван Гордеич, да я...— обрадовалась Таня.

— «Я, я!» — передразнил Иван Гордеевич.— Нашел

зоотехник практику — гуляши разносить. Ты их выращивать научись, гуляши да шашлыки всякие.

Подоспел заведующий:

— Она у нас в кадрах числится.

— Милый ты человек! — Иван Гордеевич, вразумляя, даже за пуговицу его взял. — Зоотехник Татьяна. Ясно?

— А на общественное питание, выходит, наплевать? — взмахнул рукой заведующий. — Какой она еще зоотехник?! Через пять лет — то ли дождик, то ли снег. То ли станет...

— Станет, — уверенно перебил его Иван Гордеевич. — Характерец у нее подходящий. Нам такие вредные на ферме нужны. Ясно? А сюда мы тебе пять штук взамен найдем таких, что на другой линии стоят. Не на зоотехнической. Ясно?

До экзаменационной сессии оставалось пять дней. Договорились, что Таня поработает пока здесь, а на ферму пойдет, уже вернувшись из Ставрополя.

Ну, уж теперь она догонит Ньюру Галаган. Подумать только: придет на ферму, а там нет Швыдченки! И можно работать по-настоящему. Пусть впереди нелегкая зима. Пусты!

А пока надо бежать на кухню: гуляш — два, сырники — одни!

Как это легко, если знаешь, что скоро все это кончится!

## Глава XIX

### ПРАВДА ОДНА

Деревья почти облетели, только на тополях да на акациях еще держалась поредевшая листва, но и та уже поблекла, и не было в ней осенней золотой игры. Вот и осени конец подходит, а настроение у Тани самое весеннее.

Сколько чудесного таят дни сессии! Лекции будут читать два самых настоящих профессора. Занята будет по горло. А сколько надо Диме рассказать! И про вечер

седьмого, и про то, как ласково провожали ее в чайной. Вот так и жить, чтобы все хорошие люди, встреченные в жизни, становились друзьями.

По лестнице старалась идти чинно, а так и подмывало одним духом взлететь наверх. Вот хорошо, если откроет Дима!

И вдруг она услышала веселые голоса, смех. Смеялся Дима. Да, да, он! Сейчас она увидит Диму.

— Опаздываем, Димка! — донеслось до нее.

Голос девушки. Вероятно, Ванда. Но разве это важно. Дима!

Невольно ускоряя шаги, она поднималась наверх.

С Димой и его спутницей она столкнулась на лестничной площадке. На девушку почти не взглянула, только заметила легкий шарф на шее, пальто в крупную клетку и рыжеватые пышные волосы.

— Здравствуй,— сказала Таня радостно, глядя на Диму.

— Здравствуй,— ответил Дима и, повернувшись к спутнице, смущенно сказал: — Знакомьтесь... Ванда, это та девушка, заочница... Помнишь, я рассказывал тебе?

Сейчас он скажет: «Таня, это Ванда. Я тебе много писал и говорил о ней», но Дима молчал. На его напряженном лице появилось выражение не то тревоги, не то вины. Радости на нем не было.

Девушка безразлично и спокойно протянула руку. Теперь Таня с ужасом увидела, что девушка эта очень красива, легка, изящна, даже капризное выражение лица не портило ее.

— Дима, мы же опаздываем,— нетерпеливо повторила она.

— Да, да,— заторопился Дима.

Он упорно не смотрел на Таню.

Сейчас он должен сказать: «Таня, подымайся наверх, я только провожу Ванду и сейчас же вернусь». Или так: «Таня, дай твой чемоданчик, и пойдем вместе проводим Ванду». Он скажет так. Сейчас скажет!

Но шаги и голоса удалялись. Таня стояла одна на площадке.

Вдруг снизу донеслось:

— Таня!

Она бросилась к перилам. Дима стоял, запрокинув

голову кверху. Он смотрел на нее и все-таки мимо нее. Таня не могла поймать его взгляда.

— Ты поднимайся наверх,— сказал Дима.— Нина Васильевна дома...

Таня подошла к окну. Сквозь это самое окно на лестницу падали солнечные лучи после того счастливого дождя. Сейчас оно показалось Тане мутным и грязным. Дима и Ванда уже поворачивали за угол дома. Ванда уверенно взяла Диму под руку.

На все вопросы Нины Васильевны о станичных делах Таня отвечала неторопливо и подробно, тщательно подыскивая слова, которые не сразу приходили в голову. И все-таки Нину Васильевну нелегко было обмануть.

— Говори прямо, что случилось? — потребовала она.

— Устала с дороги,— отвела Таня глаза в сторону.

— Ложись,— захлопотала Нина Васильевна.

Таня прилегла на диван, не сняв темной юбки и ярко-синего свитера. Покупала его и думала о словах Димы: «Они у тебя совсем синие». Ехала и думала, как понравится обновка Диме.

Бежали часы. Заснула Нина Васильевна, а Таня все лежала прислушиваясь. Свет уличного фонаря падал в комнату сквозь неплотно задернутые шторы. Очертания всех вещей были видны, но стали зыбкими, неверными, в углах комнаты лежали странные, тревожные тени. Круглые старинные часы на стене пробили час, два, три... Таня ждала.

Как громко в ночной тишине, в напряженном ночном ожидании хлопнула осторожно открытая дверь.

Таня вскочила. Будь что будет: она выйдет в коридор. Она просто хочет понять, что случилось. В коридоре горел свет, но никого не было; светлое пальто Димы не висело на вешалке, только дверь в комнаты Кравцовых чуть дрожала, показывая, что здесь недавно прошел человек. Значит, прошел, не сняв пальто, лишь бы не встретиться с ней. Только под утро забылась тяжелым, тревожным сном.

Таня едва не опоздала на первую лекцию, села на свободное место. Справа от нее сидела Лена Лавриненко, та самая, что вместе с ней окончила школу и пошла

работать на свиноферму; слева пожилой человек в очках, с узеньким клинышком бородки; встретить его Таня в коридоре, сочла бы за преподавателя.

Таня невольно оглянулась вокруг — какие разные люди!

Вот совсем юношеское лицо, полное любопытства и радости; вот обветренное, с жесткими глубокими складками у губ; вот изящная дамская рука лежит на крышке стола, а взгляд у женщины властный и чуточку холодный и голос резковатый и громкий, — нет, не кокетничать она привыкла, а командовать. А вот пожилая женщина чем-то напоминает тетю Пашу, может быть, добродушной, ласковой усмешкой или округлостью движений, а на лацкане темного жакета Золотая Звезда.

— Сейчас профессор Сергейчук будет читать? — не то спросила у Тани, не то порадовалась Лена.

Сергейчук? Это о нем писал Дима...

— Кажется, его не любят студенты. Скучно и непонятно читает, так я слышала, — сказала Таня.

— Это Сергейчука-то не любят? Он скучно читает?! — возмутился Танин сосед, резко повернувшись к ней. — Кто вам такой чепухи нагородил?

Он еще что-то хотел сказать, но открылась дверь, и к кафедре прошел невысокий, плотный человек. Седые волосы его казались совсем серебряными и словно подчеркивали молодость и свежесть румяного лица с крупными чертами.

Седые, чуть сдвинутые брови делали лицо суровым, но выражение темно-серых, прищуренных глаз было очень доброжелательным. Впрочем, Таня скоро убедилась, что и глаза его могут становиться суровыми, непримиримыми или, наоборот, мечтательными и молодыми.

— Зовут меня Сергейчук Андрей Андреевич, — сказал профессор, шагнув вперед, словно идя навстречу аудитории. — Я не мог отказать себе в желании поговорить с вами о вашей будущей профессии.

В руках зоотехника и агронома ключи от кладовых изобилия.

Нет! Они не только хранители, не только накопители. Они творцы, созидатели.

Мы за изобилие боремся.



У природы возможности неограниченные. «Кормилица», «мать» — вот как испокон веков люди землю зовут. А за нами право вмешательства в жизнь растения и животного, право утверждения новых истин.

Слова Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша задача», все знают. А вот как взять? Не как враг, завоеватель, насильник. У Мичурина есть чудесные слова: «В содружестве с природой человек должен научиться управлять ею, заставлять ее полнее служить на пользу людям». В содружестве! — почти крикнул профессор. — Слово-то какое!

Ваша задача — уметь видеть, искать, считать, добиваться.

Надо в труд человеческий всматриваться попристальной, уметь его организовать. Видеть, сколько труда идет на единицу продукции, как затрачивать его меньше, делать эту единицу дешевле. Чтобы центнер кукурузы стоил не двадцать, а четыре рубля, литр молока — не рубль, а сорок копеек.

А теперь поговорим, из каких конкретных задач складывается деятельность зоотехника...

Таня не заметила, как пролетели два часа. Звонок оборвал беседу. Когда Сергейчук, окруженный студентами, вышел из аудитории, Танин сосед повернулся к ней.

— Ну? — спросил он.

Только сейчас она вспомнила, что перед лекцией плохо отозвалась о профессоре. Но как мог сделать это Дима, прослушавший десятки его лекций?!

Дима? Неужели она так мало знает его? Ей опять стало не по себе, но разве отдашься своим мыслям, когда вокруг столько людей, когда только что прослушана лекция, которая разбудила столько споров.

Смуглый молодой кроликовод, горячась и даже чуть заикаясь, спорил с медлительным и спокойным гуртоправом:

— Недооценивают кролиководство! Тебе бычка вырастить три года нужно, а я кроля в три килограмма за пять месяцев дам.

— «Кроля»! — уничтожающе фыркнул гуртоправ. — Зато в бычке-то полтонны!

— «Полтонны»! Невидаль! А мне полтонны мяса

полтора ста кролей дадут. А кролей-то по-настоящему тысячами да десятками тысяч в каждом колхозе считать надо. Прикинь — тут сотнями тонн мяса пахнет.

И снова звонок.

Напряженно и тревожно шли Танины дни. С утра восемь часов лекций, обед наскоро в институтской столовой. Обедали обычно вместе с Леной Лавриненко. Потом опять до вечера сидели в библиотеке за учебниками. Три зачета и два экзамена — нагрузка немалая. На людях, за делом она еще как-то справлялась со своей тревогой и тоской.

— Чего ты не в общежитии остановилась? — удивлялась Лена. — Еще на дорогу время тратить. Вовсе не умно.

Не могла же Таня сказать ей, что идет к Нине Васильевне, надеясь встретить Диму. Он избегал ее, избегал упорно. Он просто не хотел ее видеть. Почему это случилось? Таня не понимала.

И все-таки разговор состоялся. Они столкнулись опять на лестнице. Глядя прямо в глаза Диме, Таня сказала:

— Дима, нам надо поговорить.

— Когда у тебя экзамен?

— Завтра.

— Последний?

— Нет. Еще один. Почему ты спрашиваешь?

— Так... Тебе, наверное, некогда сейчас?

— Мне так тяжелее... Что угодно, только правду!

— Стендаль...

— Что — Стендаль?

— Это у Стендаля есть: «Пусть горькую, только правду».

— Дима!

— Хорошо. Приходи завтра вечером на горку. Ладно?

— Приду.

Все объяснится. Нет, не только объяснится. Все рассеется. Не может не рассеяться. Просто недоразумение какое-то. Подумать только! Дима еще не знает, что все в ее жизни стало на свои места. Да, еще им надо поспорить насчет Сергейчука!

Отвечать пошла одной из первых. Первая пятерка в зачетной книжке. Уже усвоив студенческую этику,

маялась у дверей, пока из аудитории не выскочила Лена, радостно помахивая зачеткой.

Вечером Таня поднялась на горку. Дима стоял у каменных перил. Вечер был удивительно мягкий для первых чисел декабря, и это казалось хорошим знаком.

— Ну, как сдала? — спросил Дима.

— Дима, что с тобой? — спросила Таня, не отвечая на вопрос.

Она ждала чуда. Но Дима молчал. И, чем дольше он молчал, тем яснее становилось Тани: случилось что-то непоправимое.

— Видишь ли... Я должен сказать тебе... — Он умолк, крепко сцепив пальцы.

На сердце Тани стало спокойно и пусто. Она сможет выслушать все. Все, что угодно.

— Говори, — сказала она отрывисто и твердо.

Дима не поднял глаз, тень от шляпы падала ему на лицо, словно разрезая его пополам, и Таня видела только его подбородок и губы. Она смотрела и ждала, какое слово сейчас сорвется с этих губ. Все равно какое. Любое, что сорвется, убьет любовь, убьет радость. Она это знала.

С трудом разжав губы, Дима сказал:

— Я женюсь, Таня. Я должен жениться. Считаю меня кем хочешь. Теперь все равно! — Голос его сорвался, он заговорил торопливо, словно ища оправданий, надеясь, что Таня их примет. — Я звал тебя. И все было бы хорошо. Этот вечер... Ты не хотела поехать. Я выпил. Стало обидно, что нет тебя! Ну, а потом не помню ничего... Таня, ведь я же честный человек. И Ванда сказала, если я не женюсь, она пойдет в комитет комсомола. Тогда все полетит! И жизнь и научная работа!

Слова падали торопливые, беспомощные, непонятные. Смысл их терялся для Тани. Дима был за какой-то мглой, тяжелой и плотной, и Таня не могла пробиться к нему.

— Как честный человек, я обязан... — снова твердил Дима.

— Честный? — повторила Таня, словно прислушиваясь к звучанию слова. — Честный? Зачем же ты... Как ты мог... Я же верила тебе, Дима!

Губы у Димы странно скривились:

— Не хочешь ли ты сказать, что ты в двадцать лет

ни с кем не целовалась до меня? Я думаю, у вас в деревне это проще.

Таня даже на шаг отступила. Значит, он никогда не верил ей, не понимал ее? Она круто повернулась и пошла прочь.

— Таня, не обижайся. Ты нравилась мне... Думаешь, я рад, что так вышло? И потом, я же тебе ничего не обещал... Ничего...

Он шел рядом, пытаясь заглянуть ей в лицо.

— Уйди,— сказала Таня.— Слышишь, уйди.

Не оглядываясь, она спустилась с горки и на бульваре села на скамейку. Поднялся ветер, раскачал деревья, и черные тени от веток странно и тревожно переплетались на асфальте.

Вот и все, Таня. Ты хотела узнать и узнала. Как он сказал? «У вас в деревне...» Он думает, есть две правды. Пожалуй, верно. Только не так, как он думает,— не городская и деревенская, а его и твоя правда.

Ну, деревенская, крепись! Тебе вспомнилась сейчас Лиза у Зимней канавки. Вот и бьются сейчас в твое сердце эти слова, словно птицы с подбитыми крыльями, стремясь подняться и падая.

Все, что я в жизни любила,  
Счастье, надежды разбила...

Таня, подумай, неужели вся жизнь в Диме? Он человек другой, не твоей правды, не правды своего отца и Веры Васильевны. Лиза бросилась в Зимнюю канавку. Нет, никуда ты не бросишься. Никуда! Будешь жить, работать!..

Слезы все катились по щекам. Почему это должно было случиться именно с ней. Она любила всем сердцем, просто и радостно. Мама, родная моя! Быть бы сейчас около тебя. Не поглянулся он тебе. Сразу разгадала ты его, приветливого, уважительного. А мне вот, глупой, поглянулся. Чем? Ведь сама не знала. И не успела узнать... Просто увидела — поверила. Придумала... А как вот теперь жить?

Таня сидела, отдавшись тревожным и горьким мыслям. Вдруг неожиданно около нее раздался удивленный возглас:

— Татьяна, ты чего здесь делаешь?

Таня подняла голову. Возле нее стоял Роман, недоуменно глядя на нее. Таня даже не удивилась, как оказался он здесь, не до того ей было. В Романи сосредоточилась для нее сейчас родная станица, друзья, их общая правда. Скорей бы домой!

Ничего не смог понять Роман, хотел проводить ее к Нине Васильевне, но Таня отказалась:

— В общежитии переночую.

— А человек беспокоиться станет.

— Позвоню ей из общежития.

Роман не отступился от нее, пока не сдал с рук на руки встревоженной Лене Лавриненко.

— Роман, уехать бы завтра с тобой...— просила Таня.

— С ума сошла,— ахнула Лена.— Через три дня последний экзамен.

— Не буду я экзамена сдавать...

— Интересно получается,— возмутилась Лена.— Ты что, развлекаться приехала? Не беспокойся, Роман. Никуда я ее от себя не отпущу, и экзамен она сдаст.

— А я, Татьяна, может, и не управлюсь с делами раньше, чем через три дня,— сказал Роман.— И завтра зайду. Экзамен сдавай. И команду мою слушай. Пока вы здесь учились, у нас в колхозе общее комсомольское собрание прошло, секретарем меня выбрали. Так что я теперь за твои экзамены тоже отвечаю.

Роман говорил будто сурово, а через голову Тани глазами просил Лену: «Помоги ей, легче тебе в ваших, девчачьих, делах разобратся».

Он ушел. Уронив голову на руки, Таня сидела за столом.

— Заниматься будем,— сказала Лена.

— Не хочу...

— Не хочешь? Значит, у тебя две правды: одна на словах, другая на деле.

Таня медленно подняла голову:

— Две? Нет, у меня одна правда. Слышишь, одна!

Экзамен Таня сдала. На тройку, но сдала.

Выезжали из города не рано. Роман все ждал, не рассеется ли туман. А он, плотный, молочный, стано-

вился все тяжелее. Видно, не туман это был, а низкие, тяжелые облака проползли над степью, встретились с пологой грудью горы и растеклись по ней, взяв в плен плоскую ее вершину, затопив улицы города.

Фары встречных машин не пробивали его пелену, расплывчатыми пятнами они возникали почти у самого носа машины.

Таня сидела в кабине. Вот у обочины дороги проступили неясные тени: машина прошла мимо леса. Сейчас начнется спуск с крутыми поворотами, он вынесет на равнину.

Туман оборвался внезапно и сразу. Нестерпимой силы свет сиял на дороге, стальным, сверкающим росчерком брошенный через побуревшие холмы и увалы. Дорога делала виражи, свободно сбегала с горы и, полная холодного, яростного блеска, снова возносилась вверх.

Небо кипело облаками. За ними скрывалось солнце. Но где же его теплота, где горячие, золотые краски? Обернулись они буйством света, стальным половодьем его. На мрачно ликующем фоне горел стог соломы, на который упал тонкий и яркий свет солнечного луча, пробившийся сквозь толщу суровых облаков.

Дорога рвалась вперед, а там, за темной громадой кипящих туч,— солнце.

— Видишь? — тихо спросил Роман.

— Вижу,— ответила Таня.

Дорога спускалась вниз, а тучи поднимались вверх, над горизонтом уже виднелись солнечные лучи, расчертившие тучи на сектора, то совсем черные, то сизые, то золотистые.

В просветах клубящихся туч возникло несколько озер первозданной, чистой голубизны.

Дорога еще раз рванулась вниз; за склоном показались темные вершины пяти тополей.

Тополя становились все выше, вытянулись шеренгой, словно торопясь перейти через дорогу, не попасть под колеса.

И вот последний подъем...

Тучи ушли назад. Распахнулись голубые просторы неба.

Обрывки туч упали на землю. Неуверенные, жалкие, они ползли по ней, заполняя овражки легким курящимся

туманом, растерянно скатывались в балочки, вытягивались тонкой струйкой. И таяли, таяли...

Так вот какая наша ставропольская степь! Вот какой ликующий праздник света можно увидеть в ней. И оказывается, из тумана, сквозь кипенье мрачных туч, можно все-таки пробиться к солнцу!





## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### Глава I

#### ОДИН ДЕНЬ

Злобно выл ветер. В космах снежной пыли носился по степи, вздымая на воздух снежные сугробы, свистел в обмерзших проводах, заметал дорогу, раскачивал голые, жалобно скрипевшие деревья, затихал, чтобы, скопив силы, мчаться дальше с угрожающим воем. Казалось, во всем мире нет ничего, кроме этого ветра, разгулявшегося по свету, кроме холода и снега.

С вечера под вой вьюги засыпали рано. Раскалившаяся докрасна чугунная печурка бросала отсветы на



стены, искрились и розовели морозные узоры на окнах, красноватое пламя играло на потолке. Таня лежала, следя, как бледнеет огонь, прислушиваясь к вою вьюги, то жалобному, то угрожающему. Потом засыпала и она. Спала без всяких снов. И хорошо, что без них. Первые дни после возвращения в станицу все снился Дима. Просыпаясь, снова и снова проходила один и тот же нелегкий путь от несбывшейся мечты к горькой правде.

К утру комната, где ночевали доярки, выстывала: рамы одинарные, иней нарастал на окнах и на подоконниках, сырыми и промерзшими казались углы.

Сегодняшнее утро было обычным.

Оделись наскоро. Таня толкнула дверь, но выйти на улицу не удалось: видно, за ночь намело около двери снежный сугроб. Девчата дружно нажали плечом, одной другой рывок — дверь подалась, и вот все девушки в снежной, обжигающей кутерьме. Надо пройти какие-то двести метров до коровника. Он тут, справа. Но не близким кажется этот путь. Свет из окон не пробивается сквозь вихрящуюся пелену. Идут, проваливаясь по колено, оступаясь, скользя на неожиданных обледеневших прогалинах между сугробами.

Дверь в коровник пришлось откапывать. Ну и ветер! А в коровнике тепло, даже жарко. Еще легкий озноб передергивает плечи, еще деревянными кажутся пальцы рук и ног, еще горит обожженное морозом лицо, мокрое от растаявшего снега, а дела уже зовут. Надо получить корма (сейчас их отпускают точно по весу), раздать коровам, подготовить их к дойке. Вместо Ласточки в стойле рядом с Ланкой стоит Бровка. Сегодня Таня переведет ее в родилку.

Тане казалось, что никто не заменит в ее сердце Ласточки, но странные вещи случаются на свете. Когда Таня вернулась с сессии, Анна Максимовна подвела ее к стойлу.

— А ну, как тебе поглянется эта корова? — спросила она.

Таня не сразу поняла, в чем дело: корова как корова. Красной степной породы.

— А ты приглядишься, — настаивала Анна Максимовна.

Таня посмотрела внимательней, и вдруг сердце у нее

забилось. Та же шелковистая коричневая шерсть, та же белая подпалинка у левой ноги. Та же красивая и выразительная голова, правый рог короче и чуть в сторону. Неужели? Она неуверенно и радостно взглянула на Дорохову.

— Ну конечно,— засмеялась та.— Ее... Ласточкина.

Стоит доярка возле молодой коровы, поглаживает ее. Ну и что тут особенного? А между тем каждое ласковое прикосновение Таниной руки было разговором с Бровкой, обещанием заботы, просьбой о дружбе. Вспомнилось, как раздаивалась Ласточка, а ведь попала в ее руки на пятом отеле. Уж Бровку-то, первотелку, Таня раздоит. Кормов бы только побольше!

— Разве это корм!..— вздохнула Нина.

— Ой, девчата,— озорно блеснула глазами Галя,— слыхала я, вывели ученые гибрид коровы с медведем: летом пасется, зимой лапу сосет, а молоко круглый год.

— Новая заведующая все труситя — не хватит кормов, а на второй ферме вволю коров годуют,— возмущалась Нюра.— Там и заведения этого нет — в обрез кормов давать.

— Мало же кормов, сама знаешь.

— Про то пускай правление думает, а нам наше подай.

— А правление откуда возьмет?

— А нам-то что? Небось кончатся корма, забегают — не погубят коров. На второй ферме в точку рассчитали.

Эти разговоры возникали все чаще.

Работала Дорохова не жалея сил, мерзла и отогревалась вместе с девчатами, ела ту же пшенку, что и все, пела те же песни, но отношения не складывались. Пожалуй, виной всему была та простая и открытая радость, с которой все на ферме встретили уход Швыдченки и ее назначение. Верили, что с приходом Дороховой все должно сразу измениться к лучшему. А вот этого-то и не случилось да и не могло случиться: слишком напряженным было положение дел на ферме. Наоборот, стало хуже: кормов коровы получали меньше, а требований прибавилось.

— Чего ж удой-то падает, Нюра? — упрекала Дорохова.

— С таких кормов спасибо если совсем молоко не пропадет,— отвечала Нюра, а глаза ее договаривали: «С твоим приходом на ферме только работы всем прибавилось, а лучшие не стало».

Трудности остались прежними, но теперь виновником их невольно считали Анну Максимовну.

Кто она? Разве специалист? Работала на кукурузе. Звеньевой. Разве ей с фермой управиться? И она действительно столкнулась с трудностями, которых не ожидала, а самое главное — нет-нет и попадала впросак, ошибалась в самых простых вещах, давным-давно известных каждой доярке,—слишком много коровьих биографий и особенностей свалилось сразу на нее. Ну, где вспомнишь, например, что у Гали Красная идет в запуск — кончает доиться перед отелом, и ей можно снизить дачу силоса, тем более что сама Галя молчит об этом, надеясь силос, предназначенный Красной, скормить остальным коровам своей группы.

Таня закончила дойку.

— Марганцовку дайте и креолин,— попросила она у Дороховой.

Перед этим Таня тщательно и заботливо вымыла Бровку. Девчата смеялись даже, что в коровнике светлее стало: так сияет и блестит у нее шерсть. Теперь только продезинфицировать хорошенько, и можно сдать с рук на руки Тае Винниченко — в родилку. Стоило Таня уже осмотрела, убедилась, что здесь чисто, тепло, нет сквозняков. Тая, конечно, отвечает и за родилку, и за состояние Бровки, и за теленка, но все-таки Таня волновалась.

Анна Максимовна достала креолин. Все беспокойнее перебирала она флаконы и коробки в аптечке.

— Таня, а марганцовки-то нет,— наконец призналась она.— Да ты не журишь, ветврач не сегодня-завтра будет.

— Мне сегодня надо. Бровку в родилку перевожу.

— Может, сегодня и приедет.

— А если нет?

— До завтра подождешь.

Таня бросилась к Ивану Кирилловичу — может, у

него припасена марганцовка. Он только руками развел — вчера последнюю отдал. Не беда: вымыть хорошенько теплой водой с мылом, сойдет! И Таня было согласилась с ним, но, как вошла в коровник да увидела Бровку, снова встревожилась.

Опять вспомнилась Ласточка... Кто знает, сделай тогда Галя одно лишнее движение рукой, и живой бы осталась Ласточка. Ни в чем и никогда после ее гибели не допустит Таня отступлений.

— В станицу схожу,— сказала она Дороховой.

— Выдумала! — забеспокоилась та.— Вьюга этакая, а ты пойдешь.

— Вроде поутихло,— неуверенно сказала Таня, глядя в белесое окно.

Вышли во двор. Мело и правда заметно тише, хотя ветер по-прежнему обжигал.

— Заблудишься еще,— заволновалась Дорохова.

— Что, я дороги не знаю? — засмеялась Таня.— На бугре снегу не будет — всегда ветром сметает, а через балочку долго ли перемахнуть. Ну, а тут и до грейдера рукой подать.

— Никуда не смей ходить! — уже твердо сказала Дорохова.

— А я, может, дома хочу побывать. Дойку я кончила, в кормушках убрала. Мое время. До трех часов я свободна...

Жизнь поворачивается по-всякому. Можно подумать, что Таня пойдет по степи, разыграется буран, ветер станет валить ее с ног. В белом степном облаке, в снежном пламени, спотыкаясь и падая, надеясь и отчаиваясь, Таня будет брести все дальше и дальше, наконец, обессиленная упадет в сугроб. С насмешливым хохотом, пригоршнями набрасывая на нее снег, промчится мимо ветер в поисках следующей жертвы. А там, на ферме, обеспокоенные ее долгим отсутствием, соберутся товарищи.

«На поиски!» — даст команду комсорг фермы Коля Винниченко.

Долгие, утомительные часы поисков. И вот Алеша, именно Алеша, наткнется на странный сугроб. У запасливого Ивана Кирилловича найдется спирт. Товарищи

напрасно стараются привести ее в чувство. Только Алеша верит — жива Таня. И вот наконец она медленно поднимает ресницы...

Но в жизни все проще и обыденней. Тане нужно принести из станицы марганцовку и не опоздать ко второй дойке. Поругивая лентяя ветврача, проклиная мороз и ветер, Таня идет за три километра в станицу. Ей надо идти и идти вперед с перехваченным от ветра дыханием. Идти, налегая на ветер плечом, грудью. На минуту давая себе короткий роздых, поворачиваться к ветру спиной и снова идти. Идти и радоваться, что ветер дует в одном направлении — по крайней мере не заблудишься. И хорошо, что он сейчас встречный; на обратном пути, если не переменится, будет попутный.

Вернувшись с марганцовкой и еще до конца не согревшись, Таня должна продезинфицировать Бровку и перевести ее в другое помещение, а потом, даже не сказав никому, как устала, как трудно и тяжело, тревожно и жутко было в пути, спокойно приняться за свои обыденные дела.

И Таня опять раздавала корм, доила коров; она даже гордости особой не испытывала; похвалил ее кто-нибудь, она бы, наверное, передернула, как Сашка, плечом и буркнула сердито: «Еще чего!»

Подошла Анна Максимовна. Она знала, что нелегко дались Тане шесть километров зимней дороги.

— Давай помогу тебе доить.

— Сама управлюсь,— отказалась Таня; оно бы и хорошо, да неумелыми могут оказаться чужие руки, глядишь — завтра стакана молока не досчитаешься у какой-нибудь из коров.

Зато почистить кормушки Дорохова ей помогла. Убрали остатки соломы, протерли цемент влажной тряпкой. Теперь бы и спать, но в девять часов еще раз давать корма. Раньше девочкам и в голову не приходило являться к вечерней раздаче; проводили ее скотник и дежурная доярка, а сейчас, когда кормов мало, нужен свой глаз. Ведь и своим-то коровам делить не поровну. Только около десяти добралась Таня до постели. Ветер бушевал еще сильнее, налетал порывами.

Спать... Спать... И пусть бушует вьюга, пусть воем ветер. Спать!

## Глава II

### У ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Вера Васильевна знала о том крушении, что пережила Таня. Горько и обидно было ей за девушку.

Сестра написала ей о свадьбе Димы Кравцова, справленной широко по настоянию его матери и родителей Ванды. Дима ушел жить к Сторожевым. Он не казался счастливым. Между отцом и сыном все углублялся разлад. Павлу Григорьевичу не нравилась Ванда, скоропалительность женитьбы.

«Культурный юноша»,— сказала Вере Васильевне когда-то сестра о Диме. Как странно... «Культурный»? Что вкладываем мы в это слово? Не слишком ли легко мы называем «культурным» человека? И, чаще всего, по каким-то внешним признакам.

Вера Васильевна невольно думала о всех богатствах жизни, о той радости и красоте, которые дарят человеку литература, живопись, музыка, о мужестве и силе, которыми вооружают его наука и техника. А разве всем ее ученикам дана эта радость? Да, как мало еще сделано школой. И как много надо сделать, чтобы шире и полнее раскрылась жизнь, богаче стала молодежь. Может ли Вера Васильевна спокойно наслаждаться музыкой, с волнением листать альбом репродукций и эстампов, читать сонеты Шекспира, поэмы Твардовского, волнуясь, искать в веках и странах прекрасное и сокровенное, нужное ей сегодня, если она не научила этому Алешу Шумадо, и у него в комнате висит букет нелепо размалеванных маков, и с наслаждением читает Алеша «Куклу госпожи Барк».

Она должна рассказать о потрясающей скульптуре Фивейского «Сильнее смерти» Лене Лавриненко. Сколько волнений вызывают три трагические фигуры людей, теряющих последние силы, ожидающих пули врага и бесконечно сильных. Может быть, тогда ее ученица Лена не принесет с воскресного базара ковер, где два огромных лебедя с крутыми шеями плывут по ярко-синей воде мимо зеленых лепешек-деревьев и желтого замка с готическими окнами и красными шпилями крыш.

Для Лены и Алеши, для Коли и Нины работают

писатели и художники, а она, учительница, должна помочь молодежи познать ту радость и те богатства, которые готовы дать им искусство и наука...

Размышления ее прервала Наталья Ивановна. Частенько родители учеников приходили к учительнице, когда что-нибудь не ладилось с их детьми.

— За Таню обидно! Ой, обидно! За что ей такое? Разве она не стоит счастья? — сетовала мать. — Поговорили бы вы с ней. Я уж всю правду открою. Иван Кириллович вроде сватал за Алешу. Ну, не по всей форме, а так, беседа была, по-соседски. «Душой, говорит, буду рад». Чего бы лучше: оба при деле. Да и парень-то какой милый. Дружить с ним Таня дружит, а вот поди ж ты...

— Рано свадьбу задумали, Наталья Ивановна, — перебила ее Вера Васильевна.

— Да разве я говорю: сейчас. Хоть бы к этому шло. Все впереди огонечек светился бы. Татьяна-то гордая, виду не кажет, а я чувствую, каково ей. Присоветуйте ей насчет Алексея.

— Нельзя здесь советовать. А что там дело расстроилось, это к лучшему.

— И я так думаю, — закивала головой Наталья Ивановна. — Лучше заходя в стороны, чем всю жизнь маяться.

И мать и Вера Васильевна пробовали говорить с Таней.

Она выслушала мать спокойно, даже сосредоточенно, а потом негромко сказала:

— Не надо, мама. Хороший Алеша, очень хороший, а только не люблю я его.

Мать всплеснула руками:

— Так неужто ты об том, об коршуне, думаешь?

— Этого не бойся, — сурово ответила Таня.

А с Верой Васильевной говорили просто о любви. В комнате был полумрак, и, может быть, это помогло Тане говорить откровенно.

— Я ведь счастливая была. И будто не я — другая. Лучше, умнее, красивее. И вдруг все вдребезги! Мама советует: за Алешу идти... И девчата твердят: приглянись к парню — замечательный. Так разве за это любят, за глаза черные, за чуб, за то, что дворы рядом, что тракторист хороший? Не могу я так, Вера Василь-

евна. Тот, ну Дима...—она запнулась и с трудом произнесла это имя,—казался мне таким... ну, талантливым, что ли. Думалось, он огромное может сделать. Что? Не знала. Но может. И казалось мне—рядом с ним расти надо, чтобы не отстать, чтобы вровень быть. И сразу сил прибавилось и какая-то дерзость... Алеша другой, домашний. Он мне вроде братишки. Вот спросите его: «Хочешь на Тане жениться? Женись, только знай, что она всегда такая и будет, как сегодня, ничего в ней не прибавится?» Ведь он, Вера Васильевна, согласится...

Вера Васильевна встала, подошла к окну, словно там, за морозным стеклом, ждал ответ на волновавшие ее мысли.

«Прибавить что-то в человеке — вот оно, главное»,—тревожно и радостно подумалось ей. Она зажгла свет.

В эту минуту раздался стук в дверь, и в комнату вошли Алеша и Лена Лавриненко.

— Вера Васильевна,—Лена была очень взволнована,—а Настя Герасименко и не учится вовсе! Провалилась и возвращаться не захотела. Ивану Гордеичу пишет: «Не присылайте денег, стипендии хватает». Нам пишет: «Ах, университет, ах, лекции...» — а сама устроилась на овощную базу, морковку моет в каком-то подвале.

— Выходит, ничему ее не научили,—с горечью сказала Вера Васильевна.—Вернуться в колхоз не захотела.

Она задумалась. Что это? Презрение к колхозной работе? Вряд ли... Трудиться Настя умела. А может, другое, чисто юношеское: обязательно выйти победителем. Пусть отец мной гордится. Глупая девочка! Не знает, что победа над собой — самая трудная победа!

Сообщение о Насте огорчило Таню. Плохо подруге. Так плохо, что выдумала себе другую жизнь, а Таня и не поняла! за гордыми, заносчивыми словами, хвастливыми описаниями не разглядела боли и стыда.

— А в общем-то,—рассердился вдруг молчавший до того Алеша,—дура она! Вернуться постыдилась. Подумаешь...

— Иван Гордеич письмо ей написал: возвращайся, и все,—торопилась поделиться новостями Лена.

— Ей в станице жить скучно,—иронически предположил Алеша.



Он удивился, когда Вера Васильевна очень серьезно сказала:

— А может, и скучно. Не будем сейчас разбирать, кто виноват, а только живете вы наполовину...

Молодежь настороженно смотрела на нее.

— Нет, нет, вы не обижайтесь,— продолжала Вера Васильевна.— Знаю, что молодцы, хорошо работаете. А только человек может по-разному жизнь прожить. Можно жить только работой, а можно — шире, радостней. Заниматься еще и наукой, искусством.

— А я, в общем-то, сам уже решил учиться,— покраснел Алеша.— То есть не совсем сам. Мне Андрей Рудаков насчет этого такое письмо написал, что меня в жар бросило.

— Какой Андрей? — не поняла Таня.

Недели две тому назад Иван Гордеевич дал Алеше газету со статьей «Механизатор Андрей Рудаков». Оказывается, Андрей в прошлом году один обработал сто гектаров кукурузы. Выходит, и один в поле воин. А раньше на этих ста гектарах полсотни колхозниц работало с тяпками.

— В общем-то, это дикость — тяпки в наш век атома, в век спутников.— Алеша даже смутился от огорчения.— Написал я Андрею, пускай по-честному скажет, правда это или показуху какую-то устроили. Ну, он и ответил. Я думал, он такой, уже опытный, а он два года как школу кончил. Учится на факультете механизации. В общем-то, жаль, целый год я прохлопал — не учился.

— Вера Васильевна,— Таня даже вскочила,— а давайте соберем всех наших выпускников и поговорим, что нельзя на месте стоять...

— Почему только выпускников? — усмехнулась Вера Васильевна.— Давайте всю колхозную молодежь!

— Ну-у,— недоверчиво протянул Алеша,— трудно на такое замахнуться. Всех и не соберешь.

— Собраться, а клуба-то нет,— гневно вспыхнула Таня.— Уже лет пять коробка для клуба как стояла, так и стоит. Летом трава растет, зимой снегом завалена. Красота!

Возвращаясь домой, Таня не думала о Диме. Дел вокруг — непочатый край. Клуб... В станице должен быть клуб! Они организуют университет культуры, поста-

вят хорошую пьесу о том, как живет молодежь. А сегодня надо написать Насте.

Слова письма складывались на ходу: «Настя! Да как ты могла! Возвращайся немедленно. Ты об отце подумай. Его вся станица уважает. В семье беда — к Ивану Гордеевичу идут. Как ему сейчас на людей смотреть? Дочка председателя из колхоза сбежала. Ну как он следующий выпуск школы в колхоз позовет? А учиться мы будем. И жизнь сделаем красивую, интересную...»

Таня сейчас же напишет письмо. Но исполнить свое намерение Тане не удалось. Ускоряя шаги, она торопливо прошла по двору. В темных сенцах ошупью открыла дверь. Непривычно много народа в комнате. За столом незнакомый, седоватый человек с длинными прямыми волосами и короткой реденькой бородкой. Мать немного растерянная, с красными глазами — видно, всплакнула. Только с чего: с горя или с радости — не понять. Озабочен чем-то Василий. Саша странно съезжился в углу, сидел мрачный, угрюмый. А на полу, у самого порога, узлы, чемоданы.

Таня шагнула в комнату. К ней метнулась женщина, обняла ее, прижалась мокрой от слез щекой и запричитала:

— Танечка, родная, красавица ты наша! Привел бог свидеться...

Варя. Вот оно что! И этот человек у стола — ее муж, Кузьма Ефимович Погребняков. И по числу узлов и чемоданов можно понять, что Погребняковы не иначе как жить приехали в Надзорную. Не зная, огорчаться или радоваться, сразу как-то ощутив всем существом прошлое, которое прочно связывало с Варей, Таня обняла бывшую невестку.

Когда первые волнения чуть улеглись, Таня оглядела Варвару. Постарела заметно, стала суетливее. Появилась странная манера — заглядывать в глаза мужу, не то боится его, не то заискивает.

Отвечая Варе, оценивая по каким-то еще почти неуловимым жестам Погребнякова, любуясь спящим Мишуткой, Таня думала о Сашке: вот кому тяжело, вот в чью жизнь опять вторглось неожиданное. Нет, Таня не даст его в обиду.

### Глава III

#### ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

После избрания Романа колхозным комсомольским вожаком Иван Гордеевич почувствовал рядом крепкое плечо, но и беспокойства стало больше.

— Получил я в твоём лице холеру. Ясно? — посмеиваясь, говорил он Роману.

— А что, Алексей, организуем колхозную радиогазету? Раз бы в неделю номер давать, — предложил Роман.

— Да я, в общем-то, по части стихов, — смутился Алеша.

— Что ж, — спокойно говорил Роман, — и стихи можно. А только не одними стихами жив человек. Составь план первого номера, а я в партбюро договорюсь. Да, вот что... Письмо бы Андрея Рудакова передать. Вроде обращения. Пускай все наши механизаторы подумают.

— Хорошее дело, — от души обрадовался Иван Гордеевич, когда Роман и Алеша пришли к нему. — Что, Алексей, не зря я тебе записочку о Рудакове подбросил? Выделяем тебе стогектарку. Ясно? Действуй.

Но, когда Роман и Алеша развернули свой план, председатель призадумался: слишком безрассудным показался он.

Наученные горьким опытом этого года, в колхозе решили увеличить посевы кукурузы. Надо же наконец быть спокойным за скот, не зависеть от дождя и травостоя. Председатель не возражал один-два участка полностью отдать механизаторам, но всю кукурузу... Отказаться от тяпки? Вероятно, Алеша прав, слишком большой анахронизм — тяпка в век атома, век спутников.

— А люди что жрать будут? — грубовато спросил он у Романа. — Сколько каждая колхозница недополучит, это ты посчитал?

— Мне один урок вспомнился, — глядя мимо Ивана Гордеевича, спокойно сказал Алеша, — историк рассказывал, как в Англии на переходе от мануфактуры к фабрике люди машины разбивали.

— Учить вздумал! — гневно вспыхнул Иван Гордеевич. — Я сам из рабочих. Ясно?

— А людям,—серьезно сказал Роман,—ущерба не должно быть. Снимем колхозниц с прополки, подкормки кукурузы—на другое передвинем. На птицу... Или консервный завод откроем. Плодов, овощей хватит.

Откинувшись в кресле, Иван Гордеевич смотрел на него. И досада, и любовь, и беспокойство, и даже легкая зависть—все промелькнуло в председательском взгляде.

— Ладно,—стукнул он ладонью по столу,—езжай, Алексей, в колхоз Ленина, все у Рудакова выясни. А ты, Роман, к докладу на правлении готовься.

Но вскоре опять Иван Гордеевич столкнулся с комсомольцами.

Недалеко от правления давно уже были возведены стены великолепного клуба. Его начали строить лет шесть назад. Кто-то проворовался, кто-то прохлопал кредиты, а сейчас колхоз и управление культуры отмахивались от строительства, обвиняя друг друга в тысяче смертных грехов и в отсутствии заботы о людях.

— Паны дерутся, а у хлопцев чубы трещат,—возмущался Роман.

— Паны?!—Иван Гордеевич даже отступил на шаг.—Это ты кого оскорбляешь, а? Да я против панов в революцию рубался.

— Рубались... Революция... Рабочий класс...—Голос у Романа чуть не сорвался от сдержанной обиды.—А из-за клуба такую свару с управлением культуры завели. Молодежи ни собраться, ни потанцевать.

— А-а, танцульки у тебя на уме! В колхозе у всех голова трещит, как зиму переживем, а комсомолу танцульки понадобились! Да в наше время за танцульки из комсомола к чертям выгоняли.

— И клубов, скажете, не было?

— Были. Так мы в них о мировой революции спорили, в них у нас «Синяя блуза» выступала—панов и кулаков наповал разила. В них мы людей грамоте учили, из темноты вырывали.

— А мы в клубе университет культуры откроем. Оперу «Князь Игорь» поставим.

— Не широко размахнулся?

— В самый раз!—спокойно сказал Роман.

— Вот что... кончи! — оскорбленно потребовал Иван Гордеевич.

В этот день в маленькой комнате комитета комсомола Ивана Гордеевича совсем не по заслугам величали «чертом». И чего там таить, секретарь комитета, которому совсем бы такие вещи не к лицу, отличался не меньше остальных.

— Ну, устроим же мы ему штуку, — загорелась Тanya, — ой устроим.

Хорошо позавтракав, Иван Гордеевич вышел на улицу. День был морозный, солнечный и словно напоенный бодростью. Председатель шагнул с крыльца и остановился. В снегу, в трех шагах от крыльца, торчала хворостина, а на ней висел флажок с надписью: «Колхозный клуб за углом». Недоуменно пожав плечами, Иван Гордеевич сорвал листок, смял и сунул в карман. «Озориет молодежь», — подумал он. Прошел десятка два шагов — опять надпись: «Дорога к нашему клубу». Иван Гордеевич ускорил шаги, невольно бросая направо и налево настороженные взгляды. И вот опять объявление: «Сегодня в клубе кино», «Все в клуб на доклад», «В клубе работают кружки: хоровой, драматический, агротехнический».

Он уже жалел, что пошел этой дорогой, почти уверенный, что главная ловушка ждет там, у недостроенного клуба. Он не ошибся. «Добро пожаловать в клуб!» — вещала надпись, повешенная через тропинку от дерева к углу дома. Чтобы сорвать ее, надо подпрыгнуть, а хорош будет председатель, если начнет прыгать на улице, словно кочет, к удовольствию этой комсомолки, которая, наверное, наблюдает сейчас за ним откуда-нибудь из окна.

У клуба стояли колхозники, посмеивались.

— А что, Иван Гордеч, — остановили его, — ловко тебя уели?

— И до чего хитрые, шельмы, — восхитился кто-то, — ни тебе обиды, ни оскорбления! Культурно. Вежливо. А задумаешься.

— Делать им нечего, — буркнул Иван Гордеевич, проходя мимо.

Злился на себя, на молодежь. Хитры! И придаться не к чему.

На следующее утро Иван Гордеевич с некоторой тревогой вышел из дому, но ничего подозрительного не заметил. Зато в правлении на столе ждал его вместительный пакет. В нем оказались две фотографии: на обороте первой — деловая надпись: «Председатель колхоза «Рассвет» Иван Гордеевич Герасименко делает доклад о достижениях колхоза». Со второй — черными, пустыми глазницами смотрело здание недостроенного клуба. Надписи не было.

А на другой день около клуба опять появились надписи.

Вечером в комитет комсомола пришел Иван Гордеевич.

— Конец будет? — сурово спросил он у Романа и вдруг заметил, что молодежь еле сдерживает улыбки.

— Вы о чем, Иван Гордеич? — сохраняя серьезность, спросил Роман.

— Не знаешь?

— Да вроде знаю. Только я такой команды не давал.

— А кто тогда это вытворяет? Тоже не знаешь?

— Я, — встала Таня. — Иван Гордеич, больше надписей вы не увидите, только пообещайте прийти на молодежный новогодний вечер.

Когда Иван Гордеевич ушел, Таня поделилась с ребятами своим планом...

— Рискнем, казаки! — прищурился Роман и убежденно закончил: — Только достанется нам, будьте спокойны, крепко.

## Глава IV

### НОВОГОДНИЙ БАЛ

Без четверти девять Таня была у Герасименко. Иван Гордеевич в темно-синем костюме и коричневых полуботинках расхаживал по комнате и ворчал на жену за долгие сборы. Наконец вышла и Екатерина Марковна, в крепдешиновом вишневом платье с белоснежной вставочкой, в лакированных туфлях, завитая, помолодевшая на десяток лет.

Что-то вроде раскаяния и сожаления мелькнуло на

лице у Тани, когда Иван Гордеевич надел пальто и шляпу, а Екатерина Марковна застегнула пряжки на ботинках, надела нарядную, легкую шубку из «кротика под котика». Ну, а к «выходной» шубке, конечно, полагается не платок, а фетровая шапочка.

Впрочем, долго ли пройти улицей, а когда ходишь по неделям закутанный, едешь из бригады в бригаду, с фермы на ферму, хочется и принарядиться.

Костюм Тани вызывал у председателя недоумение: слишком теплым и непраздничным казался он. Валенки с галошами, пуховый платок.

Посмотреть бы доверчивому Ивану Гордеевичу повнимательнее, уловить бы озорной блеск глаз, пожалуй, вернулся бы вовремя домой. Но Иван Гордеевич дал промашку и почувал неладное, когда отступление стало невозможным, когда оказался в плотном кольце молодежи, двигавшейся к недостроенному клубу. Только сейчас он понял, что свой праздник станичная молодежь затеяла именно там.

— Значит, воспитывать решили? — сердито спросил он у Тани.

Танин взгляд был безмятежен, голос звучал необыкновенно искренне:

— Так, Иван Гордеич, повеселиться хочется, а... негде. Вот мы и решили.

— В Москве елку прямо на улице устраивают,— выступил на поддержку Роман.

— Ну-ну,— неопределенно мотнул головой председатель.

Поднялись по ступенькам. Легкая улыбка пробежала по губам Ивана Гордеевича: и когда успели? Ну и боевые хлопцы в колхозе «Рассвет»! Прямо к окнам были подведены три грузовика, фары заливали светом весь «зал», украшенный флажками и бумажными фонариками, убранный еловыми ветками. Не слишком большая, но нарядная елка поблескивала шарами и золотым дождем.

Если бы не снег под ногами, не пустые проемы окон да не темное небо над головой, подумалось, что и впрямь находишься в клубе. Гремела радиолa, даже сцена была сооружена, а на ней, по всем правилам, и стол для президиума, и кафедра для докладчика. Даже несколько скамеек для почетных гостей стояло перед сценой.

Сидя в президиуме и глядя в зал, Иван Гордеевич испытывал и радость и тревогу.

А ну, Иван Герасименко, не ошибся ли ты? Оно, конечно, хорошо, когда богатеет каждый колхозник. Немало вынесли люди во время войны, надо им и одеться и мебель купить, мотоциклом, приемником обзавестись, а только не слишком ли много дает колхоз на трудодни? Вон, говорят, у Галаган пшеница в подполе проросла. Неделимый фонд увеличивать пора и в первую очередь закончить клуб. И откуда в тебе, Иван Гордеич, боязнь перемен завелась? Не стареть ли начал? Так словно бы рановато,— так спрашивал себя председатель колхоза и чувствовал, что и вправду стареть рано. Эх, вместо бы этого дятла Васильева да секретаря партийного подходящего, с размахом, не чиновника. Вот вроде Дороховой. Хотя ее трогать нельзя, только-только на ферму назначили. Но и с Васильевым не прожить колхозу. У человека за сутки появляется десяток мыслей. Он этим куцым мыслишкам так рад, что обсасывает каждую, как леде-нец, и преподносит собеседнику, словно величайшее открытие.

Вспомнился скрипучий голос Васильева, тощее лицо и длинный сухой палец: «Об удоях нам надо думать, товарищи. Думать об удоях нам надо. Надо, надо, товарищи! Об удоях подумать. Как удои повышать, вот о чем думать надо!» Иван Гордеевич устало и неприятно передернул плечами.

А вечер шел своим чередом. Рассказывал с трибуны Роман о делах молодежных, мечтал вслух. Да нет, какие это мечты, если за ними стоят имена, расчеты, цифры.

Тут Иван Гордеевич заметил, что ему холодно. Морозец давал себя знать, пощипывал уши. Руки Иван Гордеевич предусмотрительно засунул поглубже в карманы. И угораздило же его вырядиться! Им-то хорошо в сапогах... Да и не станешь же, сидя за столом президиума, отплясывать.

Наконец-то был объявлен перерыв. Закоченевшая Екатерина Марковна подошла к мужу:

— Пойду я домой, Ванечка, ноги совсем зашлись.

Тут рядом появились девчата, увлекли ее в сторону. Вернулась она повеселевшая: девчата раздобыли ей валенки, черную, козровую шаль. Шаль явно бабушкина,



старинная, но глаза у Екатерины Марковны поблескивают из-под нее особенно молодо.

Иван Гордеевич с надеждой посматривал по сторонам, не ждет ли и его неожиданная помощь.

— Выпить не хотите, Иван Горденч? — наклонился к нему Роман. — Нарзану.

Иван Гордеевич оживился — вот она, помощь! Он уже чувствовал, как приятная теплота разливается по всему телу.

— Можно, — не показывая радости, ответил он.

Роман наполнил стаканы.

— Не много ли? — осторожно шепнул Иван Гордеевич.

— Душа меру знает, — спокойно ответил Роман и первый залпом выпил.

Иван Гордеевич с почтением посмотрел на Романа — вот так парень, даже не поморщился! Сам он крикнул и отпил половину. Но что это? Еще холоднее стало ему.

— Да мы что пьем-то? — невольно сорвалось у него.

— Нарзан. А вы думали что?

— Да показалось, эссендуки семнадцать, — сердито ответил Иван Гордеевич и допил свой нарзан.

Брр! И кому это может в голову прийти на холоде пить холодный нарзан?

В зале опять садятся рядом. Закутанные хористы затянули песню:

Посажу я для тебя сады весенние...

Ивану Гордеевичу холодно. По-настоящему холодно, но не о холоде думает он сейчас. Кто позволил ему, председателю колхоза, издеваться над этими замечательными людьми, силой и славой колхоза. Они вынуждены сегодня, в новогоднюю ночь, собраться под открытым небом.

Перед ним всплывает лицо дочери. Ее нет здесь сейчас, а может, и в этом виноват он, что не захотелось ей, колхозной девушке, вернуться в родную станицу, где даже под Новый год негде собраться молодежи. Но остальные-то здесь. Не убежали. Работают. С ним, председателем, драчку затеяли за клуб. И победят.

Эх, Настя! Ближе, чем ты, стала мне эта закутанная Татьяна Лагутина, словно она, а не ты, моя дочь. Эх, Настя!

Словно взрыв звучат аплодисменты, хористы спускаются со сцены, их место занимают плясуны. Они тут же, на сцене, сбрасывают пальто и куртки, остаются в длинных цветных рубахах, кубанки заломлены на голове. Звучит задорный и пронзительный казачий посвист.

Ох, как бы не разлетелся под дробью каблуков ненадежный помост. Нет, этим и в рубахах не холодно, стремительно носятся они по сцене. Да не пружина ли какая помогает сделать такой прыжок?!

Невольно и зрители вошли в бешеный темп пляски, хлопают в ладоши, отбивая такт. Забыл Иван Гордеевич, что не кубанка на нем, а шляпа с полями, сдвинул ее чуть не на самый затылок.

Потом девчата пели частушки:

Наш Алеша — тракторист,  
И пригожий, и речист.  
Чубчик черненький,  
Сам проворненький.

«Речист»! Какое там — «речист»! Весь вечер просто-рядом с Таней, а только и нашел что сказать:

— Замерзла, поди?

— И ничуть, — усмехнулась Таня.

Сколько раз в эти дни Алеша угадывал ее боль. Обнять бы ее, бедную, обманувшуюся, крепко-крепко прижать к груди. Но знал, нельзя назвать бедной, нельзя загородить от ветра. Обидится. Сильной ей хочется быть, стойкой. Самой выстоять.

По цепочке, от одного комсомольца к другому, добежало до Тани: «Лагутина! Иван Гордеич зовет!»

И зачем она ему сейчас понадобилась?

— Ну, Лагутина, заманила председателя в ловушку, это тебе даром не пройдет, — вполголоса сказал Тане Иван Гордеевич, — придется тебе часов двадцать отработать.

— Где? — растерянно спросила Таня.

— На строительстве клуба. Согласна?

— Еще бы!

— Да не одной, — засмеялся Иван Гордеевич. — На пляску людей вы сколотили, на работу сумеете сколотить.

Таня поднялась, легко вскочила на сцену, встала рядом с Ниной, объявлявшей номера.

— Товарищи! — звонко крикнула она. — Иван Гордеич поручил спросить, согласны ли комсомольцы по двадцать часов на стройке клуба отрабо...

Ей не дали кончить:

— Отработаем!

— А почему только комсомольцы? — долетел чей-то обиженный голос.

— Все! Все! Вся молодежь, — поправилась Таня.

— Голосуй!

Как одна, поднялись руки.

Если есть музыка, если тебе двадцать лет, если завтра Новый год, а вокруг твои друзья, то ты будешь танцевать и под открытым небом, и в валенках, и в платке. Первый вальс даже Иван Гордеевич станцевал, причем не с одной, а с добрым десятком девчат. А потом благоразумно исчез вместе с Екатериной Марковной, пока еще в какую-нибудь историю не втянули.

А бал молодежный был в полном разгаре, только Таня, словно Золушка, исчезла с бала. Напрасно искал ее Алеша, хорошо еще, что догадался у Вали Росликова спросить.

— Привязалась, понимаешь, — ответил Валя. — «Отвези да отвези, да чего тебе стоит?» Ну, завел я мотоцикл и подбросил на ферму. У нее там Бровка телиться должна. Ветеринара, конечно, не будет, а Татьяна у нас после Ласточки ученая...

Рассвет застал Таню и Ивана Кирилловича у телятника. Они смотрели на Бровку, которая нежно облизывала рыжий комочек — новорожденную телочку.

— Иван Кириллович! А можно... пусть ее Ласточкой назовут... — Голос Тани дрогнул.

— А почему нельзя? — спокойно сказал старый скотник.

## Глава V

### ПОГРЕБНЯКОВЫ

Погребняковы решили обосноваться в станице.

— Неужто работы на наш век не хватит? — сказал Кузьма. — Ну, а позарез придется — и в колхоз вступим, так и быть.

— Не очень-то надейтесь: в колхоз могут и не принять,— обиделась Таня.

— Не примут — не заплачем,— миролюбиво согласился Погребняков,— были б руки, а дело найдется.

— Шабашку сшибать станете? — дерзковато спросила Таня.

— Охо-хо,— ласково посетовал Погребняков,— много слов люди придумали, только бы обидеть покрепче. А я не обижусь. Трудящийся я, а за мой труд мне денюжки платят. Сколько стою, столько и платят. А кто платит: СМУ-тьму, колхоз или там Иван да Марья,— это для меня дело десятое.

Слова у Погребнякова ласковые: «домок», «денюжки», и голос негромкий, вкрадчивый. Глаза чаще полуприкрыты, редкие волосы аккуратно приглажены. Но Таню именно эта тихость да благость Варвариного мужа и настораживала. Плоские, плотно прижатые к голове уши, мясистый нос, набухшие веки, плотно сомкнутые губы, глаза неживые, без выражения. И движения Кузьмы, такие мягкие, неторопливые, тоже казались нарочитыми. Беспокойным рывком оборачивался он на неожиданный скрип. Спина к двери никогда не садился.

— Эх, Варвара! — только и смогла сказать Таня на вопросительный Варин взгляд.

Варя с любовью относилась ко всем Лагутиным, а Таню выделяла особо.

— И до чего ты на Александра Даниловича похожая,— выпевала она, когда Погребнякова не было рядом,— и лицом схожая, и характером, ну вылитая, только что волосом русая.

Варе очень хотелось, чтобы Кузьма понравился Тане.

— Ты бы, Танюша, послушала, как он поет. Голос-то прямо в душу просится... За обедней вступил за женщинами тихо так да сладостно: «Иже херувимы»,— ну, народ чисто весь плачет.

— Он правда в церкви поет?

— Поет на крылосе. Очень его в городе батюшка ценил. Записку бы здешнему-то духовенству дал, только некогда было Кузьме за ней сходить, в одночасье собрались.

— Чего так? — насторожилась Таня.

И Варвара рассказала ей, что пришел Кузьма од-

нажды бледный, расстроенный, слова молвить не хотел. Ночь не спал, а наутро сказал: «Едем». — «Куда? Зачем?» — ахнула Варвара. Перед этим года за два тоже в одночасье уехали, работу хорошую бросили. Тогда хоть лето было, а теперь в зиму ехать пришлось. Попробовала Варя характер показать: «Никуда не поеду!» Кузьма и уговаривать не стал: «Не хочешь — не надо, один уеду, только тогда не жалуйся, и концов не найдешь». Варя, конечно, в слезы: «Жена я тебе или нет? Почему ты мне такие слова говоришь?» А Кузьма ей ответил: «Раз жена и раз мы с тобой венчанные, значит, ты меня слушайся и волю мужнину выполняй».

Уговаривала повременить с поездкой: у Мишутки жарок, не разболелся бы — зима. И слушать не стал: «Едем». — «Куда же ехать-то?» — «К родне твоей. До весны перебежусь, а там подумаем». Вечером машину отыскал, погрузились — и поехали. Угля перед этим купили тонну, за треть цены соседям отдали.

Не понравился Тане рассказ. С чего бы так поспешно срываться с места?

— А что он за человек? — прямо спросила она Варвару.

— Хороший человек, Танюша. Работающий и к хозяйству заботливый, всякий гвоздик у него свое место знает. И ко мне всей душой. Платье там или платок понадобится, говорит: «Бери покупай, носи на здоровье». И слова всякие хорошие знает: «У тебя, говорит, Варя, бог в душе есть».

— Пьет он?

— Да бывает, — смутилась Варя и вдруг, в порыве откровенности, не выбирая слов, не замечая, что противоречит сама себе, призналась: — Раза три крепко выпивши был. Ох, и боюсь я его тогда. Нет, ты не думай, он меня пальцем не тронул. А как Сашка уехал, и вовсе жить ладно стали. Только глаза у него, когда пьяный, такие — не приведи господи! За горло себя хватает, слова всякие непонятные говорит. Ты смотри, Таня, не подумай чего плохого и не болтай никому.

Варя вспомнила, что Кузьма все ее одергивал: «Меньше говори, бог пустой болтовни не любит. Рвется с языка мирское слово — лучше осени себя крестным знаменем и читай молитву. И тебе спокойно и богу угодно». Не нужно было болтать лишнего про мужа, но как удер-

жаться, когда оказалась в доме, где так счастливо шла ее молодость, где родился Сашка. Зачем ей таиться от Тани? Все здесь напоминает Варю другое, ясное и счастливое время.

В первую ночь, как приехали, Кузьма переполошил весь дом. Все заснуло, вдруг страшный вой раздался в темной хате.

— Кузьма! Проснись, Кузьма! — теребила мужа Варвара, но он продолжал подвывать, скрипел зубами.

— Часто он так? — спросила Таня утром.

— И не говори,— махнула рукой Варя.— А то кричать примется: «Стреляю!» И ругается. Днем черного слова не услышишь, а ночью...

— «Стреляю», кричит?

Варя осеклась, махнула рукой:

— Да разное... Вот она, война... Сколько годов прошло, а человек и спать спокойно не может.

Да, немало людей покалечила война. Тане хотелось приветливее взглянуть на Кузьму, заговорить с ним, но сталкивалась с его взглядом, устремленным, как у слепого, в никуда, и замолкала.

— Не по душе мне Кузьма, что ни слово, то «боже», то «господи», «святой» да «милостивый»,— призналась дочери Наталья Ивановна.— Съехали бы они от нас скорее. Сашка извелся. Аж трусится, как отчима увидит.

Кузьма, видно, не прочь был и жить у Лагутиных, всячески старался наладить отношения. Ласково и терпеливо рассказывал Наталье Ивановне о жизни праведников, о беспечном райском житье, то начинал говорить об адских муках, уготованных грешникам.

— Ты меня не страшай,— отмахнулась мать.— В твой ад бога-то первого тащить надо, грешнее его никого на свете нет. Каких только напастей не напридумывал, каких болезней! Да за одно то, что твоего черта придумал да ему волю дал,— за одно это твою богу прощенья нету.

Неожиданно Кузьма предложил ей деньги за комнату.

— Тесно у нас,— сказала Наталья Ивановна,— и думки не было комнату сдавать.

Как-то Варвара повела Мишутку ко всенощной. Хор в станичной церкви был хоть и небольшой, но

слаженный. Запели: «Слава в вышних богу и на земле мир в человецех благоволение».

А Мишутку Саша только что выучил замечательной песне, и петь ее надо не тихонько, а воинственно, во весь голос. Мишутка и решил показать себя, заорав на всю церковь:

По долинам и по взгорьям  
Шла дивизия вперед,  
Чтобы с боя взять Приморье...

Мать коротко ахнула, крикнула: «Замолчи, постреленок!» — схватив его за руку, потащила за дверь. На паперти он все-таки допел:

Белой армии оплот.

Пение прервал звонкий материнский шлепок. Было не больно, но от неожиданности и обиды Мишутка заревел басом.

Кузьма, вернувшийся от всенощной, безжалостно отхлестал сына, который за этот час совсем забыл о своей попытке помочь церковному хору.

Дома были только Погребняковы и Сашка. Когда Кузьма взялся за ремень и принялся хлестать Мишутку, Сашка смертельно побледнел, стиснул кулаки, бросился к отчиму:

— Не бейте его! Маленький он.

Кузьма отпустил сына, который, громко всхлипывая, забился под кровать, и, перехватив удобнее ремень, направился к пасынку. Шел не торопясь, на лице была странная гримаса, чем-то напоминавшая улыбку. Сашка вздрогнул, но не побежал, словно прикованный к месту этими налившимися кровью, неподвижными глазами.

Ремень взвился в воздухе. Сашка схватил отчима за руку:

— Не смеее! Не дамся!

— Не дашься?! — тихо и почти ласково спросил Кузьма и вдруг сделал неожиданный выпад левой рукой.

Удар пришелся прямо в подбородок. Такой удар и не подростка мог свалить с ног. Сашка оказался на полу. В эту минуту и вошли Таня с матерью.

Таня бросилась вперед, встала перед Кузьмой. Никогда не забудет она взгляда его глаз с красными прожилками, бледных, вывернутых, вздрагивающих губ.

Секунду Тане показалось, что он способен вот этими желтыми, кривыми зубами перекусить ей горло. Она невольно выкинула вперед руку, уперлась ему в грудь, чтобы хоть какое-то расстояние разделяло их. Сашка поднялся на ноги и стоял рядом, прижавшись к ее плечу.

— Слушайте, вы! — В голосе Тани была и сила, и сознание своей правоты. Одной рукой она обняла Сашку за плечи. — Это сын моего брата... Мой брат и сын... И посмейте только его тронуть!..

Кузьма коротко засмеялся, повернулся и какой-то заплетающейся походкой пошел к двери.

Кричала Наталья Ивановна, бессильно плакала Варвара.

Таня почувствовала себя страшно усталой, не столько от минутного поединка с Кузьмой, сколько от Варвариной суетни, от ее голоса, заполнившего всю комнату. Она целовала Мишутку, причитала над Сашкой, благодарила Таню, взмахивала руками, ругала и хвалила Кузьму.

— Замолчи, Варя, — попросила Таня.

— Эх, Варвара! — с презрением и горечью сказала Наталья Ивановна. — Детей на истязание отдаешь.

После ужина сразу погасили свет. Из соседней комнаты, где спали Варвара с мужем, доносились вздохи и поклоны.

— Прости мне, господи, прегрешения моя... яко словом... яко помышлением, — молился Кузьма.

Таня задышалась от этих липких, тихих слов и вздохов, наплывающих из темноты.

Наталья Ивановна встала, накинула платье, зажгла свет, распахнула дверь.

— Ты, божий человек, — негромко, но твердо сказала она Кузьме, — съезжай от нас. Сил моих нету тебя видеть...

И Кузьма снял комнату у какой-то старушонки, что рада была поболтать о божественном.

Варя знала, что не раз ей придется услышать ядовитый вопрос: «Никак, ты, Варвара, сына родного на нового мужа променяла. Или больно хорош?» — и все-таки была готова расстаться с сыном, верила, что наладившаяся без Сашки жизнь с мужем и дальше пойдет гладко. Но, когда увидела, что Сашка боится и не хочет идти с нею, расплакалась, начала корить сына: и бездушный-то, и каменюка, и нет прощения тому, кто мать свою не чтит.



У Сашки дрожали губы, отлила кровь от лица.

— Вот что,— тихо и грозно сказала Наталья Ивановна бывшей невестке,— ты над мальчишкой не мудруй. И слезы свои пустые брось. Он не хочет с вами жить! А Кузьма твой этого хочет? А ты сама? Реветь — это самое легкое дело. Сами кругом виноваты, а его зачем виноватишь? Свою вину да на мальчишкины плечи. Кончи!

Погребняковы переселились, и всем стало свободней и легче дышать.

Мать вечерами латает Сашке куртку, сдвинув очки на кончик носа. Василий ладит какой-то сундучок, пахнет смолистой стружкой, шарочет наждачная бумага, которой он шлифует доски. Саша читает книгу. И Таня за книгой, но не читается ей. Вот у Погребняковых Мишутка растет. Тане радостно, что похож он на Варю, а не на Кузьму. Румянец, как у Вари, глаза синие. Несколькими днями наполнил он дом шумом. Хваткие ручонки находили себе работу, мыть их нужно было каждую минуту: то черные от угля, которым размалевана стенка, то липкие от меда. Городской мальчишка, и разговоров у него больше всего о машинах.

— Ты на спутнике полетишь? — допрашивал он с пристрастием.

Сам он, конечно, собирался летать. И непременно на Луну.

Мишутка вытаскивал стул на середину комнаты, переворачивал его — это уже была «Волга». Он крутил воображаемый руль, крепко сжав кулаки. «Би-би!» — редела машина.

Все было так просто и ясно в жизни мальчика. А потом подходила к нему мать, складывала непослушные пальчики для крестного знамения. «Повторяй за мной: «Отче наш иже еси на небеси...» — «Отче наш,— повторял мальчик.— Мама, а я летчиком буду?» — «Повторяй»,— сердилась мать. «Мама! А я тебя тоже на самолет возьму. И Сашу!»

Часто думала Таня о судьбе мальчика.

— Отобрать надо у них Мишутку,— хмуро говорил Сашка.

Таня понимала, Саша прав, но кто позволит от живых отца, матери отобрать сына?

— Зверь он,— убежденно говорил Сашка о Кузьме.

## Глава VI

### «ДОГОДУВАЛЫ»

В дни, когда Погребняковы жили у Лагутиных, Саша старался поменьше бывать дома. После школы уходил к Тане на ферму, подносил корм, чистил стойла, мыл фляги.

— А что, Сашко,— сказала ему Анна Максимовна,— привыкай, мы тебя весной доярком поставим.

Саша счел это за обиду, насупился. Не слыхивал он о доярах; как-никак дойка — дело женское, это всем известно.

— Ты думал, она шутит? — спросила Таня племянника.

— Делать ей нечего,— еще больше насупился Саша.

Через день Сашка вернулся к разговору:

— А написано про этих самых, ну, про дояров?

Таня разыскала ему журнал с портретом юноши в белом халате, чем-то похожего на врача.

— Засмеяли, поди, парня! — заключил Саша.

— Может, и шутят,— спокойно согласилась Таня,— а только тропку везде, всегда кто-то первый прокладывает, а за ним сотни идут. Да ты к себе, что ли, прикидываешь?

— Еще чего выдумала! — покраснел Саша.

С этого дня журналы и брошюры о работе фермы, которые появлялись у Тани, просматривал и Сашка.

А дела на ферме были не блестящими. Надежда на теплую да короткую зиму не оправдалась.

— Вы, девчата, с умом коров годуйте,— учила Анна Максимовна.— Трохи жмыха дайте, а потом соломки подсуньте.

Еще строже учитывала она каждый килограмм кормов. Силосную яму раскрывали понемногу, брали точно под обрез, перевозили в сарай и там делили на группы.

Однажды морозным утром расстроенная Анна Максимовна привела доярок и скотников к силосной яме. Там спокойно лежали сытые быки. В станице это было не в диковинку: ездовые частенько оставляли быков в силосных траншеях.

— Твои? — возмущенно спросила Анна Максимовна у Коли.

— Мой,— откликнулся Коля.

Большой беды он в этом не видел, скорее, радовался: хоть наелись вдосталь. Им как-никак работать надо, молоко возить.

Все еще гладкие, несмотря на суровую зиму и бескормицу, они лежали прямо на силосе.

— А ну, геть отсюда! — крикнула Анна Максимовна.

Быки неторопливо поднялись и так же неторопливо пошли прочь, мерно взмахивая хвостами.

— Винниченко, Росликов, соберите-ка весь перетоптанный силос в ящик,— распорядилась Дорохова.

Ящик быстро наполнился. Наполнился и второй.

— А теперь на весы,— скомандовала Анна Максимовна.

— Двести килограммов! — ахнул Иван Кириллович.

— Ну, давайте считать,— сказала Анна Максимовна.— Два центнера силосу потоптали, смешали с навозом сегодня быки Николая. Этот силос самая голодная корова есть не станет. Считайте, сколько за месяц перепортим.

Все молчали. Но Анна Максимовна была безжалостной:

— Сколько, Николай?

— Шестьдесят.

— Чего — шестьдесят?

— Центнеров,— еще тише ответил Коля.

— Шестьдесят центнеров! — Голос Анны Максимовны дрожал от негодования.— Сегодня двести килограммов пошло на выброс. Мы сейчас на корову даем двадцать. Значит, десять коров сегодня останутся без кормежки. У нас как раз десять доярок. Ну, девушки, решайте, какая корова у кого сегодня голодать будет? Таня, ты какую кормить не станешь, Бровку или Ланку?

И вот тогда-то поднялось возмущение:

— Быкам не давать!

— На комсомольском собрании обсудить,— громче всех и строже всех прозвучал голос Нины.

Слова Анны Максимовны, негодование товарищей взволновали Колю. Выходит, он обидел всех, совсем не желая этого.

— Вот что,— очень серьезно сказала Анна Максимовна,— давайте все вместе посмотрим, как нам зиму доживать.

Это не было собранием. Просто люди сидели, прикидывали, рассчитывали, советовались. Может быть, впервые железные законы цифр стали ясны сегодня многим. При экономии дотянут до весны, но надо сделать так, чтобы каждый грамм кормов усваивался. Так, если ячменную дерть давать, то делать из нее мешанку. Солому порубить, присыпая сеном и костной мукой.

Очень сближали часы учебы, которые ввела Анна Максимовна. Здесь ее правой рукой была Таня. Она отыскивала интересные статьи, читала вслух, обсуждали, проверяли на практике.

И вот здесь-то и завязывались все крепче в один узел общие интересы. Всех радовало, что Рябинка у Нины при системе вторичной поддойки прибавила молока, что Вишня на пять дней позже пошла в запуск, а значит, дольше доилась. Всех волновало, прибавят ли коровы молока, если ввести в режим двухчасовую прогулку.

Доска с планом и удоями по группе каждой доярки давно висела на ферме, но это были, так сказать, дела внутренние, хотя и очень интересные. Анна Максимовна рядом с этой доской повесила другую, где записывались показатели всех четырех молочных ферм колхоза.

Захотелось посмотреть, что делается и «у людей».

Сначала, конечно, решили побывать на второй ферме. Посланцами своими избрали Колю, Таню и Нину.

— Всё на заметку берите, — напутствовали их.

— Да смотрите, чтобы они вам очки не втерли.

— Не болтайте, что мы с кормами жмемся.

Погода стояла тихая. Коля предложил было для торжественного выезда своих «МУ-2», но девушки решительно отказались:

— Пока они туда доплетутся, мы уже назад вернемся.

Не прошли и полпути, как выглянуло солнце, которого больше недели не видели. Выглянуло — и как заискрился снег! Глазам нестерпимо было смотреть на эту сверкающую белую пелену с голубоватыми тенями в овражках и балочках. Распахнулась взгладу степь из края в край, ослепительная, сияющая. Складки снега казались гребнями волн. Белоснежные, они набежали на увалы да так и застыли в движении.

Воздух весь пронизан морозными искрами, переливаясь на ярком солнце радужными огнями их острые

жальца. Словно танцуют они в воздухе, словно поют какую-то свою, ломкую песню, полную легкого, стеклянного звона. Может, им, как бабочкам-поденкам, только и покрасоваться в воздухе один какой-то час, только и жизни им, только и торжества, и пригрей солнышко чуть больше — тут и оборвется их жизнь-коротышка.

Но сегодня от них, от этого ослепительного снега, от морозца, хоть и крепкого для этих краев, но без ветра, от солнца, без которого южанину жизнь не в жизнь, весело становится на душе.

Увидев молодежь с соседней фермы, заведующий явно растерялся.

— Проверка соревнования...— мялся он.— Разве было такое решение? Я чего-то не слыхал.

— Мы без решения,— объяснила Нина.

— Тогда разрешение нужно.— Лицо заведующего прояснилось.

— Да чье? — возмутилась Таня.

— А я знаю — чье? Без вас голова болит. Откуда вы такие взялись?

Коля недоумевающе переглянулся с Ниной и Таней и опять повернулся к заведующему:

— Да мы опыт пришли перенимать. А потом пускай к нам приходят.— И Коля начал расспрашивать о жизни фермы.

Беспокойство заведующего показалось Тане подозрительным. Она вышла во двор и столкнулась со знакомой дояркой Клашей.

— Чего у вас на ферме все сердитые? — спросила Таня.— К заведующему не подступись!

— А с чего веселиться? Худоба, того и гляди, дохнуть начнет.

— Как — дохнуть? — удивилась Таня.— У вас же коров много. Мы всё завидовали: коров вволю годуете.

— Отгодували! Тот,— она с ненавистью кивнула головой в сторону конторы,— кочет горластый, все хвастал: «Бабочки, чего сумные ходите? Годуйте вволю. Еще кормов подвезем...» Смотрим, сено к концу, силос тоже. Мы к своему орлу, а у него и крылышки обвисли. Начал он кидаться туда-сюда, там ему обещали, здесь посулили. Дни идут, а дела нету. Иван Горденч с курорта при-

ехал, тут бы ему все и высказать, а наш орел хвост поджал, боится, знает, что пух и перья полетят.

Словоохотливая Клаша повела Таню и в коровник. У коров ребра можно пересчитать, шеи казались непомерно длинными, глаза большими. В кормушках — черная солома вперемешку с охвостьями силоса.

— Вчера у нас корова еле растелилась, — продолжала Клаша, — сил не было слушать, как мычит...

Словно в ответ на ее слова, одна из коров замычала, низко, протяжно, не то жалуясь, не то негодуя. Тане показалось, что это жалобное мычание обращено прямо к ней. Она круто повернулась и выбежала из коровника.

Заведующий фермой все еще отвечал на Колины вопросы, когда дверь широко распахнулась и в комнату стремительно шагнула Таня.

— Да у них кормов совсем нету. Коровы — одни ребра!

— Не до вас мне! — махнул рукой заведующий. Накинув стеганку, он вышел из комнаты.

Назад шли молча. Снег по-прежнему искрился; несмотря на мороз, весенним теплом дышал воздух, а в ушах у Тани стояло протяжное мычание. Так мычать может только больная корова. Голодная. Сто коров уже месяц недоедают, а через день-два корма будут съедены. Все. Под метелку.

Сейчас она готова была в огонь и в воду за расчетливую Анну Максимовну.

С тревогой выслушала Дорохова сообщение комсомольцев и, не теряя ни минуты, отправилась в правление. Вернулась назад к вечеру с Иваном Гордеевичем.

— Собери, Анна Максимовна, народ, — устало попросил он.

Пока доярки собирались, Дорохова шутила, а в карих глазах ее можно было заметить особую напряженность, какая бывает у очень волевых людей в ответственную и важную минуту.

Доярки собрались без обычного шума. Всех интересовало, зачем явился Иван Гордеевич. Если насчет экономии кормов — это пожалуйста! Поговорим! А если насчет того, чтобы кормами поделиться, — не выйдет! Не для того они уже три месяца над каждой горсткой жмыха дрожат, каждый килограмм силоса учитывают, чтобы корма на вторую ферму отдавать.

Анна Максимовна встала. Наступила напряженная, полная ожидания тишина.

— Значит, догодувалы на второй ферме худобу. Съели корма. Может, в ту минуту, что мы с вами балакаем, они последние горстки подъедают.

Никто не учил ее ораторскому искусству, но именно здесь она сделала паузу. И вовремя.

Доярки невольно задумались. Таня представила себе пустые кормушки, тягучее, тревожное мычание, которое все нарастает. Но вдруг поняла: жалость может завести в ловушку.

— А зачем вы нам это рассказываете, Анна Максимовна? — настороженно спросила она.

— А затем, — просто ответила Дорохова, — что выручать надо! Не пропадать же худобе.

Вокруг раздались протестующие крики:

— Не дадим кормов!

— А что правление думало?

— Где председатель был?

— Не дадим наших коров поморить!

Иван Гордеевич медленно встал.

— Прохлопали. — Он тяжело опустил ладонь на стол. — Я свою вину сам выложу. Ясно? Первое — кукурузы посеяли мало. Придется соседям пониже поклониться, подмоги просить. — Он передохнул и продолжал: — На засуху, на травостой не сошлюсь. Не к лицу нам такое дело. Но слово даю твердое: до лета доживем — на два года кормов запасем. Третье мое слово, — сурово сказал Иван Гордеевич, — бесчестных людей в колхозном руководстве нечего держать. Заведующего второй фермой выгоним, отдадим под суд. А первый ответ мой. До седых волос дожил, в партии тридцать лет, а выговора партийного мне не миновать.

— Так вы ж в санатории были, — нерешительно вставил Коля.

— Значит, соломинку утопающему протягиваешь? Думаешь, схвачусь? Обрадуюсь? — насмешливо и грустно спросил Иван Гордеевич. — Ясно! Вот это и беда твоя, Николай, что сердце у тебя мягкое. А нам с тобой такое сердце ни к чему. С командира всегда первый спрос. Ванны поехал принимать! Тьфу! — Он даже плюнул. — Не прожил бы я без тех ванн? Прожил бы! — Он помолчал, обвел всех глазами, усмехнулся. — Ну,

вот и виноватых нашли. Только коров моим выговором не накормишь.

Слова Ивана Гордеевича и расположили и смягчили Таню. У нее на совести Ласточка, а у него сейчас целая ферма. Но тут она вспомнила о Бровке и Ланке и не выдержала:

— Нет, Иван Гордеич. Вы нас лучше не трогайте. Нам зима тоже не шутя достается.

Иван Гордеевич знал, на что шел. Все можно было сделать гораздо проще: обсудить на правлении. А приказ будет — придется его выполнять. Но этого не хотелось. Пусть люди сами решат.

— Так, Татьяна,— медленно сказал он, не скрывая тяжелой обиды,— значит, для тебя есть только твоя корова. Про колхоз-то забыла. Ясно? Выходит, сотне коров пропадать, лишь бы Татьяна свой десяток без беды годувала.

Есть решения, которые зреют в сердце трудно и медленно, а есть такие, что приходят мгновенно, как зарница, вспыхивающая в ночи, в ее мгновенном свете четко вырисовывается все вокруг.

Таня вскочила, в голосе ее звучали и тревога и стыд:

— И правда, чего же мы расшумелись! В нашем колхозе беда, а мы...

— Спасать надо худобу, и точка,— твердо сказал Коля.

— Выделить треть кормов,— предложила Нина.

— Не надо выделять кормов,— сказал Иван Гордеевич.— Завозить на вторую далеко, дорого, да и коллективу фермы доверия больше нет. Прошу: примите полсотни коров. Полсотни — вы, полсотни — первая. Решайте...

Утром пятьдесят коров входили на ферму. Казались они поджарыми, облезлыми, чужими. Каждой доярке временно увеличили группу. Пригодился и Сашка. И он помогал доить. В халате, озабоченный, полный достоинства, Саша казался совсем взрослым. Это был человек «при деле».

В этот трудный день ушла с фермы Нюра Галаган. Ей давно не по нутру были новые, беспокойные порядки.

— Куда же ты? — спросила Анна Максимовна.

— У меня другая линия намечается,— загадочно ответила Нюра.



— И не стыдно тебе? — налетела на нее Таня. — Работы столько, а ты...

Нюра насмешливо блеснула глазами:

— Стыд — не дым, глаза не ест. — Она засмеялась и с вызовом прошла мимо Тани. Ушла и не оглянулась.

— Значит, трех доярок надо, — подвела итог Дорохова.

— Меня пока считайте, — твердо сказал Саша.

— Вздумал, а учиться кто будет?

— Справлюсь, — покраснел Саша. — В вечернюю пойду.

На ферму пришла и Настя Герасименко. Привела ее Таня. Случилось это так.

...Заплаканная Настя стояла, отвернувшись к окну. Она даже не поздоровалась с Таней. Иван Гордеевич шагал по комнате, Екатерина Марковна сидела, прикрыв глаза рукой.

Видимо, шел серьезный разговор, и немало горьких слов только что прозвучало здесь. Казалось, сам воздух еще полон ими, тяжелый, нависший, как обида.

Таня, прибежавшая сюда, как только услышала о возвращении Насти, хотела было уйти, но Иван Гордеевич обратился к ней. Даже вчера, у них на ферме, он не был таким огорченным и растерянным.

— Вот, приехала. Вырастили дочку на радость себе и людям.

— Я и уехать могу! — крикнула Настя. — И уеду. — Голос ее сорвался.

И только Таня сказала именно то, что было нужно:

— На ферме зарез без доярок. Пойдем к нам, Настя!

Предложение прозвучало неожиданно, все растерялись.

— Настя! — В голосе Ивана Гордеевича прозвучали доверие и надежда. — Слышишь?

Настя подняла голову. Какой-то мостик, еще зыбкий и неверный, снова возник между нею и отцом. Надо ответить сейчас же, иначе и эта зыбкая связь может оборваться навсегда.

— Дояркой? — растерянно повторила Настя, еще не решая, просто боясь, чтобы зыбкий мостик не рухнул от случайного слова.

— Люди же нужны. Пойми, — нетерпеливо настаивала Таня.

— А что, я пойду, пожалуй,— неуверенно сказала Настя, подняв глаза на отца.

— Иди! — Он подошел к ней, взял за плечи.

Насте показалось, что он хочет обнять ее, но вместо этого отец слегка оттолкнул ее от себя. И это она приняла как ласку.

— Иди! — повторил он.

— Ребенок только приехал! Как это вы решаете с бухты-барахты,— пыталась возразить мать.

Иван Гордеевич повернулся к жене.

— Нет ребенка,— сурово сказал он.— Ясно? Есть человек. И человек этот будет работать здесь, в колхозе. Если хочет, чтобы я начал его уважать. Ясно?

По дороге на ферму Настя молчала. Таня рассказывала ей о ферме, о девочках...

## Глава VII

### ПО-ВЕСЕННЕМУ ШУМИТ КУБАНЬ

Стремительная весна бушевала в степи. Снег сошел за неделю, потемневшими островками он лежал только в глубине балок да на северных склонах холмов. Март набирал силу. Огромные, черные массивы, распаханые с осени, дышали свободной грудью, легкий парок стоял над ними.

Бурлила Кубань, подмывала берега, затопила каменистые отмели, обнажившиеся осенью. Лес стал зелено-желтым от набухших почек, готовых лопнуть со дня на день. Острый листок пролеска уже проколол прошлогодний прелый лист, поднял его над землей, выбросил голубой цветок.

Без потерь вышла из зимовки третья ферма. Коровы паслись на озимых. На большой риск пошел Иван Гордеевич. Где это видано — озимые стравливать скоту! Дико, казалось, пустить коров на поля, на те самые, где через три месяца могла заколоситься слава и гордость края — ставропольская пшеница.

— Скот спасать надо. Двадцать процентов озимых отдадим на выпаса́,— твердо стоял на своем Иван Гордеевич,— а потом посе́ем на стравленных площадях кукурузу.

Напряженным, как струна, был сейчас каждый день. Под контроль взяла ферма посевы на участке. Зеленый конвейер должен быть надежным. Трижды в лето подсеют кукурузу. Пускай не переводятся в рационе ее молодые, сочные листья.

Все свободное время молодежь работала на стройке клуба. Таня и Настя стали завзятыми штукатурами.

— Не на ферме, так на стройке, — жаловалась Екатерина Марковна мужу. — Ну, парни — я еще понимаю, их дело полы стлать, рамы ладить да штукатурить, а ведь и девчонки за ними тянутся, со стройки не вылезают. И усталости на них нет. Скажи, ровно винт какой в каждом сидит. — Она взглянула на мужа, убедилась, что он не слушает ее жалобы, и вспыхнула. — Доволен? Клуб тебе строят. А по хозяйству я одна крутись. Кто поможет? Ты, что ли? Тебя с собаками не найдешь, а я и корову подои, и утей накорми, и в саду управься. А если на поле день-два не выйду, ты уже ворчишь: «На нас с тобой, Екатерина, люди смотрят. Ясно?» — передразнила она. — Что я, двужильная, что ли? Думала, Настя домой вернется, поможет.

— Погоди, Катя, погоди, — попробовал остановить расхажившую жену Иван Гордеевич. Знал, что и вспыльчива она и отходчива, но на этот раз Екатерину Марковну трудно было успокоить.

— Нет, видно, бабам облегчения все нету, — еще горячее заговорила она. — В колхозе трактор — не трактор, комбайн — не комбайн. На пропашных — свои машины, на огороде — свои, а по-домашности — как были бабьи рученьки, так и остались. Смерил бы кто женский труд да силу женскую. Раньше говорили: баба двужильная, вытянет, а теперь тоже как ни кинь, а женскую силу с двух сторон жгут: и в колхозе и дома.

— К черту! — вскочил Иван Гордеевич, вдруг ясно почувствовав ту жестокую правду, что стояла за словами жены. И, не в силах выразить жалость нежностью, выразил ее гневом: — К черту! И корову долой со двора! И кур, и гусей! К черту!

Екатерина Марковна сейчас же притихла.

— Что ты, Ванечка, что ты, — уже успокаивала она, зная, что муж скор на решения. — Да как же без хозяй-

ства-то? Да кто без хозяйства-то живет? Не одна же я. Все так...

Не слушая жену, Иван Гордеевич шагал по комнате. Новый толчок получила сегодня в разговоре с женой его давняя мысль. Ведь и на совещаниях и на пленумах говорили, что не должно личное хозяйство колхозников разбухать так, чтобы отрывать женщин от колхозной жизни.

Он привык, что во дворе мычит своя корова, что к столу прямо с куста можно сорвать спелый, пахнущий остро и терпко помидор, молодой огурчик с еще не облетевшим цветом на носике. Ему казалось, что все идет нормально, что таких уродливых личных хозяйств, о которых говорили на Пленуме, нет в колхозе «Рассвет», а сейчас увидел. Огород? Нужен ли он? Вроде нужен. Борща не сваришь без бурака, капусты, укропчика. А так ли трудно колхозу дать эти бурак и капусту? Дать в любой день, когда они понадобятся в хозяйстве. И вместо сотен женщин, занятых на своих огородах, — один продавец в колхозном ларьке. Давать на трудодни — сложно и трудно. А если продавать? Продавать за деньги. Если всю эту сложность выдачи продуктов на трудодни перевести в денежное выражение?

Ивану Гордеевичу стало жарко. Невольно расстегнул ворот гимнастерки. Капусту дают на трудодни один раз, осенью. А почему не выращивать разные сорта рассады, не сажать в разные сроки?

Воздух всей страны насыщен свежим ветром. Новое возникало на глазах, стремительно, по-весеннему входило в жизнь.

Небо Вселенной прочерчивали новые планеты, реки страны входили в новые берега. И на колхозных полях, где еще недавно дышалось трудно и напряженно, возникла новая, неудержимо рвущаяся вперед жизнь.

Размышляя об этом, Иван Гордеевич зашел к соседям.

У Дороховых хата стояла по-весеннему настежь, но никого в ней не оказалось, зато какой-то шум доносился из сарая. Иван Гордеевич постоял на крыльце, прислушался и направился туда.

— Чтoб ты сдохла! — кричал мужской голос. — Как стукну тебя промеж глаз, будешь знать!

Иван Гордеевич решительно распахнул дверь.

Разговор на басах шел у хозяина с коровой, которая не давалась доняться. Ведро откатилось в самый угол. Дорохов стоял над лужей молока и не стеснялся в выражениях.

— Вот собачья отравка! — махнул он в сторону коровы усталым жестом. — Ну скажи, не все ей равно, Анна или я с подойником подходим? Так нет, сатанюка чертова!

Корова спокойно помахивала хвостом и ничем не выказывала буйного нрава, казалось, примернее не найти во всей станице.

— Давно бы продали, — пожаловался хозяин, — так моя мать, как заговорим, в слезы: «Какой это двор без коровы! Только начали зажиточно жить». Ну, пока сама управлялась — ладно, ее дело. А сейчас уж не под силу ей, нам с Анной донть приходится. Ну, а сам знаешь, у всех жены как жены, а моя — актив. Ну, сатанюка, — он снова обратился к корове, — чи мне юбку надевать?

— А жинка-то где? — спросил Иван Гордеевич.

— На ферме, где же. Собрание, что ли, проводят.

Иван Гордеевич тихонько притворил дверь сараюшки, но до самой калитки слышал голос Дорохова.

Дороховым уже не нужна корова. А Екатерине Марковне нужна? Тоже не нужна. Ей только кажется, что без огородика и уток не прожить. А что нужно молодежи? Его дочери? Тане Лагутиной? Завтрашним хозяевам колхоза?

Собрание на ферме было в полном разгаре, когда появился Иван Гордеевич. Его приход переполошил было народ, но Иван Гордеевич махнул рукой и сел позади Вали Росликова, всем своим видом давая понять, что пришел он просто послушать, о чем толкует молодежь.

У стола стояла Таня Лагутина:

— Мы сосчитали, нас уже человек тридцать выпускников разных лет работает в колхозе. На будущий год еще пополнение придет. Хорошо, что вы зашли к нам, Иван Гордеич. Подсчитать бы сейчас, сколько колхозу чабанов надо, сколько механизаторов, и предъявить школе: вот, готовьте! Хозяйство у нас многоотраслевое — значит, загодя бы и готовить не вообще в колхоз, а по профессиям. — Она умолкла, словно потеряв мысль, но быстро нашлась. — Я про выпускников. С осе-

ни их у нас в колхозе больше полсотни будет. Хорошо это? Хорошо!

«Ну, не очень-то, если все такие языкатые да беспокойные, как ты», — усмехнулся про себя председатель.

— А только учится-то у нас всего шесть человек, — горячилась Таня. — Это правильно? А? Я вот лекции слушаю или читаю, и, как представлю, сколько человеку знать надо, прямо страшно становится.

Иван Гордеевич посмотрел в сторону Насти — встретиться бы сейчас с ней взглядом, спросить бы ее: «Слышишь, дочка?»

Но не пришлось Ивану Гордеевичу задавать этот вопрос, задала его Таня.

— Пускай нам здесь наши товарищи — выпускники нашей школы скажут, почему они не учатся. Мы от вас ответа ждем, Гриша Певцов, Настя, Тая. Гриша сам мне говорил: «В пастухи пошел, хочу спокойной жизни». Это интересно, как же он такую жизнь представляет? Коровки, дудочка, веночек на голове?

Раздался громкий смех. Гриша вскочил, бросился к двери, но Роман перехватил его и усадил рядом с собой.

— Не выйдет, Гришенька! — продолжала Таня. — Нету ее, спокойной. И чем дальше, тем более беспокойной будет. И знать надо больше. Вот у нас в институте профессор есть. Сергейчук Андрей Андреевич. Послушал бы ты, как он об организации труда рассказывает. Да об одном этом десятки книг написаны. А читал ты их? Нет! А без них и пастуха из тебя не выйдет. Нам, товарищи, Андрей Андреевич обещал: если наберется у нас человек тридцать заочников, к нам сюда в станицу преподаватели станут приезжать. И лекции читать, и консультировать будут.

Роман усмехнулся, посмотрел на Таню:

— А ты лучше расскажи, легко ли учиться. И как весеннюю сессию сдала.

Таня вспыхнула: сам уговаривал выступить, агитировать за учебу... Таня беспомощно оглянулась — вокруг ожидающие, сосредоточенные лица.

— Трудно, товарищи, — просто и искренне сказала Таня, — очень трудно. — Она увидела, что Сашка сжался и упорно смотрит в пол, знает, нелегко ей сейчас признаться. «Ничего, Саша!» И уже вслух Таня

произнесла: — Так трудно, что хвост у меня! Попросту говоря, схватила я по химии двойку. Зима, сами знаете, какая была, половину зимы на ферме ночевали, день в работе, к вечеру одна думка — спать поскорее, да в общежитии и условий заниматься нету.

— Условия виноваты, — посочувствовал Роман.

— Конечно, не условия. Осенью я больше старалась, день боялась пропустить, хоть час, да позанимаюсь, ну, и сдала. А тут день пропустила, два, потом неделю. Думаю, на сессии наверстаю. Подошла сессия, тут и лекции и зачеты — дохнуть некогда. Ну, что полегче я сдала, а химию штурмовщиной не возьмешь.

Роман слушал сочувственно, склонив голову к плечу, и эта поза вдруг обозлила Таню.

— Ну и что? Из-за того, что я химии не сдала, остальным не учиться? Расхнычемся: ах, трудно, ах, невозможно! Нет, трудно, но возможно. И я теперь на своем горьком опыте учена стала.

— Ученая с хвостом! — засмеялся Гриша.

— Ладно тебе! — отмахнулась Таня. — Сдам я химию. А ты, Роман, скажи, твоя жинка будет учиться или нет?

— У Гали свой язык, своя воля.

— Галя! — повернулась к подруге Таня.

Пополневшая Галя неуверенно поднялась:

— Еще чего! Восемь классов кончила. Хозяйство у меня.

— Так, — тихо, словно про себя, сказал Роман, — значит, все вперед пойдут, а Галя останется.

Галя вскинула на него большие, сразу налившиеся слезами глаза. Хотелось крикнуть: «Ведь знаешь, что ребенка жду. Твоего. Или не мила стала? Ну и искал бы себе образованных». Задрожали губы.

Роман уже невольно ругал себя за необдуманные слова: «Не мог дома с женой поговорить!» — но выручила Анна Максимовна.

— Не враг она себе, — уверенно и ласково сказала она, — все станут учиться, и она станет. Расшумелись вы, а надо попросту: организовать с осени классы, тай годи. А нам с тобой, Иван Гордеич, надо подумать, как условия для учебы, для культурной жизни создать, избавиться от домашних забот, облегчить труд на ферме, чтобы не целый день доярка здесь крутилась.

«Умница ты,— думал Иван Гордеевич,— о главном заговорила. Хорошим бы секретарем была...»

Возвращались домой поздно. Высокие весенние звезды сверкали в темном небе, чуть веял ветер, теплый, напоенный дыханием весны.

— Ну, как решила? — спросил Иван Гордеевич у дочери, пряча за безразличным тоном глубокое волнение.

— Готовиться буду. В мясо-молочный,— негромко сказала Настя.

→ Очно?

— Нет, как все.

Он шел и думал: хорошо, что рядом с ним шагает его дочь. Думал, что и ему бы стоило тряхнуть стариной. В институт он, пожалуй, не поступит, а учиться станет.

Около дома он остановился.

— Ты чего? — спросила Настя.

Он стоял прислушиваясь. Внизу, в конце улицы, ворчала многоводная река.

— Весенняя Кубань шумит,— сказал Иван Гордеевич.

Над Кубанью стояли и Таня с Алешей. Шли с собрания вместе с Сашкой, но исчез хитрый парнишка в нужную для Алеши минуту.

Не зря Алеша привел сюда Таню: ему казалось, что бурливые воды реки помогут ему раскрыть Тане, как он любит ее, что союзником его станет даже воздух, напоенный зовущими ароматами наступающей весны, что весенние звезды заглянут Тане в душу, растопят ледок, станет он по-весеннему прозрачным и хрупким. Мог Алеша стихи писать, мог хранить в своем сердце память о лесном ландыше, похожем на чистые девичьи слезы, о лиловом глазке фиалки, о шире полей, глубине звездного неба, мог переплавить их в слова, неожиданные для самого. А слов для объяснения с Таней не находил. Наконец решился, как в воду бросился:

— Ну, в общем-то, довольно! Решай! Люблю я тебя.

— Нет, Алеша,— ответила ему Таня,— ничего у нас с тобой не выйдет. Не хочу я тебя, Алеша, обижать. Я тебя люблю, но как братишку, как товарища. А ты другой, настоящей любви стоишь.



— Живут же люди, привыкают,— схватился Алеша за соломинку.— Может, и ты бы привыкла.

— Не хочу я так, Алеша. Лучше одна на всю жизнь останусь, а «привыкать» к человеку не хочу.

— Да почему? — допытывался Алеша.— Что я, дурак или пьяница какой?

Этот наивный довод просто убил Таню: небольшими же достоинствами должен, по-Алешиному, обладать человек, которого любят. Выходит, не дурак и не пьяница, и уже можно любить. Но она не стала вступать с Алешей в споры, не до того ей сейчас.

— Ты хороший,— сказала она,— но ведь не за это любят.

— А за что? — спросил он.

— Не знаю... Наверное, за то, что единственный, что жить без него нельзя.

Алеша стоял перед ней такой расстроенный, обиженный, и захотелось его утешить:

— Алеша, ты мне поверь: полюбит тебя девушка. Хорошая, красивая. Станет думать о тебе день и ночь, каждое слово твое ловить. И ты для нее будешь лучше всех, умнее всех. И только ты будешь ей нужен.

— Тоже мне гадалка нашлась! Как маленького утешаешь! Я у тебя с Сашкой на одной линии.

Алеша был недалеко от истины. Может, неправда она: у самой счастья нет, так хоть Алеше его дать? Но нет! Не может так Таня.

А Кубань неподкупно и сурово шумела в темноте, словно хотела сказать Тане: «Не пущу я весенние воды мои в тихий залив. Не дам им подернуться ряской, покачу их по своему пути в далекое море».

## Глава VIII

### О ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Ребятишки везде одинаковые. Если есть лужа, то обязательно в нее надо забраться и красными, перемерзшими руками пускать по ней какие-то щепки и палки, воображая, что по синему морю в дальние края плывут пароходы.

Давно промокли ноги, давно сводит пальцы, побе-

жать бы домой согреться, но не хочется уходить с улицы навстречу материнскому крику: «И где ты так изгваздался, горюшко мое!» Мать нарядила Мишутку в новое серое пальто, коричневые ботинки.

— Постой, сынок, на солнышке, я сейчас управлюсь, и пойдем, да смотри в грязь не лезь!

Кто же виноват, что мать долго не шла? Мишутка целых три минуты героически выдерживал материнский наказ, а на четвертой был в луже. На воде играла рябь от ветра, бежали солнечные зайчики. Разве тут устоишь от соблазна! Хлыстиком бил по воде, разбегались вокруг золотистые круги. Впрочем, опомнился Мишутка вовремя: когда мать вышла, он уже чинно стоял у стенки, только блеск глаз выдавал, что время без нее он провел совсем не плохо. Но не заметила Варя этого блеска глаз, и, уж конечно, в голову ей не пришло, что плохой защитой в глубокой луже служат галошки и в ботинках у сына хлюпает вода. Не до того ей было: торопилась в церковь. Служба сейчас в церкви торжественная. Скоро пасха. На паперти остановилась, сняла с сына шапку.

— Не учуди опять чего,— предупредила она.

Мальчик, наученный горьким опытом, не порывался больше петь в церкви «По долинам и по взгорьям», но стоять неподвижно целые часы было надоедливо и скучно. Непонятные слова, бормотание... И по сторонам надоест смотреть. На стенах темные доски — еле разглядишь на них лица. Под ними горят свечи. Иногда выйдет дядька в черном платье с белым крестом на спине, помашет коробочкой на цепочке — всё станет веселее.

Стоять надо неподвижно: мама говорит, боженька рассердится, накажет. Непонятный боженька интересовал Мишутку. «Где он?» — спрашивал мальчик. «На небе», — отвечала мать. «Он на самолете летает, да? — допытывался Мишутка. — Он летчик, мама? Да?» Мать сердится и, сгорая на руку, отвечает шлепком. Мишутка сердито сопит. Сашка говорит, что никакого боженьки нету. Летчики есть, а боженьки нету. Ну, и не надо боженьки.

В узкое церковное окно падает солнечный луч. Как здесь холодно, а на дворе солнышко, можно бегать, играть. И есть хочется. Сегодня мать даже молока не дала, говорит, после церкви сегодня кушать надо.

— Мам, пойдем домой,— дергает Мишутка мать за пальто,— молока хочу.

Мать сердито наклоняется к нему.

— Я вот тебе пойду,— шепчет она.— А боженька-то! Стоишь и стой себе смирно.

Мишутка пробует стоять смирно, но все холоднее становится ему. От каменных плит пола коченеют промокшие ноги. На глазах у мальчика показываются слезы.

— Мама,— хнычет он,— домой, холодно мне.

— Неслух-то еще,— опять наклоняется к нему Варя.— Говорю, стой смирно. По улице гонять целый день ему не холодно, а в церкви постоять не можешь. Ты же сегодня у нас причащаться будешь. Тебе батюшка сладенького даст с золотой ложечки.

Мать вся отдалась молитве. Все чаще опускается она на колени. Молится о муже, голос которого доносится с клироса, о Мишутке, чтобы даровал ему бог счастливую жизнь. На глазах у нее слезы. Хорошо-то как! Спокойно. Исповедались Варя и Кузьма, оставили за плечами все грехи, сегодня причастятся. Теперь с чистой душой и пасху святую можно встретить.

На амвон выходит священник со святыми дарами, над церковью стелется низкий возглас: «Со страхом божием и верою приступите». Варя подхватывает сына на руки и только тут замечает, как он дрожит.

Бородатое лицо священника с красным носом приближается к мальчику. Мишутке становится страшно, вспоминается Карабас-Барабас, про которого читал Саша. Мальчик готов закричать, но священник протягивает ложечку.

— Открой ротик,— просит мать,— открой, Мишенька.

— Причащается раб божий...— торопливой скороговоркой рвется из краснотубого бородатого рта.

— Михаил,— подсказывает мать.

— Михаил...— повторяет священник.

Потом они с матерью запивают причастие теплой сладкой водой, от нее тоже чуть пахнет вином.

Варвара смотрит на мужа, который подходит к причастию. Лицо у Кузьмы торжественное, благостное. Вчера получил он отпущение грехов.

Дома Миша выпивает стакан молока, а вечером проваливается в какую-то жаркую, зыбкую мглу. В ней

смешалось все — и сияющие круги на воде, и красный бородатый рот священника, кажется готовый проглотить его...

Утром мальчик мечется по кровати, он раскрывает глаза, они кажутся огромными, глазами взрослого человека, в них бьется своя, не понятная никому бредовая жизнь. Он смотрит, но не узнает ни отца, ни мать, странные слова и обрывки фраз слетают с его губ.

«И по взгорьям... И по взгорьям...— твердит он.— Не летчик... боженька рассердится... А я ему как дам...»

Он зовет Сашу. Кузьма сам бежит за пасынком. Но мальчик не узнает и брата. Только пальцы его, как будто помогая затуманенному сознанию, судорожно нашли Сашину руку и цепко ухватились за нее.

Когда мальчик начинал метаться по кровати, Саша ровным, спокойным голосом рассказывал, как поправится Мишутка, как пойдут они вдвоем рыбачить.

Вряд ли слова достигали затуманенного сознания мальчика, но голос брата успокаивал его, он затихал, тяжело, прерывисто дыша. И Сашка говорил, изредка проглатывая комок слез, подкатившийся к горлу.

— Ну как, доктор? — тревожно спрашивал Кузьма.

— Сделаем, что возможно, но не скрою — положение очень серьезное.

— Сыночек...— рыдала Варя,— прости меня, сыночек! Как просил меня, ягодка моя: «Мама, мне холодно, мама!» — Она билась головой о стол.

Кузьма крепко стискивал ее плечи:

— Успокойся! Ну, успокойся. Значит, богу так угодно. Варя вскакивала.

— Богу! — Она озиралась по сторонам, словно готовая к битве с чем-то безликим и страшным, ставшим на ее пути...

Потом она опять начинала молиться одержимо, неистово. Кузьма, сцепив руки, зажав их между колен, неподвижно сидел около сына, побледневший, осунувшийся.

На третий день Мишутка пришел в себя, слабо улыбнулся Саше, скользнул взглядом по лицу матери и устремил его в окно, где виднелось высокое, синее небо. Взгляд мальчика был таким недетским, отрешенным от жизни, что Саше захотелось убежать на край света, только бы не видеть этих глаз, огромных и неподвижных.

И вдруг по слабому движению тонких пальцев, сжимавших ему руку, Саша понял, что нужен Мишутке, как никогда.

— Сыночка, пришел в себя, родненький,— запричитала тревожно и радостно мать.

— Слава богу, слава богу! — закрестился Кузьма.

«Разве они не видят, что он умирает?» — с ужасом подумал Саша.

Мишутка прошептал что-то совсем тихо, неслышно.

— Что, сыночек? — бросилась к нему мать.

Мишутка повторил чуть громче, взглянув на старшего брата:

— Про дивизию... спой...

И снова устремил глаза в окно. Огромные, темнеющие, они, казалось, вбирали в себя всю синеву неба.

Саша вздрогнул, потом осторожно подвел руку под плечи брата, обнимая его, и не запел, а негромко проговорил:

По долинам и по взгорьям  
Шла дивизия вперед...

Саша не спускал с него глаз. Но вот у мальчика дрогнули веки, губы, торопливо и странно пробежали по груди руки, и что-то ушло из глаз, ушло навсегда. Неподвижные, бездонные зрачки смотрели в бездонное синее небо.

И тогда Саша понял, что мальчик мертв.

...На тихом станичном кладбище появился еще один маленький черный холмик. С утра причитает над ним мать, угрюмо стоит, глядя на него, отец. Вечерами между покосившимися крестами и побеленными гробничками, между молодыми топольками пробирается сюда Саша. Он не плачет, он смотрит на маленький черный холмик, который навеки укрыл и улыбку и взгляд мальчика.

Сашка стискивает зубы, а в памяти — синие глаза, из которых уходит жизнь. Но Сашке недолго удастся побыть одному. Таня знает, где его искать. Они уходят вдвоем, идут молча, спускаются к реке. Шумит, шумит Кубань... Катит свои воды с высоких гор в дальнее море. Шумит, тревожа и успокаивая. Закат играет над рекой, кипят над ней алые облака, и на воду ложится алый ответ.

Смерть Миши, первая смерть, которую Саша увидел вблизи, потрясла его. В душе возник вопрос: если жизнь, моя жизнь в любой момент может оборваться и ничто не изменится в мире — так же будет пылить дорога, зеленеть степь, так же будет шуметь река, — то стоит ли тогда жить? Люди обречены на смерть. Одни уйдут раньше, другие позже, но уйдут все... Весенний гром, играя и перекатываясь, пронесся по небу сто лет назад, тогда жили другие люди, которых сейчас и в помине нет. Когда-нибудь настанет день, опять гроыхнет в полную силу гром, хлынет на землю дождь, помолодеет степь, а его, Сашки, не будет на свете.

Все в нем протестовало, каждая кровинка кричала: «Жить, жить хочу! Хочу, чтобы я был всегда, как небо, как земля. Всегда». Он перестал думать о жизни, думал только о том, что она кончится. Все равно, какая она будет — счастливая или несчастная, — она кончится. Безвестным ли он будет или нет — она кончится...

Цвели сады, прекрасные в бело-розовом наряде; яблоньки словно легкое облачко накиннули на плечи; тесно от цвета было на старых грушах; легкие, счастливые, сами изумляясь красоте своей, стояли в садах вишневые деревца. А Сашка проходил мимо них, и ничто в душе не отзывалось на красоту окружавшего его мира, скорее, наоборот, он ненавидел эту красоту за то, что она была, есть и будет, а он есть только сейчас и когда-то, совсем недавно, не был, и когда-то, может быть, очень скоро, перестанет быть.

Таня видела, неладное творится с Сашей. И решила с ним поговорить. Не очень охотно, словно жалея, что и ее приобщает к своим сомнениям, поделился он с ней своими мыслями.

— Как — незачем жить? — оторопела Таня.

— А зачем? — равнодушно спросил Сашка.

И даже не вопрос, а сам тон его еще больше встревожил Таню. Зачем жить? Да потому, что это хорошо! Радостно... И жить и работать!

Таня никогда не задумывалась над этим: жизнь, пусть трудная, пусть подчас горькая, никогда не казалась ей непереносимой. Поэтому ей нелегко было ответить на Сашкин вопрос. Она искала нужных слов и не находила их.

Они шли берегом реки.

— Слушай, — сказала она, чувствуя, как распахнута

ее душа навстречу окружающему миру.— Ты слышишь, Сашок?

— Ну, река шумит,— равнодушно сказал он.

— Ты лучше слушай,— почти с отчаянием сказала она.

— Ветер... в тальнике пробежал.

— Еще слушай.— Она готова была заплакать.

Сашка молчал. Заговорила она тихо, словно во сне.

— А вот камыш зашуршал, и рыба плеснула... И где-то вдали в степи работает трактор, и еще... трава растет, и почки на деревьях лопаются.

— Этого не услышишь,— нетерпеливо возразил Саша.

— Захочешь — услышишь.

Ему и вправду показалось, что мир вокруг полон особого звучания.

Поднявшаяся над горизонтом луна уже бросила на воду дрожашую серебряную дорожку. Где-то чуть ниже поили лошадей, она шумно втягивала воду, отфыркивалась, капли срывались с ее губ и гулко падали назад в речку. Стремительно прочертила воздух летучая мышь.

Таня села на траву, обрывая травинки. Сашка опустился рядом.

Таня повернулась к нему, Сашка заметил в ее глазах слезы.

— Зачем жить? — Она говорила торопливо, словно боясь того сокровенного, что надо сказать, и боясь, что для этого сокровенного мало обычных слов.— Ты говоришь: «Они будут всегда — река, вечер, звезды... Они всегда, а мы — короткий час». Но ведь живем мы, а не они! Ты пойми это. Река течет, и все... А мы видим ее, слышим, мы думаем о ней. Что у нее есть? Сила и быстрота. Да и то не от нее. От уклона почвы, что ли. А мы? Мы можем хотеть. Можем стремиться. Можем действовать. Мы живем, а не они. Они существуют. Солнце светит — и все, и не знает, нужно или нет это людям. Не может прибавить или убавить силы своим лучам. Ни жалеть, ни любить не может. Ты понимаешь... А мы можем все. Жить — это... — Она не договорила; Сашка сам должен понять, что жить — это хотеть, сметь, действовать, чувствовать. Жить — это любить людей и жизнь.

Сашка слушал ее. Таня радовалась, что непосильное

для пятнадцати лет равнодушие Сашки отступает, рассыпается в прах.

— А на войне... Представь, что на войне солдаты бы тоже решили, что жить не стоит, и перестали бороться за победу. Нет, ты подумай только! Твой отец погиб. Но погиб за жизнь. За твою и мою... За Родину погиб. Значит, и смерть разная. А жизнь тем более...

— Таня,— перебил ее Сашка,— а дедушка погиб на фронте?

— Дедушка? Нет. Он партизаном был. Расстреляли твоего деда подлые полицаи и бросили в степной колодец.

— Здесь?

— Нет. В соседнем районе. Хутор там есть такой. Медвяный называется.— Она замолчала.

Молчал и Саша. Ему казалось, смерть подкрадывается к покорному человеку, сломленному болезнью или старостью. Но есть смерть на войне. Смерть — подвиг. И права Таня, жизнь тоже есть всякая. Такая, как была у отца и деда, и такая, как у Кузьмы. Жизнь слизняка. А слизняка ли? И вдруг Саша вспомнил...

— Таня! — Он заговорил хрипловато, весь напрягшись, словно здесь, над рекой, могли раздаться тихие, неслышные шаги Кузьмы.— Таня, у Кузьмы золото есть. Много... Мишутка пить захотел, я тихонько в соседнюю комнату — воды принести, а Кузьма как вскрикнет и на стол грудью упал. А на столе, Таня, кольца, часы и еще...— озноб передернул его плечи,— а еще... зубы, Таня.

Таня ахнула.

— Я воды взял и опять к Мишутке пошел, слышу, он зовет. Захожу. На столе ничего. Кузьма сидит, усмехается криво так. Знаешь?

Таня кивнула головой.

— Спрашивает: «Видел?» Говорю: «Видел». Он встал, подошел ко мне, тихо так говорит: «И забудь... если живым хочешь быть».

Им вспомнилось все: и два стремительных переезда Кузьмы, и ночные крики его, а, пожалуй, больше всего глаза. Налитые кровью глаза... Даже то, как моет Кузьма руки, долго, тщательно оглядывая пальцы и ногти. «Словно от крови отмывает»,— вздрогнул вдруг Саша.



— Что делать, Таня? Может, пойдем прямо спросим: «Откуда?»

— Так он тебе и скажет!

— Тогда что же делать?

— Сказать надо, Сашок,— твердо сказала Таня.

— А мама как же?

— Мать знает? — спросила Таня и сейчас же поняла: знает,— у Федора часы появились золотые. Зинаида сказала, что у Вари купили.

Сашка сидел, обхватив руками колени, глядя на лунную дорожку в воде.

— Выходит, знает, если продает,— сурово сказал он.

— Может, с ней поговорим?

— Зачем? — Сашка устало повел плечами.— Таня, он вор?

— Умные люди разберутся, Саша,— мягко ответила Таня,— а молчать нам нельзя.

Утром Таня и Сашка были у Ивана Гордеевича. Он внимательно выслушал их тревожную, сбивчивую речь.

— А не помстилось тебе, Александр? — спросил он.

Арестовали Кузьму ночью. Варя плакала, проклинала весь белый свет. Тут же составили акт: брошки, часы, кольца, а главное — золотые коронки россыпью лежали на столе.

— Откуда? — коротко спросили Кузьму.

Кузьма молчал, криво усмехаясь.

Варя заголосила:

— Чего молчишь! Чего не скажешь! Нашел же он это, товарищ начальник. Война была. Так целым узелком и нашел в лесу. Не отказываться же было! Кузя, да скажи ты им правду!

В голосе ее было столько искренности, что все поняли: много объяснения Варвара не знала.

А скоро по станице поползли слухи, сначала робкие, потом все более уверенные, что в крае будет суд над группой немецких полицаев. Одним из них и оказался Кузьма Погребняков.

Варя долго не верила слухам, но в станице узнавали новые и новые подробности, вызвали на допрос и ее.

Вернулась она из города притихшая, оглушенная тем, что узнала. И только на могиле Мишутки голосила по-прежнему громко.



...спотыкаясь, бежал он по кладбищу, а голос женщины  
все настигал его...

Здесь, на могиле сына, и застал ее как-то проходивший по кладбищу священник.

— Может, панихидку отслужим по усопшему младенцу? — с готовностью спросил он. — И тебе, Варвара, легче будет, и его чистой душеньке радостнее.

— Панихидку? — словно в раздумье, переспросила Варвара.

При взгляде на священника сразу припомнилось ей то апрельское утро: «Причащается раб божий...» В ушах снова прозвучал голосок: «Мама, пойдем домой! Холодно, мама!» — а вслед за этим в памяти встал благостный и торжественный Кузьма, подходящий к причастию, оставивший на исповеди все свои грехи.

Священник еще что-то говорил, но она не слышала, смотрела на его бородатое лицо, взглянула прямо в глаза и увидела, что зрачки его беспокойно забегали.

— Батюшка! — спросила она с расстановкой. — Значит, полицаев тоже причащают? И убийства им отпускаете вашей властью?

Священник махнул рукой, повернулся, заторопился уйти, но она преградила ему дорогу:

— Батюшка... — Казалось, она только сейчас поняла весь ужас того, что готовилась сказать. — А ведь вы... Ведь ты, поп, грехи-то отпустил... полицаю. Каялся же он тебе в грехах! Ты же знал, поп?! Знал?!

Огромный, черный, спотыкаясь, бежал он по кладбищу, а голос женщины все настигал его:

— Знал! Знал!

## Глава IX

### В КОЛХОЗЕ «РАССВЕТ» ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВОЕ ЛИЦО

На дворе фермы оживление: привезли черепицу, целый штабель ее лежит у коровника. Каменщики закончили свою работу, теперь здесь хозяйничают плотники, штукатуры, кровельщики. Пахнет свежим тесом, сосновой стружкой. Наконец-то в колхозе «Рассвет» строят новую ферму! Да какую — по всем правилам!

За телятником уже подготовлено место для силосных траншей. Не одну, не две — четыре траншеи наметили заложить. Многому научила прошедшая суровая зима.

И культстан для работников фермы — каменный дом с верандой, с красным уголком, спальнями, кухней, душевой. Близок день, когда войдут доярки в новый дом и, сидя у телевизора — да, да, на все животноводческие фермы Иван Гордеевич обещал поставить телевизоры — или слушая радио, вспомнят прошлую зиму и покосившуюся холодную хибарку со снегом на окнах.

Анна Максимовна почти не уходила с фермы. Таня и Коля помогали ей наблюдать за ходом стройки и, если уж по чести сказать, изрядно надоели строителям.

Серафим Степанович Кожедуб, человек бывалый, понаторевший в делах бригадир строителей, пытался отделаться от «опекунов»:

— Вы вроде бы заказчики, а мы вроде бы строительный трест. Ну, мы, значит, строим. А ваше дело такое — ждать. Кончим — тогда, пожалуйста, принимайте. Что не так — обскажете.

— Тогда поздно будет «обсказывать», — подхватывала Таня. — Мы уж сейчас. Вот рамы-то из сырого леса.

— И скажи, — жаловался Кожедуб, — откуда такая взялась! Все не по ей. Да кто здесь строители, мы или вы?

— Вы, — успокаивала Таня, — только строите вы для нас.

Приходилось прибегать и к помощи Ивана Гордеевича: то торопить с присылкой рабочих, то с подвозом строительных материалов. Анна Максимовна нередко посылала вместо себя Таню. Таня научилась от Ивана Гордеевича не отступать, не уладив всех требований фермы.

— Мы тебя, Татьяна, — посмеивался Иван Гордеевич, — скоро в край полномочным колхозным представителем посылать будем.

Ивана Гордеевича в правлении не было. Только в бухгалтерии горел свет. Таня заглянула туда. Новый бухгалтер колхоза, Лозовой, даже головы не поднял. Смуглое лицо его было опущено, волосы упали на лоб. Пальцы правой руки, вместо того чтобы, как полагалось порядочному бухгалтеру, виртуозно перекидывать косточки на счетах, отбивали какой-то мотив на лежащей перед ним ведомости.

Тане вдруг стало досадно: подумаешь, какой

важный — и не замечает никого. Человек пришел, а ему и дела нет.

— Иван Гордеич где? — грубовато спросила она. Лозовой поднял голову.

— Здравствуйте,— спокойно сказал он.

— Здравствуйте,— смутилась Таня.

— Иван Гордеич домой ушел. А что, у вас очень срочное дело?

— Срочное! Штукатуров перебросили с фермы на больницу! Сегодня штукатуров перебросят, завтра плотников...— Тане показалось, что перед ней один из виновников задержки строительства: сидит себе, считает, а на живое дело ему наплевать.

— Существует общий план и лица, которые его контролируют,— спокойно сказал Лозовой.

— Вам хорошо говорить,— резко сказала она.— Сидите себе в бухгалтерии, бумажки строчите,— она с удовольствием отметила, что Лозового задела ее слова,— а две сотни коров друг о друга прошлую зиму боками терлись, аж шкура облезла.

Лозовой внимательно посмотрел на нее.

— Так... Фантазия у вас с полетом! Значит, вы с третьей фермы? Мы еще с вами не знакомы.— Он протянул руку.— Артем Петрович Лозовой.

— Таня... Татьяна Лагутина,— сейчас же поправилась она, подавая руку.

— Заведующая фермой?

— Доярка.

— А-а,— сказал он с каким-то неопределенным выражением, которое Таня расшифровала как укор: чего же ты, дескать, лезешь.

— Я бы вашей заведующей прямо сказал,— он нахмурился,— что так не хозяйничают.

Таня вспыхнула, но сдержалась, хотя ее раздражал самоуверенный тон Лозового, округлые, законченные обороты его речи.

— А не считаете ли вы,— прищурилась Таня,— что слишком рано делаете выводы?

Он внимательно посмотрел на нее:

— А вы знаете, сколько стоит строительство?

— Нет,— Тане вдруг захотелось созорничать,— об этом пусть у правления голова болит, мое дело коров доить.

Все наружное спокойствие вдруг слетело с ее собеседника, он даже руками замахал, а лицо его стало гневным.

— И не стыдно вам! Наверно, комсомолка? Школу кончили.

— Да, да! И на второй курс института перешла!

— Еще хуже! Значит, «дело правления»? А у вас за каждый рубль «голова не болит»? — Он схватил какие-то бумаги и, потрясая ими перед лицом Тани, сыпал цифрами.

«Сумасшедший! — невольно мелькнуло у Тани в голове. — Ну, и добыл где-то Иван Гердеич помощника».

— Ферму строят, не думают, как дешевле, а лишь бы с размахом, — продолжал бухгалтер, — а когда и чем эти коровьи дворцы окупятся? К сожалению, там, где сделано восемьдесят процентов затрат, придется сделать и остальные.

— По-вашему, культурно хозяйничать — это деньги на ветер швырять? — возмутилась Таня. — Надо сначала вообще знать, что такое ферма и хозяйство, это не всегда из канцелярий видно.

— А по-вашему, коров рыбьим жиром будем поить?

— Понадобится, и будем!.. — отрезала Таня.

Лозовой сцепил пальцы рук, словно заставляя себя этим жестом успокоиться.

— Вы знаете, что такое себестоимость? — внезапно спросил он Таню.

Еще что! Будет он ее допрашивать, экзаменатор какой нашелся!

А он уже говорил ей ровным, поучительным тоном:

— Сумма всех затрат — расходов — на производство единицы продукции в денежном выражении называется себестоимостью. Она складывается из...

— Знаете что? — дерзко перебила его Таня. — Я что-то сегодня не расположена лекции слушать. И потом... мое дело работать. Вот! В бухгалтеры я не собираюсь...

Она легко сбежала с крылечка, очень довольная, что последнее слово осталось за ней. Стоит сейчас Лозовой посреди комнаты дурак дураком. Представив это, Таня пришла в очень веселое настроение.

Лозовой появился в колхозе недавно.

Как-то после очередного пленума крайкома Иван Гордеевич поехал в соседний район. Много интересного услышал он на пленуме о новшествах в колхозе «Правда»: девушка-свинарка рассказывала, что одна управляется со стадом в четыреста голов, овладела вождением трактора, сама подвозит корма, убирает.

Посмотрел Иван Гордеевич и задумался. Действительно, свиноводство — дело выгодное, свинья и растет быстро, и приплод большой дает,— вот они, резервы выполнения плана по мясу. А себестоимость килограмма свинины у соседей ниже трех рублей. Этак колхозы могут дешевым мясом рынок завалить. С такими не пропадешь! Одно делают, а на другое замахиваются. Невольно сравнивал со своим народом, успокаивался: и в колхозе «Рассвет» есть надежный народ.

Обмолвился Иван Гордеевич председателю «Правды», что бухгалтер ему нужен.

Старый бухгалтер колхоза уже с полгода требовал замены: не по силам работа стала, да и сын, капитан дальнего плавания, давно уговаривал перебраться к нему.

— Хочешь, я тебе подарок сделаю?— усмехнувшись, спросил хозяин.— Нашего бухгалтера порекомендую, ему здесь оставаться нельзя.

— Проворовался, что ли? — подозрительно осведомился Иван Гордеевич.

— Да что ты!— обиделся хозяин.— Я бы никогда его не отпустил, да приходится. С тоски человек сгинет. Горе он большое перенес. Остался вдвоем с дочкой. Сам не свой ходит... А работник замечательный. Ты уж мне поверь. Опытный.

— Лет двадцать стажа есть?

— Четвертый год работает.

— Я думал, ты серьезно,— обиделся, в свою очередь, Иван Гордеевич.— У нас же все-таки хозяйство кое-какое есть. Ну, и доходишко тоже... миллиончиков на двадцать.

— У нас доход — шестнадцать. А если по-честному прикинуть, четыре из них он заработал. Да никогда бы я с ним не расстался по своей воле, только он все равно уйдет. «Не могу, говорит, здесь оставаться». Вот посмотришь, меня добром помянешь, хотя...— он за-

мялся,— человек он с перчинкой, да и крепкой. От него и тошно подчас бывает, скрывать не хочу.

Иван Гордеевич в тот же день познакомился с Лозовым.

Перед ним стоял молодой человек. Иван Гордеевич уже знал, что ему двадцать семь лет, но на вид он казался старше. Старили его не то слишком густые брови, не то слишком сомкнутые губы, а скорее, выражение горечи, лежащее на его смуглом лице и особенно сквозившее в его выразительных карих глазах.

Широкоплечий, ладный, словно перехваченный в талии, с сильными руками, он никак не был похож на бухгалтера. Скорее бы ему пошло быть офицером, геологом, металлургом — кем угодно, но только не канцелярским жителем. Может, именно его внешность и насторожила молодёжь в колхозе «Рассвет».

Впрочем, и Ивана Гордеевича насторожил первый разговор и манеры Лозового. Не отделаться ли хочет старый товарищ от ненужного ему человека?..

— Вас уже поставили в известность, что характер у меня не из легких? — вежливо спросил у Ивана Гордеевича Лозовой.

«Вот чертушка, и чего важничает: «Вас уже поставили в известность»! Говорит, словно пишет», — подумал Иван Гордеевич, но вслух дружелюбно произнес:

— Характерами как-нибудь сойдемся, не горюй.

— Буду искренне рад, — сказал Лозовой, но неожиданно в его глазах сверкнул холодок. С расстановкой он произнес: — Только давайте сразу договоримся: будет лучше, если вы меня станете называть на «вы».

«Да ты и вправду перец», — подумал Иван Гордеевич и даже головой покачал: не очень-то приятно иметь рядом с собой человека, натянутого как струна, с преувеличенным чувством собственного достоинства.

Но Лозовой стал расспрашивать его о колхозе. Из вопросов, направленных в точную цель, Ивану Гордеевичу стало ясно, что собеседник его из молодых, да ранних.

И вот Лозовой в колхозе. С первых же дней он и здесь озадачил Ивана Гордеевича. Он на полдня исчезал из бухгалтерии, оказывался в самых неожиданных местах, а вечером вносил предложения, которые заставляли крепко задумываться.



Это он предложил часть силосных траншей заложить не около ферм, а прямо на обочинах кукурузных полей, наземным способом.

— Никогда так не делали,— запротестовал Иван Гордеевич.

— Мы многого никогда не делали,— спокойно ответил Лозовой,— жизнь вперед идет.

Под карандашом Лозового тонны, гектары, километры — все приходило в движение и выражалось через рубли.

Ивана Гордеевича смущало, что новый бухгалтер не старался завоевать расположение колхозников, не находил нужным поболтать или пошутить с человеком, был очень жестким, не шел на компромиссы. Он потребовал, чтобы бригадира третьей бригады Дормидонтова оштрафовали на сто трудодней. Такого в истории колхоза еще не бывало.

— Дормидонтов начисляет трудодни своему зятю за появление по утрам в бригаде. Баянисту, который играл на свадьбе его сестры, он начислил тридцать трудодней. Принимаем известные факты за пятьдесят процентов. Значит, разбазарено сто трудодней. Их необходимо восстановить из трудодней Дормидонтова,— сухо вато докладывал Лозовой.

Иван Гордеевич не согласился. Лозовой выступил на правлении. Дормидонтов кричал, насканивая на бухгалтера; главным доводом было, что он и сам в председателях ходил и не даст какому-то мальчишке себя подсиживать. На правлении выругали Дормидонтова, но штрафовать не стали.

Тогда Лозовой отправил письмо в райком, копию его показал председателю. Все было правильно, коммунист, не согласный с решением, писал в райком, но Иван Гордеевич привык действовать по-домашнему и не любил, когда выносили сор из избы.

— Смотрите, Артем Петрович,— предупредил, поморщившись, Герасименко,— не будут вас колхозники любить.

— А я не ставлю своей целью добиваться любви,— вспыхнул Лозовой.

Но на свете было существо, которое он любил глубоко и нежно. И с этим существом как-то столкнулась Таня.

Она пришла к Зинаиде днем в воскресенье и вдруг, к удивлению своему, увидела за столом девчушку лет трех.

— Смотри,— сказала Зинаида,— какие гарные девчата на свете живут.

Черноголовая, курчавая девочка глядела исподлобья, но не боязливо, а, скорее, готовая дать отпор, если понадобится.

— Как же тебя зовут? — спросила Таня, похлопывая малышку по смуглой и пухлой ручонке.

— Су... Сурок,— тихо ответила девочка, но ручонку на всякий случай торопливо отняла и даже заложила за спину.

— Как? — оторопела Таня.

Зинаида засмеялась:

— Оля... Олей ее зовут. А Сурком ее отец называет. Он ей такую песню поет. Из-за песни и зовет.

— И потому что сплю,— уточнила девочка.— Сурки, они спят.

Таня подхватила ее на руки, подбросила вверх. Оля не испугалась и не обрадовалась, но, оказавшись поближе к полу, сейчас же выскользнула из Таниных рук.

— Домой я пойду,— заявила она.

— Домой нельзя. Папа на работе, а бабушка Мариша в кино пошла. Возьми мячик и поиграй во дворе.

Девочка вышла, но мячик сейчас же был забыт — занялась божьей коровкой.

Присев на корточки, оживленными, черными глазенками она следила за ее путешествием.

— Ты полетишь? — спрашивала она.— Давай лети!

— Чья? — спросила Таня.

— Бухгалтера колхозного,— ответила Зинаида, перемывая чашки.— Он у нас в соседях живет. У Марьянихи на квартире. Марьяниха им и готовит и присматривает. Девчонка-то хорошая, а отец ровно нелюдь. Марьяниха-то и так и этак до него, а он все молчака. Молчит и на скрипке пиликает. Ну, а с Ольгунькой ласковый...

— Славная девочка!

— Славная,— каким-то странным тоном сказала Зинаида это слово; глаза у нее внезапно налились слезами.

— Да ты что? Что с тобой, Зина? — встревожилась Таня.

Та плакала, уронив голову на руки.

— Ты думаешь, я что, совсем бессердечная, — выдала Зинаида младшей сестре свое застарелое горе. — Который год мучаюсь, томлюся. Мне бы деточек, Таня. А то живу как верба в поле. Ни затопчет кто в хате, ни приласкается, ни нашкодит. На днях слышу, Филипповна кричит на своих: «Чтоб вы посдыхали, босяки, оглоеды!» А я пришла домой и ну реветь: был бы у меня дитенок — ветерку бы не дала на него пахнуть.

Зинаида говорила торопливо, сердце словно само выталкивало слова признания. Вот оно, у Зинаиды горе какое скрытое. А Таня и не подозревала. Казалось, живет Зинаида размеренной жизнью, вся ушла в заботы о хозяйстве.

— Вот и живем хорошо с Федором. Дружно и с достатком. — Зинаида с ненавистью ткнула в сторону дивана и приемника. — А кому радость? Мне бы ребят ласкать да холить, а я вместо того кабанчикам бока чешу: «Вася, Васенька!» Тьфу!

Вот о чем тоскует Зинаида. Одна... Как верба при дороге.

— Ну, а ты чего ждешь? — почти сердито сказала Зинаида. — Какого такого Ивана-царевича? Смотри, чтобы не плакаться потом. Годы-то идут, не стоят на месте...

В комнату вбежала девочка. Зинаида прижала ее к груди, глаза снова налили слезами.

## Глава X

### ТЕБЕ И ВСЕМ ЖИВЫМ...

Второй день в городе шел суд. Перед клубом, прямо на улице и напротив, в парке, были установлены репродукторы. Вокруг них часами стояли толпы народа. Печальными и серьезными были лица, гневными глаза. В памяти вставали недавние страшные годы войны. Нет семьи, которую бы не задела она черным крылом своим, нет человека, у которого бы не было горьких и тяжких воспоминаний, не ослабевших с годами, только

отодвинулись они куда-то в глубь сознания, а сейчас опять всколыхнулись со всей болью утрат.

...Шесть человек, ненавистных всем, сидели слева от сцены. Среди них во втором ряду у стены — Кузьма. Он словно сбросил ту ханжескую маску благолепия и кротости, которую носил столько лет. Казалось, он сделал это с облегчением и сейчас сидел с обнаженной для всех душой изменника и убийцы. Он бодро поднимался всякий раз, когда председатель обращался к нему с вопросом, отвечал в полный голос, подтверждая показания свидетелей, не заискивал перед судом, не старался что-то скрыть, вероятно, понимал, что это бесполезно. Он даже улыбался, обнажая желтые, кривые, крепкие зубы. Его развязный тон, кривая улыбка-grimаса делали еще более страшными и потрясающими его признания.

Среди шести сидел человек, который пел: «Дивны дела твои, господи». Отчим Сашки. Из-за него мрачным светом окрасилось Сашкино детство. С этим человеком Таня стояла однажды лицом к лицу, чувствуя, что он готов перегрызть ей горло.

Рядом с Кузьмой сидел Шварц — уголовник, из немецких колонистов, бывший глава полицаев, седой, с запавшими, наглыми глазами, топорными чертами лица, с сильными, звериными челюстями. Ближе к барьеру — Мугуй, самый молодой из подсудимых, низколобый, в черных очках.

Таня, приехавшая из станицы, чтобы присутствовать на суде, с ужасом вглядывалась в лица преступников. Словно в пропасть заглянула, в черную кровавую пропасть.

Желая вернуться в привычный ей солнечный, простой мир, она переводила глаза на лица молодых солдат, стоявших с винтовками у барьера. Какими чистыми и прекрасными казались ей эти юношеские напряженные лица!

Председательствовал седой генерал с усталым и мудрым лицом. Он был спокоен и неумолим. За ним стояли правда и право, жизнь и народ. На плечах его лежала суровая обязанность распутать все узлы, показать подлинное лицо врагов, восстановить для истории имена тех, кто погиб за Родину, раскрыть силу и красоту их подвига. Их надо было показать людям. Одних — во всем их позоре, других — во всем их величии.

В зале сидели рабочие и колхозники. Вот мелькнуло лицо профессора Сергейчука,— у него сын погиб в войну, совсем мальчиком.

Жгучее страдание испытывала Таня, слушая свидетелей, но оно делало ее мужественной и сильной.

На свидетельском месте плотная, грубоватая женщина, жена одного из подсудимых. Она говорит, не поднимая головы:

— Пришли они к нам втроем: Шварц, Погребняков и...— она запинается, не зная, как назвать мужа,— и Захар.

— Это кто? — уточняет председатель.

— Ну, Мугуй. Мугуй говорит: «Завтрак сготовь и умыться дай». Стала я им на руки сливать, а руки в крови... Ну, помылись. Погребняков еще рубаху дал замыть. Я ему рубаху дала... мужнину. Потом сели. Я им яишню поджарила. Самогонки выпили и похваляются. Погребняков говорит: «А хорошо, что я проверил, живые али нет, да прикладом добил». А я и спрашиваю: «Кого вы били-то?» А Погребняков говорит: «Уток мы били. Уток...— да как захохочет.— Восемь было, всех чисто прикончили...» А я обратно спрашиваю: «Чего ж вы их домой не принесли, охотники?» А Кузьма Погребняков обратно смеется: «Мы с их только перышки пощипали, а сами они нам ни к чему».

— У подсудимых есть вопросы к свидетельнице? — спрашивает председатель.— Правильно показывает свидетельница, Погребняков?— снова спрашивает генерал.

Кузьма вскакивает:

— Нет, неправильно! Не завтракали мы у них... Ужидали.

— А остальное... правильно?

— Остальное правильно.

— А что кровь смывали? И что шутили? И что восемь человек прикончили? — Генерал произносит каждое слово отдельно, с расстановкой, отчего наливается оно свинцовой тяжестью.

— Правильно,— подтверждает Кузьма.

По залу проходит глухой шум. Таня не понимает, почему так нагло, с таким вызовом держит себя Кузьма.

— На указ надеется! Думает, что не расстреляют,— доносится до нее чей-то шепот.

Жена полиция уже садится на место для свидетелей, и сразу просторно становится вокруг нее: кто отодвинулся, кто пересел, брезгливые взгляды людей скользят мимо нее.

У свидетельского стола учительница. Ей нет и тридцати, худенькая, бледная, с седой прядью волос, она говорит удивительно ровным голосом. То, о чем рассказывает она, рвется у нее из груди страдальческим воплем, но она заставляет себя говорить очень ровным голосом, и только паузы да тяжелые, судорожные движения ртом, словно ей не хватает воздуха, показывают, чего ей стоит вести свой рассказ.

— Утром сказали... расстреливать сегодня будут... У яра... Наша хата окнами на огороды выходила... К яру... Я к окну прижалась. Смотрю, кого поведут. Мне тринадцать лет было... А мать и сестру старшую... комсомолку... с неделю как забрали. Смотрю... ведут... двоих. Оба мужчины.

— А кто вел, вы видели? — бережно и ласково, зная, что каждым вопросом причиняет страдания, и зная, что иначе нельзя, спросил генерал.

— Видела. Шварц и Погребняков...— Она умолкла, словно потеряв нить рассказа. В зале царила тишина, и в этой тишине, как слабый, колеблемый ветром огонек, снова возник ее тихий голос: — Поставили их спиной к яме... и...— она судорожно глотнула воздух, — прицелились. Потом выстрелили... Не знаю, сколько времени прошло... Опять ведут... женщин... Думаю одно: только бы не маму, только бы не ее... Опять поставили...— Она снова глотнула воздух. — А я смотрю... С женщин пальто сорвали... Ну, и этих кончили. И так три раза. Потом смотрю... маму ведут. Она тоже учительницей была. И Надю ведут... Обоих... А я... смотрю...— Она умолкла.

— Мария Васильевна, вам тяжело говорить, — сказал председатель. — Вы можете прервать показания.

— Нет, я буду... должна... Расстреляли их обеих. Вот эти.— Она повернулась к подсудимым, и все в зале, как один человек, повернулись вслед за ней. — Меня соседи подняли без памяти... и спрятали. Боялись, что и меня убьют. Шварц говорил: «Надо так, чтобы и семени после замученных не оставалось... Чтобы мстить некому было». У Степаненко... шестеро детей было, председа-

теля колхоза нашего, их всех ночью порубили... Шварц с Погребняковым... Глашу прямо в люльке... Одна девочка шести лет, раненная, осталась, выжила, так ее через неделю Погребняков разыскал, вывел в поле. «Беги, говорит, в кукурузу». И по голове погладил; она побежала, а он в спину ей... Она ручонки раскинула и упала на траву...

— Это вы сами видели?

— Нет, колхозники рассказывали, а как хоронили ребятишек Степаненко, видела.

Вслед за ней выступает пожилая колхозница, почти старуха, рассказывает, как арестовали у нее мужа, колхозного бригадира, увезли в соседнее село, как поехала она ему харчей отвезть...

В рассказе ее, сбивчивом и путаном, огромное место занимает лошадь, которую ей одолжили соседи.

— Говорят: «Смотри, не ровен час, коняку бы у тебя не отобрали полицаи. Лошадь-то...» Ну, вернулась я, отдаю соседям лошадь. «Повидала Иваныча?» — спрашивают. Это Киселиха-то спрашивает. «Не допустили», — говорю, а Киселиха головой качает: «Как это ты не расстаралась?» — «Так лошадь-то, говорю я, тебе ж вернуть торопилась... Не отобрали бы». А через час... — Старуха словно преобразилась, она вскинула голову, и голос ее звучал по-иному, сильно и значительно, — часу, говорю, не прошло, до меня Федотыч заходит, он у мужа-то в бригаде пастухом был. «Забили его, говорит, плетьюми, говорит, забили. Старика твоего». — Все выше и выше становился ее голос, словно всходила она на гору, откуда все яснее было видно и горе ее, и прошлая жизнь с мужем. — Это Иваныча-то мово! Плетьюми!.. До смерти...

Рыдания оборвали ее рассказ, платок сполз с головы, белые волосы разметались по плечам. Ее увели из зала, вслед за ней торопливой походкой прошел врач.

— Погребняков, вы помните колхозного бригадира Николая Ивановича Голубенко, забитого плетьюми?

Кузьма встал, вскинул голову, злобно глянул в зал.

— Много их было, — сквозь зубы сказал он, — разве упомнишь?

Ахнул в ответ зал.

— Жена замученного бригадира Голубенко в тот же

вечер подожгла дом местного полиция и скрылась,— сурово и торжественно говорит генерал.

Новую свидетельницу то и дело прерывают аплодисменты. Это казачка, красавица, хоть и на возрасте. На груди у нее орден. Это она спасла группу партизан, а потом и сама ушла в партизаны.

— Свидетельница, за что вы награждены боевым орденом?

Но тут казачка становится немногоречивой.

— Это уж потом, в армии... Когда Берлин брали...

С любовью смотрит на нее Таня. «Есть женщины в русских селеньях...» — невольно вспоминается ей. В один облик сливаются и худенькая полуседающая учительница, и красавица казачка, и та скромная труженица, что даже в минуты огромного горя своего боялась, как бы не обездолить соседей. И она сумела отомстить врагам.

И перед лицом этих страдающих, любящих, честных и стойких женщин самой хотелось стать сильной и стойкой.

Новый свидетель дает показания. Игнат Сергеевич Ковалев. Он рассказывает, как со степных районов края стягивались в буруны партизаны, как помогали они Советской Армии, держали связь с родными селами и станицами, угоняли от врага скот, портили дороги, отбивали людей, выносили смертные приговоры полицаям и приводили их в исполнение.

Игната Сергеевича с двумя товарищами послали с заданием на хутор Медвяный.

Медвяный? Тот хутор, где погиб Танин отец. Может быть, Ковалев знает ее отца? Сражался вместе с ним?

Задание партизаны выполнили, но попали в руки врага. Долго пытали их полицайи Шварц и Погребняков, добивались имен, добивались дороги к отряду, но ни один из партизан не продал своей чести, не струсил. Измученных, залитых кровью, вывели их перед восходом солнца в степь.

Сжав руки, напряженно подавшись вперед, слушала Таня. Кто? Кто шагнул рядом с Ковалевым утренней росистой степью к смерти? Кто встретил ее лицом к лицу, не склонившись перед врагом? Кто?

Привели партизан к дальнему степному колодцу, поставили в шеренгу. Прозвучал залп... Полицайи сбро-



сили расстрелянных в колодец. Последним падал Ковалев. Он был еще жив. Колодец оказался почти пересохшим. Ковалев не знал этого и от страха потерял сознание. А когда пришел в себя, новый ужас сжал сердце: сейчас посыплется сверху земля. Товарищи его мертвы, а его засыпят живого. Такие колодцы становятся могилой... Но минуты шли, а наверху было тихо. И сейчас Игнат Сергеевич не знает, почему палачи не засыпали колодца... Выбрался из колодца он ночью.

Кому же стал могилой далекий степной колодец у хутора Медвяного? Кому? Кровь била Тане в виски. В тишине зала прозвучал вопрос председателя:

— Вы знаете имена партизан, расстрелянных вместе с вами?

Таня, не отрываясь, смотрела на партизана.

Сейчас он скажет: «Не знаю»...

Сейчас он скажет...

Сейчас он...

— Знаю,— твердо и торжественно прозвучал голос свидетеля.— Егор Васильевич Максименко и Данила Михайлович Лагутин...

Таня не вскрикнула, она ничем не выдала своего волнения. Она ждала именно этого ответа.

Вот он, ее отец, высокий, темноволосый, загорелый. Таким знает его по фотографиям, по рассказам матери. Нет, не на черное дуло винтовки смотрел он этим утром, не на подлые лица полицаев. Он смотрел на степь родную, на росистую утреннюю степь, на степь, где жить его детям. Он смотрел на розовый край неба, на свою последнюю зарю. Тебе, дочь, в эту минуту оставил он эту степь. Тебе и всем, кто жив...

После конца заседания Таня сидела в парке, на дальней скамейке. Она не замечала окружающего. Слишком много мыслей и чувств всколыхнуло в ней все, что она услышала.

До нее не сразу дошел возглас: «Таня!»

Перед ней стоял Дима Кравцов. Она не обрадовалась, не огорчилась, она даже не удивилась: слишком маленьким и незначущим он был сейчас для нее, слишком невозможно было, чтобы те огромные чувства, которые волновали ее сейчас, могли потесниться и впустить еще что-то постороннее.

Он именно был посторонним и ненужным.

— Таня! Я так рад! — Он был и растерян и обрадован. — Таня! Вы разрешите мне сесть с вами? — Он сел, не дожидаясь разрешения. — Я так хотел видеть вас, поговорить с вами.

Ненужные слова падали около нее, шуршали по гравии, как отжившие, осенние листья.

Дима говорил о том, что он несчастлив. Ванда оказалась истеричной, изломанной особой, готовой скандалить по каждому поводу. Жить с нею невыносимо. Он человек, а не каторжник и не слюняй. Он не позволит жене помыкать им... Ему трудно. Только Таня может понять его. Теперь он видит, что он потерял, чего лишился. Таня не должна сердиться на него. Даже сильные люди ошибаются. Любую ошибку можно исправить...

Таня молчала, и это окрылило его. Скоро, очень скоро он приедет в колхоз «Рассвет» собирать там данные для диссертации.

— Вы извините меня, — сказала Таня. Она даже вежливой могла быть сегодня с ним, как была бы вежливой с любым посторонним человеком. — Мне нужно побыть одной. Только сегодня я узнала подробности гибели моего отца.

Она встала, не слушая его растерянных извинений, вопросов, и пошла по аллее.

Вечером этого же дня Таня сидела в комнате у Варвары, тоже приехавшей в город на время суда. Таня не знала, была ли та сегодня на суде. Желających послушать процесс стояло у дверей так много, что Варе далеко не каждый день удавалось проникнуть в зал, ведь не скажешь: «Пропустите, там судят моего мужа, Кузьму Погребнякова». Пробраться сквозь толпу Варе сегодня не удалось, но процесс она слушала по радио. Слышала и про смерть Лагутина.

Света не зажигали. Голос Вари стал тихим, неуверенным.

— Знаешь, — призналась она, — я рада, что Мишутка помер...

— Опомнись!

— Кто бы он был — полицаев сын! — горько вырывалось у Вари.

Тане надо было спросить самое страшное — вернется ли Варя в станицу. Они долго говорили с Сашкой перед отъездом Тани в город и пришли к горькому решению:

Саше надо жить с матерью, нельзя оставить ее одну. Таня знала, что стоит это решение Сашке, но выхода другого они не видели.

«А может, Варя в Надзорную поедет?» — мелькала у Тани робкая надежда сохранить Сашку в семье. Нельзя! Будь она вдовой Александра Лагутина, погибшего на фронте, почет и уважение ожидали бы ее в станице, но ее мужа, Погребнякова, в станице знают как убийцу партизана Данилы Лагутина, Сашкиного деда. Страшно и горько замкнулся круг Варвариной жизни.

— Что делать думаешь? — прямо спросила Таня.

— В станицу не вернусь, — отрезала Варвара.

Спокойно, хотя и горько, стало на душе у Тани.

— Чего вздыхаешь? — спросила Варя. — Меня, что ли, жалко?

— Сашку, — не стала кривить душой Таня.

— А его чего жалеть?

— Расставаться жалко.

— А чего вам расставаться?

— С тобой он решил уехать.

Непривычно долго сидела Варя в молчании. Молчала и Таня, следя, как меняется лицо Вари. Было недоверчивым и даже злым, а теперь смягчилось.словно ласковый, добрый свет набежал на него. Растроганными стали мягкие, безвольные черты Вариного лица. Решение сына в трудную и позорную для нее минуту делить с ней все невзгоды ее бестолковой, нескладной жизни словно вернуло ей надежду.

«Все правильно, Сашок», — устало подумала Таня.

Наконец Варя заговорила.

И заговорила-то в непривычной для нее манере, осторожно и раздумчиво, словно перед тем, как в реку броситься и поплыть, пробовала, холодна ли вода, прикидывала, хватит ли сил доплыть до другого берега.

— Ты вот что, Таня... Татьяна Даниловна. Ты меня послушай... И Сашке скажи... Скажи, кланяюсь я ему в ноги, сыночку моему, прощения у него прошу. И еще скажи, что обрадовал он меня, рожонный мой, так обрадовал, что слов даже нету. Помирать буду — вспомню, какое у сыночка моего сердце. — Она помолчала и вдруг с огромной болью, но твердо произнесла: — У сыночка моего, Александра Александровича Лагутина. — Ска-

зала и словно от берега оттолкнулась, поплыла в незнакомые воды, оторвавшись от твердой земли.— А я, Татьяна Даниловна, на Дальний Восток завербовалась. Вот суд над Кузьмой окончится, и поеду... Должна где-то и моя доля быть, это чего же судьбе-то меня так хлестать? За что? Разве виноватая я, что погиб Александр Данилович, что бабьего счастья искала? Или виновата? Вышла виноватой. А только новое горе мое еще горше прежнего. Там одно горе было, а это на позоре замешанное. Люблю я Сашку, а только... не жить нам с ним. Задумается, а мне нож в сердце — это он меня, мать свою, стыдит. Это он мне простить не может. Нет, не выдюжить мне, если Сашка рядом будет. Так и скажи. И меня не уговаривай, другого слова от меня не услышишь.

— Писать-то станешь?

Варя махнула рукой.

— Не обещаю. Вынырну — напишу, а закрутит бедой — чего вас расстраивать по-пустому.

— Сын же твой с нами!

Варя посмотрела на нее огромными, тоскливыми глазами:

— Какая я ему мать? Не такие матери бывают. Может, только в эту минуточку и стала матерью...

И еще день шел суд. Были речи прокурора и адвокатов. Было последнее слово подсудимых. И был приговор — расстрел.

В газете появилось короткое сообщение:

«Просьба о помиловании, ввиду особо тяжких преступлений осужденных, отклонена. Приговор приведен в исполнение».

## Глава XI

### ЮНОСТЬ ЖИВЕТ...

Урожай вырастили на славу. Ровные валки хлеба легли на поля, полился золотой поток зерна в машины. Бело стало в полях от птицы, новые отары овец вышли на пастбища.

И вот прозвучало сообщение: «Край выполнил план по хлебу. Сверх плана сдано...»

Вечером в правление вбежала Таня:

— Иван Гордеич! Слышали? Ростовчан наградили.

— Ну, слышал. Молодцы ростовчане!

— А мы, Иван Гордеич? А мы? Мы же сверх плана десять миллионов пудов... Десять миллионов!

— Да чего ты ко мне пристала? — рассердился Иван Гордеевич. — Я, что ли, награждаю!

Поздним вечером Иван Гордеевич нерешительно взял телефонную трубку.

— Ты чего, Иван Гордеевич? — отозвался секретарь райкома. — Еще хочешь хлебца сверх плана подкинуть?

— Мы и так от души сдали сто тридцать процентов к плану.

— А чего звонишь-то?

— Новостей никаких не слышать? — неуверенно спросил Иван Гордеевич.

— А какие тебе новости понадобились? — усмехнулся секретарь.

— Да так, вообще... — замялся Иван Гордеевич.

— Знаю я, каких новостей ждешь. Седьмой председатель звонит. И все «вообще»...

А утро принесло известие, о котором мечтали, — край награждается орденом Ленина.

...Открытие колхозного клуба было в субботу.

Закатное солнце отражалось в высоких окнах, ласкало флаги над входом, длинный ряд узких вымпелов над фронтоном. Много народа собралось у клуба. Иван Гордеевич поднялся на ступеньки и повернулся лицом к станинникам.

Он говорил о вольной и прекрасной колхозной жизни, об ордене, полученном краем, и о том, сколько дел у каждого впереди.

Грянул школьный оркестр. Только красная ленточка отделяла от входа в клуб... Иван Гордеевич взял ножницы и, хотя не один почетный гость приехал из района, передал их Роману:

— Комсомол клуба добивался. Комсомол его строил, тебе, Роман, и открывать.

Блеснули ножницы, широко распахнулись двери, и народ заполнил просторный клуб.

Иван Гордеевич водил Таню и Наталью Ивановну по всем комнатам, словно они были самыми желанными гостями. Они посмотрели зал, сцену, костюмерные, буфет

и читальню, комнаты для занятий кружков. Наталью Ивановну смущало внимание председателя, и она делала безуспешные попытки отстать.

В просторном фойе Иван Гордеевич неожиданно остановился. Наталья Ивановна взглянула на стену и даже назад отступила. Перед ней висел портрет ее мужа, Даниила Михайловича Лагутина. Рисовал его художник с маленькой, выцветшей фотографии (другой не нашлось в колхозе). Но, видно, был он человек с чутким сердцем и потому сумел вложить гораздо больше того, что позволял поблекший снимок.

С обветренного, изрезанного глубокими морщинами лица смотрели на станичников мудрые, зоркие глаза. Углы губ чуть трогала улыбка. Этот человек любил жизнь, знал ей цену и отдал ее людям.

А для Натальи Ивановны он был мужем, отцом ее детей. Тихо катились слезы по ее темным щекам. «Даня! Данюшка! Кабы жил-то! Кабы на детей мог глянуть! Мне хоть словечко сказать».

— На отца ты похожа, Таня,— негромко сказал Иван Гордеевич.

Таня знала о своем сходстве с отцом, но все-таки от слов Ивана Гордеевича ей стало счастливо и тревожно, как будто это внешнее сходство обязывало ее не растерять тех черт характера, которые роднили ее с отцом.

Иван Гордеевич прошел с Натальей Ивановной в зал, а Таня все стояла около портрета. Кто-то тронул ее за руку — Сашка.

— Видишь? — спросила Таня.

Сашка наклонил голову: теперь он знает, что такое жизнь и смерть. Теперь он сумеет прожить свою жизнь.

А музыка гремела, оживленный поток людей заполнял клуб.

По выражению Сашкиного лица, смущенного и беспокойного, Таня поняла: что-то случилось.

— Говори скорей,— потребовала она.

— Таня, приехал этот...

Кровь отлила от лица. Объяснять было не нужно. Таня в ту же минуту увидела его. Дима стоял на другом конце зала и смотрел на нее.

— Таня,— шептал Сашка.— Не подходи к нему! Не

подходи! А если он подойдет, размахнись и ударь. Хочешь, я его стукну?

А Дима уже шел к ней, не видя ничего вокруг, не заметил он и Сашки, готового защищать Таню.

— Таня! — одним дыханием выдохнул Дима, остановившись возле нее. Руки он не смел протянуть.

Сашка с дерзкой насмешкой глядел на растерянного Диму.

Таня уже повернулась было уйти, но спохватилась: к нему надо относиться как к постороннему — выдержанно и безразлично.

— Здравствуйте, Дмитрий Павлович, — сказала она спокойно и крепче сжала Сашину руку, на которую сейчас опиралась.

— Я приехал, чтобы... — Голос у Димы прервался.

— Вы председателю сообщите, зачем приехали, или зоотехнику, — посоветовала она и обратилась к Саше: — Пойдем.

Она ушла не оглядываясь: ей нет дела до того, где он, что делает. А вот сердце щемила обида.

Звонок позвал в зал. Шли выступления, но Таня почти не слушала их. Слишком много воспоминаний всколыхнул в ее душе портрет отца.

Помнила его большие, ловкие, загорелые руки, всегда в движении; топор, простой топор в этих руках, поблескивая и словно ликуя, делал чудеса. Ни у кого в станице не было таких затейливых наличников на окнах, таких ладных, добротнo сделанных полок и табуреток. Даже шкаф смастерил отец — любому столяру впору. Помнила голос отца, глубокий и какой-то просторный, казалось, отец сдерживает его, а если бы дал ему полную силу, отозвался бы он на далеких ковыльных взгорьях. Помнилось, как приходили к ним в хату люди — делиться с отцом своим горем и радостью.

К мысли о Диме вернул ее Сашка. Ревниво настороженный, он заметил ее задумчивость и по-своему истолковал ее.

— Хочешь, я Алеше скажу, мы с ним пойдем к этому... — Сашка упорно не произносил имя Димы. — И скажем: «Уезжай, и все! Не нужны у нас в станице такие!»

— Я, Саша, о дедушке думала, — шепнула в ответ Таня.

В эту минуту до нее донеслось с трибуны имя Алеши Шумадо. Прислушалась и поняла, что говорит Андрей Рудаков, приехавший на открытие клуба.

— Обогнал меня Алексей,— признался Рудаков.— У меня сто гектаров. У него сто сорок. Теперь бы нам только уборку механизировать. Давайте техническую конференцию проведем: хоть у вас или у нас в районе. Надо, чтобы мысль о мысли стукнулась. Искра — великое дело! Мотор без нее не заработает. И ученых пригласим.

На трибуну поднялась Вера Васильевна.

— Люди будущего... Во все века о них говорили с душевным трепетом, о людях коммунистического будущего. Каждый день приближает его. Нам в него шагать. Делать будущее. И главное сейчас — это труд, неумный, творческий труд. Наша мечта надела рабочую спецовку и трудится на целине, на стройке Братской ГЭС, на ракетодроме и здесь, в колхозе «Рассвет».

Тане казалось, раздвинулись стены клуба, бушует и кипит, ликует и зовет жизнь, ждет ее рук, ее сердца, без остатка отданного труду и людям.

На концерте Таня сидела рядом с сестрой. Когда Алеша Шумадо вышел на сцену читать стихи, Таня пристально взглянула на него.

Алеша... Но почему он кажется ей мальчиком? Всего только мальчиком, с постоянно взъерошенным черным хохолком. По-детски беспомощно вздрагивает у него верхняя губа, по-детски неуверенно звучит это «в общем-то», которое Алеша говорит для солидности.

А «в общем-то» Зинаида, может быть, и права... Какого такого Ивана-царевича она ждет? Нина осенью выходит за Колю Винниченко. Галя Карташова уже малышка ждет. Не одну свадьбу принесет и эта осень. Только не Танину.

Дима вычеркнут из жизни навсегда. А вдруг ее судьба — это судьба одинокой вербы, что бессильно опустила печальные ветви до земли? «Верба! Придумала тоже», — сердито укорила она себя и решила внимательно слушать.

Алеша читал, слегка растягивая ударные гласные, стихи его казались торжественными. В них, пожалуй, было слишком много тех слов, которые принято называть громкими, но они освещались живым дыханием



просторной степи, и именно это, живое, красило Алешины стихи, вызывало отклик в душе.

Алеша на сцене был совсем не похож на того повседневного, немного покорного и смешного, каким его знала Таня. Она повернулась к сестре, чтобы сказать ей это, и вдруг увидела на Машинем лице и восторг и смущение, губы полуоткрылись, глаза неотрывно следили за Алешей, и такая сияющая откровенная любовь светилась в них, что не понять этого было нельзя.

«Вот оно что», — с нежностью к сестренке подумала Таня, но к нежности примешалась острая, щемящая грусть. Не зависть, не внезапная тоска о потерянном. В этой грусти был иной, светлый оттенок: «Вот и Маша выросла, и к ней пришла любовь... Только бы вместе со счастьем».

Она обняла сестру, прижала ее к себе.

— Да, Маша? Да? — тихо и настойчиво спросила она, заглядывая ей в глаза и указывая взглядом на Алешу.

Маша жарко вспыхнула. Она ничего не сказала сестре, только рука ее доверчиво и виновато скользнула в Танину руку.

Вспомнился берег весенней, бурливой Кубани, обиженные глаза Алеши. Она сказала ему тогда: «Алеша, ты мне поверь, полюбит тебя девушка. Хорошая, красивая».

И вот этот день пришел, полюбила девушка Алешу. И эта девушка — ее сестра.

Мысли были ласковые, а где-то в глубине таилась легкая грусть, но место ли ей сегодня в сердце, в праздничном клубе, среди товарищей? Выходит, место. И зачем только приехал сюда Дима Кравцов, зачем это новое испытание! И больше всего было обидно за себя — поверила пустому человеку, не рассмотрела, не поняла.

Нина Корнакова объявила: «Песню Сольвейг» Грига исполнит на скрипке Артем Петрович Лозовой».

Лозовой вышел на сцену, поднял скрипку к подбородку и, не глядя в зал, взмахнул смычком.

Таня невольно закрыла глаза. Просторная, светлая мелодия лилась в зал, говорила о большой, утверждающей любви. Навстречу этой любви нельзя не встать, не пойти, продираясь сквозь лесную чащу. И опять в сердце Тани поднялась тоска...

«Пускай он кончит скорее!» И он кончил. Стоял, опустив скрипку и смычок вниз, опустив голову, потом повернулся и ушел за кулисы.

В перерыве Лозовой стоял у стены, прислонясь к ней плечом. Раздвигая людей, не обращая внимания на возгласы и приветствия, Таня подошла прямо к нему.

— Артем Петрович, здравствуйте,— сказала она.

Холодноватый взгляд скользнул по ее лицу.

— Здравствуйте,— хмуро и отрывисто сказал он и отвернулся.

Значит, вот он какой? Хмурый, холодный. Просто человек хорошо играл на скрипке, вот и все...

Из клуба возвращались большой компанией. Смеялись. Шутили. Пели. И только голосов Маши и Алеши не было слышно. Саша ни на шаг не отставал от Тани, боясь ее новой встречи с Димой. Они увиделись еще раз. Но Таня прошла мимо, настолько далекая, что Дима не посмел даже заговорить с нею. Он не существовал для нее. В ее душе все еще звучала «Песня Сольвейг». Вот какая бывает любовь, а он никогда не знал ее и никогда не узнает.

Августовский вечер был тих, темные проулки, скрипучие калитки быстро поглощали спутников. И только впереди все еще шла какая-то высокая странная фигура. Приглядевшись, Таня поняла: мужчина несет на руках спящего ребенка. Вот это кто... Идет уверенно, твердо. А бедный Сурок просто заснула на концерте.

## Глава XII

### БЫВАЮТ ТАКИЕ ВЕЧЕРА...

Не много свободного времени у колхозного механизатора летом и осенью, но эти свободные часы расписаны у Алеши по дням и чуть не по минутам. Алеша — непременный участник колхозной радиогазеты, Алешу выбрали старостой студентов-заочников, он готовит роль матроса в пьесе «Любовь Яровая», которую наметили поставить своими силами, а Роман советует ему записаться в волейбольную команду. Алеша отмахивается, но в душе очень рад, что дела много.

Его можно встретить в клубе и в правлении колхоза, в библиотеке и на Кубани. Но где бы ни оказался он, там появлялась и Маша.

Алеша не задумывался о причинах такого совпадения, но был рад видеть ее. Дружба с Машей завязалась в те дни, когда ему очень нужна была сердечная, товарищеская поддержка.

— В общем-то,— говорил он,— ты, Маша, славный парень.

Он так привык к ее дружеской заботе, что спрашивал у нее:

— Кого мне на вальс пригласить? Нину или Настю?

— Настю,— мужественно отвечала Маша и старалась не выдать своего огорчения.

Зато, когда Алеша приглашал танцевать ее, она шла с очень серьезным лицом, боясь выдать свою радость.

— Ты чего такая печальная? — добродушно интересовался Алеша.— Влюбилась, что ли, в кого? Так смори, со мной посоветуйся.

— Обязательно, Алеша,— отвечала Маша, пряча глаза.

Алеша рассказал ей о своем объяснении с Таней.

— Ты понимаешь,— говорил он, сидя над Кубанью и швыряя камешки в воду. (Так, заслонясь пустяковым делом, легче было говорить.) — Таня, в общем-то, права. Любить надо человека. Только нескладно иногда получается... — Он умолк, задумавшись.

«Нескладно! — вторили ему Машины мысли.— А все равно хорошо. И хорошо, что ты есть. И что нужна тебе — тоже хорошо».

И она действительно нужна Алеше. Ей он читает стихи и любит читать, слушает она самозабвенно, и под взглядом ее сияющих, восторженных глаз стихи звучат по-новому даже для самого Алеши. Ей рассказывает Алеша о том, как в самое горячее время, чтобы пересилить усталость, вспоминал о танкистах, рассказывает, как хочет снять со своего участка по девятисто центнеров на круг, написать героическую поэму. Его радует почтительное внимание и радостное удивление Маши.

Дни шли. Приближался Машин отъезд. И все тревожнее становилось ей. Вот уедет — и конец. Придет письмо из дому, и среди прочих станичных новостей она узнает,

что Алеша Шумадо посватался к Насте Герасименко. Вот и все. Маше становилось смертельно жаль себя — незадачливая она. И хорошая, и милая, а незадачливая. И Маша готова была заранее ненавидеть ни в чем не повинную Настю.

Почти два месяца прожила Маша в станице, и ничто не изменилось, так и осталась она для Алеши, «в общем-то, славным парнем».

Настал канун отъезда.

Никого не было дома, села Маша на веранде, заплетенной вьюнками, и достала платочек. В такой же день год назад увидела она на заборе Алешу и попал в ее руки этот платочек с якорьком, предназначенный Тане. Посмотрела на него, разгладила на колене, прижала к щеке, и крупные слезы полились из глаз. Она сердито вытирала их рукой, отодвигая платочек, чтобы не замочить его: может, это и вся-то память, что останется от любви ее к Алеше. Мало ли за год воды утечет. И так ей опять стало жалко себя, что прижала платочек к губам и заплакала еще сильнее. Вдруг сквозь слезы Маша увидела, что на полу у ее ног лежит чья-то тень. Маша подняла голову: перед ней стоял Алеша, изумленный, растерянный, смотрел на нее тревожно и испуганно.

— Маша! — сказал он и сделал шаг вперед. — Маша!

Маша вскочила, сжав платочек в руках. Все кончено. Алеша все понял и никогда-никогда не скажет ей больше, что она, «в общем-то, хороший парень».

— Маша, что это? — почти неслышно спросил он.

Маша не то вздохнула, не то всхлипнула. Нечего теперь скрывать! И чего спрашивает? Все прекрасно сам понял.

— Ну, платочек, — сказала она, — ну и что? Ну и люблю! И буду любить! И пускай! — Она закрыла глаза и заплакала.

— И ты его берегла? — ахнул Алеша. — Целый год берегла?..

— Ну и что? Жалко тебе, да?..

Она почти ненавидела Алешу, который отберет сейчас свой платочек. И не было ничего, а оборвется. От этого чувства непоправимой утраты чего-то дорогого, сокровенного, от горечи и стыда она сразу стала несправедливой к Алеше и жестокой к себе.

— И можешь смеяться! И смейся, пожалуйста! — вызывающе крикнула она. — Так мне и надо! Так и надо!

— Маша! — опять повторил он. — Маша!

И тогда она внезапно поняла, что в голосе его звучали радость и нежность, сквозь мокрые от слез пальцы взглянула на него и увидела глаза, растерянные и ликующие.

Она опустила руки, платочек упал на пол. Алеша торопливо нагнулся, поднял его. Нет, не отдал он этот платочек Маше. Теперь он его станет беречь, этот маленький, обыкновенный платочек, который прижимался к ее щеке, на котором были ее слезы.

Он сделал еще шаг вперед, протянул руки; в ее глазах еще светились недоверие и радость, они еще были влажными от горьких слез, эти милые Машины глаза. Он неумело и осторожно коснулся губами ее губ.

— Маша, — в голосе его были и радость и раскаяние, — дурак я, не сразу понял... В общем-то, что ты — это ты...

Хороши вечера в степи! Поднявшись на взгорье, можно еще долго следить за тем, как садится солнце. В вечерней тишине, кажется, слышно, как вольно и спокойно дышит степь, отдыхающая после трудового дня.

Хороши вечера в степи! Но есть среди них тот, единственный, неповторимый, что до глубокой старости останется в душе во всей чистоте своей. И Алеша с Машей шли степью рука в руке, останавливались, потрясенные россыпью звезд на небе, необычайной бархатной глубиной его, вдыхали терпкий запах полынка. А потом на небо неторопливо выплыла огромная красная луна. Она поднималась выше и выше, становилась бледнее, бледнели и таяли в ее щедром свете звезды; только самые яркие остались на небе. В степи стало видно каждую былинку и даже тень от нее. И в этом лунном свете таким неожиданным счастьем было увидеть милое лицо и отныне и навсегда милые глаза.

— Тебе не холодно? — спрашивал Алеша.

— Нет, — отвечала она.

В самых обычных словах таилось так много нового для обоих. Его нежность и взятое отныне и навсегда право заботиться о ней, ласково и преданно. Ее удивление перед этой заботой и благодарность за нее.

Пора домой. А завтра... Нет, уже сегодня! Они только что нашли друг друга, и уже надо расставаться.

Улица была залита светом. Длинные строгие тени от тополей перечеркивали ее, перемежаясь с неопределенными, разлапистыми тенями акаций.

У калитки, прислонившись к ее косяку, стояла Таня. В лунном свете ей так отчетливо были видны фигуры Маши и Алеши, идущих все медленнее. Они словно желали отсрочить надвигавшееся расставанье.

Маша и Алеша, занятые друг другом, увидели Таню, только подойдя к дому. Так и остановились перед ней, не разнимая рук.

— В общем-то...— мужественно начал Алеша, глядя прямо в глаза Тане.

— В общем, Алеша,— мягко перебила его Таня,— все очень хорошо. И я говорю это от чистого сердца.

Маша прижалась к ней, обняла. Таня поерошила ее волосы, наклонилась к самому уху.

— Я очень люблю тебя,— сказала она и добавила: — Обоих люблю.

Маше казалось, что она не заснет в эту ночь — слишком много новых впечатлений переполняло сердце, слишком непривычно и радостно билось оно, но, может быть, именно потому и заснула она так быстро и спокойно.

А Таня не спала. Сегодня она опять встретила Диму Кравцова. Она пришла в правление к Ивану Гордеевичу. Но Ивана Гордеевича не было, а, дожидаясь его, там сидел Дима, Дмитрий Павлович. Так его будут называть в колхозе, потому что приехал он сюда вести научную работу. Только так будет называть его и Таня.

Он вскочил, увидев ее:

— Таня, я очень рад...

— Извините, мне некогда,— сказала она и обратилась к Лозовому: — Артем Петрович, передайте Ивану Гордеевичу, что письмо от профессора Сергейчука я получила, он согласен приехать к нам на День животноводства.

— Это что же значит, командировочные готовить? — насторожился Лозовой.

Ах, как хотелось бы отчитать этого сухаря Лозового: тут событие такое, придет профессор по-дружески разговаривать с колхозниками, а он ничего не понимает. Сухарь несчастный, дрожит за каждую копейку! Она бы

высказала все это напрямик, не будь здесь Кравцова. Перед ним ей хотелось, чтобы все в колхозе было большим и значительным, даже Лозовой.

— День животновода? — заинтересовался Кравцов, желая, чтобы Таня разговорилась, но она молчала.

Ответил Лозовой в своей манере, кратко, но исчерпывающе. Таня воспользовалась этим и вышла из комнаты.

Дима нагнал ее на улице.

— Таня, — спросил он, — когда и где я увижу вас?

— Разговаривать нам не о чем.

Она ускорила шаги, но он продолжал идти рядом.

— Если я ставлю цель, то обычно иду к ней. И не отступаю. Разговор состоится.

— Нет, — быстро и отрывисто сказала Таня.

— Неужели нельзя простить ошибку, нельзя загладить ее? — Он взглянул Тане в лицо. — Таня! Ты думаешь, я сюда приехал ради каких-то паршивых баранов и двухразового окота? Ради диссертации? Я приехал сюда из-за тебя...

— Тогда уезжайте, — резко сказала Таня. — И сегодня же. Вам нечего здесь делать.

— Вы думаете? — спросил он и усмехнулся. — А я думаю иначе.

Он повернулся и пошел прочь.

Вечером Таня была в клубе. Репетировали «Любовь Яровую».

С волнением следила Таня за сценой встречи Яровой с мужем. Вот как бывает. Он ей муж. Любит она его, но общественное берет верх над личным.

Казалось, все встало на место в душе у Тани, а пришла домой, и снова потянуло на улицу. Бывают же такие вечера, когда в тревожном смятении сердце, когда нет ему покоя и рвется оно неизвестно куда.

Тихой станичной улицей брела Таня. Сама не зная, куда и зачем. Вот и дом, где живет Зинаида. Зайти? Но не зашла, да и в окнах у Игнатьюков темно — видно, рано легли спать.

И вдруг странная песня долетела до нее. Таня даже невольно остановилась, прислушиваясь.

Пел мужской голос. Пел негромко, но как-то проникновенно. Простые и неожиданные слова песни, которую

никогда до этого не слышала Таня, и несложный ее мотив несли в себе грустную гордость и спокойствие:

По дальним странам я бродил,  
И мой Сурок со мной.  
И сыт всегда везде я был,  
И мой Сурок со мной...  
И мой всегда,  
И мой везде,  
И мой Сурок со мной.

Таня подошла ближе к невысокому заборчику. Что за странная песня и почему она так влечет ее?

До нее донесся полусонный детский голос:

— Папа, а я уже сплю. Я сурок. Да, папа? Сурки, они послушные...

Таня торопливо отступила в тень акации, только бы не заметил ее никто. Пошла обратно, а песня все наступала ее. Уже и слов не слышно, доносится один мотив, западающий в душу. У ворот своего дома Таня остановилась. Чего ей надо? Почему сегодня так тревожно и неспокойно на сердце? И зачем приехал Дима? Дмитрий Павлович Кравцов. Да, он совсем другой. Тот, которого она знала и любила, был Дима и мог сказать так, что сердце обрывалось: «Они у тебя совсем синие». А она? Изменилась ли она? И что за песню пел Лозовой?

И вот в эту минуту душевной тревоги и смятения, стоя у калитки своего дома, увидела Таня, как по улице, залитой лунным светом, то пропадая в тени, то снова возникая, идут Маша и Алеша. Они были еще далеко от нее, она не видела их лиц, но уже знала, что они счастливы...

Мгновенно заснула Маша, еле голову до подушки донесла, но не спалось Тане. Она тихо толкнула рукой окно. Ставня скрипнула и приоткрылась. Серебряный лунный свет одел осенний сад. Влажно блеснули спелые яблоки в листве деревьев. Каким-то неизъяснимым очарованием веяло от этого ночного сада, пронизанного лунным неверным светом. Мир был прекрасен. Только где же Танино счастье? Чего не идет оно? Не заблудилось ли где на дальних степных тропках, не утонуло ли в бурливой и шумной Кубани, не растаяло ли вот такой лунной ночью, не поднялось ли от земли легким синеватым туманом?..



## Глава XIII

### «ВОИНАМИ СТАНОВЯТСЯ...»

Письмо Лозового в райком о неправильно начисленных трудоднях послужило толчком к большому разговору не только в колхозе, но и в районе.

Трудодень! Какой путь понадобился, чтобы стал он полноценным, чтобы позвал назад в село даже тех, кто в тяжелые годы сбежал оттуда в город. Он дал колхозам богатство и силу, принес трудовую славу и достаток каждому честному колхознику. Как же получилось, что начали его разбазаривать попусту, что встал он на колхозном пути, мешая двигаться вперед?

Думали о трудодне бухгалтер Лозовой, и секретарь парторганизации колхоза «Рассвет» Дорохова, и скотник колхоза Шумадо. Думали о нем на Ставрополье, в Сибири и в Москве. Еще недавно казалось, что выдержал он проверку временем. Но уже видели — не являлся он точной мерой труда и дохода.

Письмо Лозового в райком поднимало один из вопросов, которые в эти дни вставали перед людьми, но поднимало его по-особому, требуя немедленного решения. Разбазарено сто трудодней по личному произволу бригадира Дормидонтова. Он должен быть наказан!

Шумным было заседание правления, где решался этот вопрос, а еще шумнее было партийное собрание. Не удержался в бригадирах Дормидонтов, не удержался в секретарях партийной организации Васильев. Вместо него была избрана Анна Максимовна Дорохова.

На ферме по-разному относились к последним событиям в колхозе. Обрадовались, что «Дормидонтова умыли», что «нашу Анну Максимовну» выбрали секретарем. Но тут же вставала и тревога: кто же теперь будет заведовать фермой? Казалось, что только с Анной Максимовной можно жить и работать, давно забыли, как ворчали на нее втихомолку.

— Новую ферму сладили? — горячилась Нина. — Анна Максимовна постаралась!

— Корма запасены. Зиму жить — не тужить.

— У доярок-то общежитие теперь какое!

— А придет какой-нибудь вроде Швыдченки, и полетит все под откос.

— Настя,— пристала как-то Таня к подружке,— уж ты-то, наверное, знаешь, кого к нам метят?

Настя отнекивалась, но так горячо и неловко, что Таня сделала точный вывод: знает, только отец не велел болтать.

— Говори! — решительно потребовала она.— Или дружба врозь!

— Тебя,— сказала Настя.

Таня так и ахнула:

— Выдумала!

— И ничего не выдумала,— обиделась Настя.— Отец говорит, пускай у нас будет молодежная ферма — и тебя заведующей. И все согласны, только один Артем Петрович против. Говорит, что ты легкомысленная и вообще не интересуешься.

Артем Петрович был действительно против выдвижения Тани. Он хорошо запомнил первую встречу с ней. Смеющееся лицо, наплевательское отношение к «бумажкам», которые строчат в бухгалтерии.

Он вообще недоверчиво относился к людям, не знавшим, «почем фунт лиха»: неизвестно, как поведет себя такой человек в трудную минуту.

Сам он прошел суровую школу жизни.

Артему шел одиннадцатый год, когда началась война. Тогда его звали Артемий... Тёма... Отец его был пианистом, а мама... Мама была просто мама. Он помнит: вечер, в комнате полумрак. Он сидит, положив голову к ней на колени. Ее рука, ее ласковая, нежная рука задумчиво гладит ему волосы. Он закрывает глаза. Он устал, набегался за день, и ему хорошо в тесном ласковом кольце материнских рук. Мать рассказывает, и его покачивает на волнах ее мягкого голоса. Он не то дремлет, не то слушает.

В сказках матери жил не Иван-царевич, а Артемий-царевич, совершал он подвиги, всегда добивался счастья.

Нередко обрывалась сказка тем, что засыпал Тёма, а иногда громкий голос отца заставлял его вскакивать. Входя, отец сейчас же включал яркий верхний

свет, наполнял комнату шумом и оживлением, и только где-то в самой глубине сознания продолжали жить сказочные образы.

Отец преподавал в музыкальной школе. Эту же школу по классу скрипки посещал и маленький Тема. Кто знает, может быть, часы однообразных музыкальных упражнений научили терпению, закалили волю мягкого, задумчивого мальчика, жившего наполовину в мире материнских сказок.

А потом война. Перрон вокзала. И отец в военной форме, которая странно и мешковато сидит на нем. «Куда вы, Петр Александрович? Какой из вас воин!» Он вскидывал серьезные глаза, неловко и смущенно разводил руками: «Возможно... Но я не могу. И потом... воинами становятся». Именно там в первый раз отец назвал его Артемом.

— Ну, Артем, прощай! — сказал он, положив руки ему на плечи; и было что-то в голосе отца, в необычном этом суровом превращении его мягкого имени «Тема» в мужественное и спокойное «Артем», что заставило остановиться слезы, готовые хлынуть, заставило его ответить отцу не рвущимся из сердца криком, а коротким, судорожным вздохом. — Верю! — сказал отец, наклонившись к сыну. — Верю! Не успел тебе многое сказать. Думал, ты мал еще. Думал, успею. Верю... найдешь дорогу, сумеешь. И о матери, если что, позаботься...

Навеки запомнился резкий гудок поезда. Бросились солдаты по вагонам. Рванула где-то гармошка «Катюшу». Все бежали вдоль перрона, еще крича что-то, махая руками, а поезд уходил.

И вот все... Опустел перрон... Там, где минуту назад на ступеньке вагона стоял отец, только рельсы блестят на солнце.

— Пойдем, Артем, пора, — тихо сказала ему мать.

Потом пришло извещение — Петр Лозовой погиб за Родину.

А через неделю ночью торопливо собирала мать чемодан. За плечами Артема маленький мешок. Тогда их делали легко и просто, если требовалось сделать это быстро: две картофелины в углы наволочки, чтобы держалась веревка, приспособленная вместо лямок, — вот и все. В руках у Артема скрипка. В поезд селись ночью, а утром их уже бомбили. Выскочив из вагона,

они лежали в небольшом леске, прижимаясь к земле. Пронзительно выли бомбы. Один за другим взрывы сотрясали воздух. Потом наступила тишина.

— Кончено!— радостно крикнул кто-то.— Отбомбились. По ва-го-нам!

Все подняли головы. Поднял и Артем, а мать осталась лежать неподвижной...

Сколько лежал он, прижавшись к ней, обнимая ее, потрясенный ужасом потери и еще не веря в ее смерть, он не знает.

Сильные руки оторвали его от матери.

— Пора, малец,— сказали Артему.— Найдутся добрые люди, похоронят. Село рядом. Ехать пора.

— А может, взять с собой убитых? — неуверенно предложил человек в очках.

— Там остался один... Сказал, похоронит!

И вот Артем в вагоне.

А мать там...

Он в вагоне...

А она... там...

Поезд не успел тронуться — он схватил скрипку и спрыгнул вниз. Побежал изо всех сил, чтобы не остановили, не догнали. Ему кричали вслед, а он бежал, спотыкаясь, полный страха, что его увезут от матери. Поезд набирал скорость. Отгрохотали мимо вагоны, и наступила тишина. Огромная тишина. Он был один в степи, только солнце распласталось в знойном небе. Ему стало страшно, захотелось бежать вслед за поездом, к людям. А вдруг мать все-таки жива, она сейчас открыла глаза, а сына нет рядом. И он еще быстрее бросился вперед.

Глаза матери были открыты. Они не видели Артема...

— Остался, значит, Воробей? — услышал Артем чей-то спокойный голос; на пеньке сидел старик, курил трубку.

— Остался,— с трудом произнес Артем.

— Мать, что ли? — спросил старик.

Артем кивнул головой. Голос старика показался ему равнодушным. Откуда он? Почему сидит здесь так спокойно рядом со смертью, рядом с огромным Артемовым горем?

— И у меня вот старуху убили,— сказал старик.

Только теперь увидел Артем, что недалеко от матери в траве лежит женщина, лицо ее было покрыто платком.

— Сорок девять лет прожили,— задумчиво сказал старик и встал.— Пойдем, Воробей...

— Куда? — оторопел Артем.

— До людей пойдем. Либо подводы добьемся — на кладбище свезть, либо лопатами разживемся — здесь и похороним.

Когда вернулись с подводой и положили на нее убитых, старик нагнулся, завязал в платок щепотку земли, другую щепотку протянул Артему.

— Возьми,— сурово сказал он,— на этой земле матери твоей кровушка пролилась.

Пока шли с кладбища, у старика возникло решение:

— Сба мы с тобой сироты, Воробей, вместе нам и жить. Не робей. Проживем.

В эту же ночь в село пришли немцы. Горькая и страшная жизнь началась для людей. Максим Семенович, так звали старика, пробавлялся сапожным делом. Только никто не шил новых сапог в те дни, подметки к старым прикручивали веревкой. Редкий заработок перепадал старику, да и то потому, что жалели его и мальчика сельчане. В каждой хате тогда жили впроголодь. Голодным ходил и Артем.

Однажды увидел, как гитлеровцы ели колбасу, отправляя в рот большие куски, и шумно смеялись чему-то. До Артема донесся резкий чесночный запах, такой заманчивый, что ноги подкосились у голодного мальчугана. Стоял, судорожно глотал слюну. Солдаты заметили голодный блеск его глаз.

Один из них отрезал ломоть колбасы, бросил на землю.

— На, рус швайн... свинь... — Он смеялся, издевательски глядя на мальчика.

Артем видел только ароматный розовый кружок с белыми пятнами жира. Он может схватить его, жевать, торопясь и стараясь растянуть наслаждение...

— Ам-ам, рус зобак, ам-ам,— покатывался гитлеровец, хватая воздух широко открытым ртом и показывая, как собаки ловят подачку.

Вот оно что... Они решили устроить себе забаву. Нет, он не схватит подачки. Он повернулся и пошел, выпря-

мившись, сведя на спине худенькие лопатки. «Воинами становятся,— повторял он слова отца.— Верю...»

Однажды вечером он играл на скрипке, а Максим Семенович слушал его. Играл Артем негромко, но дверь распахнулась, и в комнату вошел немец. Артем опустил скрипку и смычок.

— Spiel, Knabe! — растроганно сказал солдат, видно считавший себя любителем музыки.— Музык! Играйт!

Артем крепко сжал губы, мотнул головой.

— Сыграй ты ему, сатанюке, сыграй,— шептал ему на ухо старик.

— Нет,— сказал Артем и положил скрипку.

— Швальбе сказал: «Играйт!» — с угрозой повторил солдат.

Глядя ему в глаза, Артем отрицательно покачал головой.

Швальбе схватил скрипку, другой рукой рванул мальчика к себе и потащил во двор.

Старик умолял немца оставить мальчика. Швальбе толкнул его так, что старик упал.

Швальбе приказал Артему встать к стенке. Артем встал.

— Играйт? — спросил солдат злобно.

— Нет! — громко сказал Артем.

Гитлеровец ударил скрипку о колено, раздался легкий треск сухого дерева, дзенькнули оборванные струны.

Артем коротко вздохнул и отвел глаза от упавших на землю обломков скрипки.

— Ты есть упрямый мальтшик,— сказал гитлеровец, усмехаясь,— я буду тебя немного стреляйт.

Он медленно расстегнул кобуру, вынул револьвер, поднял его, прицелился.

Сейчас прозвучит выстрел. Все равно он прозвучит. Так пусть скорее! Но солдат в последнюю минуту, видимо, раздумал убивать мальчика и чуть поднял дуло. Раздался выстрел, цокнула пуля о стену, отбивая куски известняка. Фашист повернулся и пошел прочь.

Когда прогнали оккупантов, Артем пошел в школу. Товарищи посмеивались над ним, городским мальчишкой,— неумехой, который не отличал овес от ячменя, никогда не скакал верхом на лошади, и хотя делали это дружелюбно и без злобы, но Артем обижался, стиски-

вал зубы. Ничего. Он всему научится. Трудно? Пускай. Заставит себя.

«Воинами становятся»! И скоро он не уступал товарищам ни в чем. Жизнь деревни стала его родной жизнью, как будто он никогда не знал другой. Летом работал в поле, легко и быстро запрягал коня, прыгивал, каким будет урожай, на зорьке ходил рыбачить, мог сложить печурку во дворе и подоить корову.

— Ты, Воробей, башковитый. Большим человеком будешь. Бухгалтером, не иначе,— мечтал Максим Семенович.

— А что делает бухгалтер? — спросил Артем у колхозного счетовода.

Счетовод, влюбленный в свое дело, рассказывал, Артем слушал. Труд бухгалтера предстал перед ним, как борьба за колхозный достаток, утверждение справедливости. Течет река колхозной жизни, бурлит, кипит, а он должен все понять, взвесить, в одном месте загородить путь воде, в другом открыть. И даже сама незаметность профессии придавала ей особое благородство.

После седьмого класса Артем пошел на курсы счетоводов, работал учетчиком, учился в вечерней школе. Широкоплечий, сильный, он с ласковой усмешкой слушал, как Максим Семенович, по старой привычке, зовет его Воробьем.

Много читал. При первой же возможности купил скрипку.

Перерыв в несколько лет сказался: ноты Артем забыл, пальцы не слушались.

Но он был упорен. И вскоре опять пальцы легко стали бегать по грифу.

В колхозе ценили Артема; он уговаривал старика отдохнуть от работы, пожить на покое.

— На покой, Воробей, успею,— с грустной усмешкой говорил Максим Семенович.

Потом Максим Семенович тяжело заболел. Понимал, что не встанет, но был спокоен.

— Ты вот что, Воробей! Ты не робей,— сказал он Артему.— Посплю я малость. Устал чего-то. Ох, устал... Нет сейчас старухи возле меня. Сорок девять лет с ней прожили, почитай, полвека.

Он повернулся на бок, закрыл глаза. Артем не сразу понял, что никогда не проснется больше старик.

Призыву в армию Артем обрадовался. Ритм армейской жизни, напряженной, наполненной до отказа делом, каждое слово и жест, осмысленные по-особому, подчиненные дисциплине, может быть несколько жесткой, но умной, были ему по душе.

Получив однажды увольнительную, Артем с товарищем зашел к его друзьям. Там и увидел Ирину, студентку пединститута, белокурую серьезную девушку. Артем листал какой-то журнал и, может быть, даже не разговорился бы, да узнал от словоохотливой старушки хозяйки, что девушка осиротела в войну, жила в детском доме.

В этот вечер Артем провожал ее домой. Потом стремительно бежал улицей, не обращая внимания на изумленных прохожих, чтобы не опоздать к вечерней поверке. Если бы кто-нибудь засек время, то, вероятно, обнаружилось бы, что Артем установил новый рекорд в беге на тысячу метров.

Проснулся он непривычно счастливым: в мире есть Ирина...

Из армии он приехал на работу прямо в колхоз «Правда», где учительствовала Ирина. Четыре года — как один день, полный счастья, весенний, прекрасный день.

Вот оно, счастье, в руках твоих, Артем, только держи крепче, не упускай!

«Что такое счастье, Артем? Это ты и я. И наша дочь. И моя работа, и бег реки... И чтобы всему этому не было конца».

«Что такое счастье, Артем?»

«Что такое счастье...»

«Что такое...»

Счастье? Теперь он знает. Оно уходит... А потом остается боль, острая боль, и кажется, что силы капля по капле уходят из души. А ты живой... Может, самое страшное в том, что ты живой и должен жить... Надо!.. Есть еще маленькое существо, которое и трех лет не прожило на свете, а лишилось матери.

Надо жить. Надо работать, Артем! Воинами не рождаются, воинами становятся. Но уж если жить, то как воин, отстаивая правду, борясь за счастье.



## Глава XIV

### МАЛЕНЬКАЯ ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ДЕЛА

Они приехали на ферму вместе — Иван Гордеевич, Анна Максимовна и Роман Карташов.

— Ну,— сказал Иван Гордеевич, оглядывая собравшихся в красном уголке работников фермы.— Был я в крае, когда орден вручали. Момент такой, ну, прямо сказать, торжественный. Цветы там и все прочее. Только думки-то в голове не больно праздничные. Конечно, хорошо, что край орденом наградили, а только получается, авансом его дали. Если взять карандаш да посчитать — выйдет, недодали мы, недотянули. Больше дать можем. Цифры-то сейчас на контроле у всего народа. И народному глазу все видно. И кто недобирает, тоже видно.

— Наша ферма вроде добирает,— негромко сказала Таня.

— Добирает, да с какого конца считать. Если снизу, вроде ты, Лагутина, права. А только зачем снизу считать? Лучше с верхнего края счет вести. Недаром у партии на молодежь надежды. Вот и решаем мы молодежь нашу в колхозе «Рассвет» на животноводство бросить. Пускай наши фермы будут молодежными.

— А старикам, значит, по шапке? — горько проворчал Иван Кириллович.— Поработали, хватит, старые черти!..

— И мысли такой не было,— перебил его Иван Гордеевич.— Мы тебя за молодого считаем, а хочешь, так и справку выдадим от правления, что ты у нас комсомольского возраста.

Молодежь всегда готова шутить, и Иван Кириллович за одну минуту услышал, что и в комсомол его примут, и в волейбольную команду запишут, и даже трусики выдадут с красными лампасами, чтобы на генерала смахивал.

— Значит, договорились,— поставил точку Иван Гордеевич.— Вот комсомол предлагает,— он указал на Романа,— вашу ферму считать молодежной, комсомольской. Заведующей тоже поставить комсомолку.

Таня заволновалась. Неужели он назовет ее имя?

Она откажется. Боязно. И как она станет командовать девушками-подружками?

Но Иван Гордеевич не назвал ее фамилии.

— Посоветоваться хотим,— помолчав, сказал он.— Варягов не ждите. Ни к чему нам они. Свой народ в колхозе вырос. Вот и скажите, кого из вас хозяином поставить?

— Таню! Лагутину Татьяну! — одновременно крикнули несколько голосов.

— Вы что! Колю Винниченко или Валентина Росликова, он учетчиком был! — запротестовала Таня.

— Верно, все-таки парня — спокойнее,— поддержала Галя.

— Это чего же,— оскорбленно крикнула Настя,— парень, так и в начальство? Да Татьяна у нас лучше любого парня!

— Татьяну! — звучали твердые голоса.

— Я за Татьяну — ушлая устрица! — уверенно сказал Иван Кириллович Шумадо.

— Мы тоже так планировали,— сказала Анна Максимовна.— Не бойся, Таня. Не одна будешь — люди вокруг.

Иван Гордеевич и Дорохова после ухода доярок долго говорили с Таней, как сделать, чтобы не почувствовался уход Анны Максимовны.

«Ведь будет трудно, а я все-таки хочу работать. Или жадная я такая до работы, все хочу своими руками переделать?» — думала Таня.

— Только одно меня смущает,— призналась Таня,— на готовое пришла. Ферма хорошая, и кормов на два года хватит, и коллектив готовый.

— Эх, и глупая ты, Татьяна! — горячо вырвалось у Анны Максимовны.— Если готовым-то считать, значит, на месте стоять, а если идти вперед, так каждый день новые задачи и новые дела подбросит.

Вот и закрутилась Таня в делах.

Казалось, чего особенного. Работу фермы знает, последнее время не зря заставляла ее Анна Максимовна помогать себе, да и народ такой, на который можно положиться.

Но, оказывается, каждый день и час нес с собою огромное количество повседневных дел. Надо было контролировать работу каждого. И контроль, который

спокойно принимали со стороны Анны Максимовны, казался вдруг той же Насте оскорбительным со стороны ее подруги Тани.

— Ты чего над душой стоишь? — вспыхнула она. — Или думаешь, ты сознательная, а я нет, не выдою корову?

Тая закончила вечернюю дойку чуть не за час, убежала, наскоро прибрав в кормушках и стойлах. Молоко осталось у каждой коровы. Тая терпеливо додоила их. На ее упрек Тая прижалась к ее плечу.

— Жорик на побывку приехал, всего на четыре дня. Ох, Тая, да ты бы хоть глянула на него. Вот парены! Зря про него говорят, что рыжий, — русский он. Это у него на солнце волосы такой отлив дают. Рыжие, они конопатые, а у него ну ни одной то есть конопушечки. Это от зависти девчата наговаривают.

— Я после тебя вчера три литра надоила. Ты понимаешь, что коровы у тебя сбавить могли, — сказала Тая.

— Да что я, беспонятная, что ли! — искренне огорчилась Тая. — Да я ж всегда все до капли выдаиваю, а тут случай особый. Говорю, Жорик на четыре дня и приехал всего. Что он, трех литров не стоит? Да пропади они пропадом, все коровы вместе с фермой!

Краснея, с большим трудом выговаривая слова, которые не шли с языка, Тая сказала:

— Я тебя серьезно предупреждаю, Винниченко. И смотри, Жорик не Жорик, а коров выдаивай. А то и выговор... ну, и выговор схлопочешь.

— Выговор? — ахнула Тая, она прямо отпрянула от Тани. — Вон как ты заговорила! Хочешь показать, что ты начальство?.. Татьяна Даниловна, — произнесла она с явной иронией.

В этот же день произошла еще история в телятнике. Девчата — народ отзывчивый. Ну как не пригреть котенка, жалкого, полуслеплого, с разъезжающимися лапками, брошенного кем-то под забором. Рука сама тянется поднять его, отогреть за пазухой. Домой принести — мать выругает, но можно прихватить с собой на ферму. В телятнике и тепло, и светло, и молока хватит. Вторая принесла котят из дому, спасая их от опасности быть утопленными. Третья переняла ее опыт. А на вольных кормах котята вымахали быстро.

Еще две-три облезлые, голодные, бродячие кошки нашли здесь пристанище. Кошки быстро раздобрели и считали себя хозяевами, а с телятами только мирились, поскольку телята существуют в помещении, самой судьбой предназначенном для вольготной кошачьей жизни.

Сама Таня еще недавно чесала за ухом у трехцветной зеленоглазой красавицы и, посадив ее к себе на колени, усмехалась: вот отъелась, килограмма четыре, поди, тянет.

Сейчас Таня вошла в телятник, совершенно забыв об этих кошках. Но одна из них кинулась ей прямо под ноги; другая лежала, развалившись на соломе: «Захотите, дескать, обойдете, а я и хвостом не двину»; третья нежно вылизывала шерстку новорожденным, которых было не то пять, не то шесть; еще две сидели на стропилах, сердито пофыркивая, готовые, не щадя шерсти, решать какой-то спор.

— Это сколько же их? — ужаснулась Таня.

— Хватает. У нас здесь знаешь что? Кошеферма, — объяснила Галя.

Таня нахмурилась.

— Да ты погоди, — засмеялась Галя. — Я тебе что расскажу. К нам вчера заглянул парнишка из газеты. Зеленый совсем, а важный, спасу нет. «Это, говорит, у вас что?» Ну, мы ему и отрапортовали: «Кошеферма». — «А почему, говорит, в телятнике?» А я ему говорю: «Отдельного помещения пока не предоставили. И потом, телятам польза — кошки лопают, и у телят аппетит повышается». Посмотрел он на меня, спрашивает раздумчиво эдак: «Стимул?» А я ему говорю: «А вы как думали? Стимул и есть. Про Павлова, говорю, слышали? Про условные рефлексы?» Он говорит: «Слышал», и опять до кошек: «Расскажите, дескать, кто у вас этого достиг?» Ну, я ему объяснила, конечно, вежливо, что, дескать, опыты ставим. Ну, и еще слов всяких наговорила про науку и практику. А он спрашивает: «И хорошие результаты?» — «Замечательные, говорю, сразу привес у телят увеличился». Так он все это, Татьяна, за чистую монету принял и в книжечку записал. А ручка у него блестящая, и рыбка в ней бултыхается. А сам, Татьяна, такой из себя представительный и даже вроде красивый. Вот тебе и кошеферма! Смотри, где и напишет о колхозном опыте.

Она смотрела на Таню, надеясь, что та оценит все остроумие этого происшествия, но та не оценила.

— Хватит молоко транжирить! — сказала Таня. — Развели целый зверинец. И болячки от них всякие пойдут.

— Много ли им молока-то надо, — заступилась за кошек Галя. — Болячки! Скажешь тоже. Ты гляди, какие они чистенькие, холеные.

— Вижу, что холеные. А только придется вашу коше-ферму прикрыть, — решительно сказала Таня.

Она не ждала, что слова ее вызовут такой отпор у телятниц.

— Это она просто свою власть показывает. Кошки ей помешали! — возмутились девочки.

Пришлось комсorghу фермы Коле Винниченко становиться на ее защиту.

Кошек девочки растащили по домам, ворча и негодуя на Таню.

Но были вещи и посерьезнее. Электродоильные аппараты начали осваивать еще при Анне Максимовне. Дело подвигалось туго. Многим дояркам попросту казалось, что гораздо проще и быстрее выдоить корову руками.

— Не отдает у меня Рябинка молоко, — жаловалась Нина. — Не отдает, и все тут.

Через день Таня увидела, что Нина, отключив аппарат, додаивает Рябинку руками.

— Нельзя, — твердо сказала Таня.

— Да ты смотри, сколько молока теряем!

Весы показывали хоть небольшое, но падение удоев. Таня знала, что этого не может быть, не зря же работают ученые, не зря лучшие колхозы страны и края давно освоили электродойку, но сомнение забиралось и в ее душу.

Радовало только, что в эти трудные первые дни Сашка был неотступно с нею. С осени он пошел на ферму, учился в вечерней школе.

Когда Таня приняла ферму, Сашка попросил ее группу коров.

— Ты бы в пастухи шел, — советовали ему Гриша и Валя.

— А я доярком хочу, — спокойно отвечал Сашка.

— Ученые же не зря пишут, — говорил он Тане, —

машина передовее, чем руки? Передовее! Значит, поднимутся удои.

— Обойдется,— говорила Анна Максимовна.— Дай привыкнуть коровам.

Но вся беда была в том, что доярки не верили этому. Они ворчали все громче, обвиняли Таню; считали, что она стоит за электродойку из робости, из трусости, не желая портить отношения с начальством.

— Пропади он пропадом, ваш аппарат! И кто придумал мороку на нашу голову! Коровы мучайся, доярки мучайся! Насоревнуешься тут. Удои-то падают,— заявила Тая.

— Тая, не бузи,— попросила Таня.— Другим пример надо показывать. А ты?

— Не стану аппаратом доить.

— Тая, ручной дойки не допущу.

— Интересно, как ты это сделаешь?

— А так...— Таня словно в воду бросилась.— Не допущу к работе!

— Это меня? Ты?

— Тебя. Я.— Таня говорила с усилием.

Тая медленно сняла халат.

— Возьми! — протянула его Тане.— Не стану я коров гробить!

Вокруг молча стояли девушки.

— Девчата! — Таня ждала их помощи и верила в нее.— Девчата! — повторила она, но никто не откликнулся.

— Возьми! — еще настойчивее сказала Тая.

— Ладно! — сказала Таня, взяла халат и села доить.

Ее даже радовало, что она сейчас занята работой, может не думать о ссоре с Таей. Ссора? А разве это ссора? Она заведующая и не имеет права ссориться. Удержать она должна Таю и заставить доить аппаратом. Но как это сделать, как?

Таня ушла из коровника, плотно сжав губы. А Тая плакала в красном уголке. И все жалели ее, казалось, что именно ей тяжело.

— Зазналась Татьяна!

— Уж сразу и устранить!..

— Раскомандовалась!

— Нет, укоротить надо Татьяну!

— Предатели вы, вот кто! — раздались резкие, как удар, слова.

Все мгновенно обернулись и увидели Сашку. Наступила тишина.

— Предатели и есть. Сами выбирали. Кричали: «Лагунину!» А кто ей помог? Стала заведующей — и все равно чужая. Хорошо это? А еще молодежная ферма. Все за одного! — стыдил Сашка.

— За родню заступаешься? — крикнули ему.

Саша побледнел.

— За родню! — с вызовом бросил он. — Кому за Татьяну заступиться, если не мне. Это где сказано, что за родню стоять нельзя? Буду! Потому, что правильно. И потому, что родня! Слышали? Это выходит, какой бандюга твою мать ударит, а ты в сторону? Не заступишься? А Татьяна для меня...

В эту минуту вошла Тая.

— Вот я о чем попросить вас хочу, девочки, комсомольцы... — Сердце ее билось громко, но голос был спокойным, и только пылавшие щеки выдавали ее волнение. Она перевела дух: нет, ее поймут. И она заговорила уже без всякого напряжения, доверчиво и просто: — Научите меня, как заведующей хорошей стать и хорошей подругой с вами остаться. Ведь трудно же мне. И любому было бы трудно. Нину ли взять. Или тебя, Тая. Не хочу я быть Татьяной Даниловной. А за честь нашей фермы вместе с вами драться готова. Дисциплину и порядок нам ослабить нельзя. Неужели, девочки, мы не добьемся, чтобы наша ферма красой колхоза стала?!

— Ты вот что скажи, — смущенно перебила ее Тая, — ты веришь, что с этими чертовыми железками раздоить коров можно?

— Верю, — от всей души сказала Тая.

— Вот что, — поддержала ее Нина, — от ручной поддойки отказаться надо. А то что выходит: отучаем да приучаем? Тут любая корова с панталыку собьется.

Девчата заспорили, и напряжение, что возникло между Таней и ее друзьями, рассеялось. Да и как не рассеяться ему, если дело у всей молодежи одно. Большое дело.

Вскоре убедились — аппараты действуют безотказно. Прошел переломный период, кривая удоев поползла вверх.

Как-то в эти хлопотливые дни Таня встретила на улице Кравцова. Он спросил ее о ферме, но Тане не хотелось делиться с ним ни своими трудностями, ни своими радостями.

— Я не знаю: над чем вы работаете? — спросила она, только бы не говорить ни о ферме, ни о себе.

— Пока я произвожу биометрические измерения, они должны подсказать мне направление работы, — замялся он. — Таня, да зачем нам сейчас это? Ну скажите... Как живете?

— Значит, вы не знаете даже направления своей работы? — Она задумчиво глядела на высокую, стройную фигуру Кравцова, его такое располагающее лицо, высокий лоб.

— Таня, — взмолился он, — я буду говорить о своей работе со своим научным руководителем, а с вами я хочу говорить о вас... о себе... Таня, мне очень плохо. Слушайте, ну, представьте себе, что вы живете с человеком, которого не уважаете, который мелок и зол.

— Не могу представить, — спокойно сказала Таня.

— Как — не можете? — растерялся он.

— Вы и этого не понимаете? — усмехнулась Таня.

— Таня, я не в красноречии соревноваться хочу.

— А я не соревнуюсь. Я просто рада, — она взглянула ему прямо в лицо: пусть видит и знает, что она совсем не взволнована, — что все так вышло и вас больше нет на моем пути.

Дня через два к Тане в сепараторную явилась одна из доярок и с лукавой улыбкой сказала:

— Таня, поди в канцелярию. До тебя какой-то хлопец пришлов. Чи так, чи начальник якой. Ничего себе, гарный.

Таня шла не торопясь, уверенная, что это Кравцов. Сейчас она ему отпоет. Будьте спокойны! По всем станичным правилам отпоет, если он вежливого обращения не понимает.

Рывком, с раздражением распахнула дверь и удивилась: по комнате шагал Лозовой.

— Вы? — Таня даже растерялась.

— Я! — Лозовой остановился перед ней, сдвинув темные брови. — Хочу поговорить начистоту.

— Садитесь, — предложила Таня. Сама села у окна,



предоставляя Лозовому право занять место по чину за ее столом, но он взял стул и сел около нее.

— Я был против вашего выдвижения в заведующие фермой,— сказал Лозовой.

— Знаю,— ответила Таня.

— Хорошо, что знаете. Можно было найти более разумное решение. Но раз так случилось, моя обязанность помочь вам.

— Лекцию о себестоимости прочтете? — усмехнулась Таня.

Лозовой встал, молча прошелся по комнате, остановился у окна. Лицо его в тени казалось еще более смуглым. Таня смотрела на него и думала, что вот этот человек поет своей маленькой дочке трогательную песню о Сурке, но за что-то невзлюбил ее, Таню. Таня зашла к Вере Васильевне, спросила, что это за странная песня. «Песня савояра,— сказала Вера Васильевна,— музыка Бетховена». — «А что такое Сольвейг?» — спросила Таня.

Вера Васильевна дала ей прочесть «Пер Гюнта». Как здорово там найдено всего три слова, которые определяют сущность человека: «Быть собой или быть собой довольным». Один бывает собой, другой только доволен собой. Дима доволен. А Лозовой? Но что ей за дело до Лозового!

— Когда я был маленьким,— сказал Лозовой,— мать рассказывала мне сказку о человеке, который получил дар видеть подземные клады. Они везде есть. Их надо только увидеть...

Таня пристально взглянула на него — странное начало.

— Давайте прикинем, как дать дешевое молоко. Посчитаем, сколько стоит нам литр молока, какие расходы ложатся на него. Тогда станет видно, где можно удешевить молоко. И еще одно... — Он настороженно повернулся к Тане, слушает ли она, но лицо ее было на этот раз внимательным и серьезным. — И еще одно,— повторил он,— давайте посмотрим, сколько труда падает на доярку, нельзя ли изменить условия ее работы, сделать уплотненным ее день...

Они углубились в расчеты, обдумывали, прикидывали. Не заметили, как подкрался вечер.

— Мне, видимо, придется прийти на ферму еще не раз.— Лозовой встал.

Сейчас он уйдет. Она подождет немного и пойдет той же дорогой одна.

— Вы идете в станицу? — просто спросил Лозовой.

— Да, — сказала Таня.

Темнело. Знакомая, звонкая под каблуком тропка вилась степью. Станица зажгла свои огни. Почему замедлила Таня шаги? Может, устала за день. А может быть, хотелось ей, чтобы тропка вилась и вилась все дальше и не было ей конца...

## Глава XV

### ИМЕНИНЫ

С чьей легкой руки пошло по станице это слово, теперь трудно сказать. День животновода перекрестили в именины. И почему-то — в чабанские. Ну, добро бы это день чабана, а то ведь праздник общий — и для чабанов, и для доярок, и для свинаярей, и для птичников. «Ясно почему, — объясняли чабаны, — посчитай, овец-то в колхозе за двадцать тысяч».

«Посчитай»! Шагнуло в жизнь это слово уверенно и властно, деловое, по-военному подтянуто. «Посчитай»! «Не люблю я цифр», — говорят иногда люди. А можно ли их не любить? Не понимать можно. Но если понял, то и полюбишь. Удивительно емкая и выразительная это штука. Они произносят приговор: да или нет. Они толкают на поиски. Они — мерило труда. Они честно и преданно служат будущему.

И люди труда с открытой душой впустили их в свою жизнь. Документ, который волновал сейчас всю страну, так и назывался, просто и даже чуточку сухо: «Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы».

В этот год считали на фабриках и заводах, в научных учреждениях и колхозах.

Ученые рассчитывали траекторию космических ракет.

Собирались три-четыре председателя соседних колхозов и опять считали, сколько нужно выделить средств каждому, чтобы на скрещении их полей, на излучине реки встала межколхозная электростанция.

На колено промасленной спецовки тракториста ло-

жился клочок бумаги, и карандаш перемножал гектары и рубли, может, и не совсем по правилам арифметики, которая уверяет, что множить гектары на рубли нельзя, но зато результат получался стоящий.

Страна входила в семилетку.

Вот почему ничего удивительного не было в том, что животноводы, заполняя зал нового клуба, обменивались не только шуткой, но и цифрами. Ими хотелось полюбоваться, подразнить менее задачливого дружка.

Профессор Сергейчук сдержал слово и приехал на колхозный праздник. Вчера он проводил первую консультацию с заочниками, ездил по колхозу, побывал и на молочной ферме, а сегодня подчеркнуто торжественный, в черном костюме и черном галстуке, в ослепительной белой рубашке сидел в президиуме.

После доклада Ивана Гордеевича и выступлений животноводов выступил и профессор.

— «Испокон веков», — задумчиво начал профессор, — эти слова надо забыть. Они ничего не оправдывают. Они обвиняют. Давайте смотреть на жизнь не глазами прошлого, а глазами будущего. Вот у нас в институте есть новый студент, Алексей Шумадо, ваш тракторист. Он объявил беспощадную войну тятке. Той самой, что была «испокон веков».

— Это, в общем-то, не я. Это Андрей Рудаков! — крикнул Алеша, совсем не желавший присваивать себе чужие заслуги.

— Хорошо, пусть Рудаков, Шумадо и еще тысячи механизаторов. Но ведь это же замечательно — похоронить тятку. Туда ей и дорога! Но ведь этот же тракторист Шумадо сидит сейчас на черепахе. Слишком уж большое противоречие: самолет быстрее звука и неторопливый, громоздкий увалень — трактор.

А вот другое. И тоже идущее «испокон веков». Доярка-батрачка при царизме тоже обслуживала десять — двенадцать коров. Помню первые колхозы. Один железный плуг на весь колхоз, сохи, бороны... Сараяшки, крытые соломой. И опять одна доярка и десять — двенадцать коров. Что это за роковая цифра? Неужели через нее не шагнуть? Был я у вас на ферме. Лаборатория. Сепараторная. Подвесная дорога. Кормокухня. Электродойка. Агротехническая учеба доярок. И опять у

каждой доярки по двенадцать коров. Так объясните же мне, почему двенадцать? Что это? Предел? Не верю. Это опять разговор о труде и стоимости — значит, опять разговор о богатстве, о рывке во времени, а значит, разговор о темпах, с какими мы пойдем в будущее.

Здесь, в вашем колхозе, сейчас тридцать студентов. И колхоз интересный, весь в движении. Институт берет шефство над вашим колхозом. Наши ученые постараются помочь вам решить некоторые хозяйственные вопросы.

Иван Гордеевич под аплодисменты зала крепко пожал руку профессору. А громче всех хлопала молодежь, и особенно старались студенты, гордые за «свой институт».

А потом началось награждение передовиков.

И первое же слово глубоко взволновало и Таню и Сашку.

— Первый раз мы этот праздник проводим в станице. И первым нашим словом надо вспомнить дорогих колхозу людей, — торжественно начал Иван Гордеевич. — Погибли в боях за Берлин заведующий фермой Василий Рокотов, зоотехник Семен Шагай, расстреляли чертовы полицаи знатного чабана колхоза, партизана Данилу Лагутина, одного из основателей нашего колхоза, на Курской дуге сложил свою голову в боях его сын, гуртоправ Александр Лагутин.

Мать смотрела прямо перед собой полными слез глазами, вздрогнул и побледнел Сашка, а председатель называл и называл новые имена.

— Почтим их память, товарищи, — сказал он.

Тихо встали люди, как будто не тысячный зал поднялся, а встал один человек, встал сурово и строго, как стоят в почетном карауле.

— Именем чабана Данилы Лагутина порешили мы назвать наш клуб, — продолжал Иван Гордеевич. — Решили мы установить такой порядок: если проработал человек всю жизнь около худобы, и честно проработал, так провожать его с работы со всем почетом, как трудовой человек того стоит, и пенсию устанавливать.

Таня взглянула на мать, сидящую рядом с ней. Сколько лет она работала честно, а выбросил ее с фермы Швыдченко, как ветошь. И мать, видно, вспомнила

это и сидела строгая, подтянутая, слегка поджав от за-  
таенной обиды губы.

Переждав минуту, пока улеглось волнение, Иван Гордеевич сказал:

— Супруга Данилы Михайловича, Наталья Ивановна Лагутина, без малого двадцать лет проработала на ферме. Прошлый год ушла оттуда. Только в ум не взяли вовремя ее отметить. Поди сюда, Наталья Ивановна,— попросил он.

Наталья Ивановна, взволнованная неожиданностью, пошла к сцене. Иван Гордеевич сделал шаг вперед, помогая ей подняться по ступенькам.

— Спасибо тебе от колхоза за честный труд,— сказал он, обнимая ее,— и прости нашу промашку.

Радостно захлопал зал, да зря поторопился, пришлось хлопать второй раз, потому что Иван Гордеевич своей речи не кончил.

— А еще тебе спасибо, что выставила за себя двух орлят — казачат Татьяну да Александра Лагутиных. Награждается Наталья Ивановна Почетной грамотой райкома и райисполкома и швейной машиной. Как, не будет возражений?

Вот уж тут увидел приезжий профессор, как могут хлопать колхозники, невольно косился на стекла: дрожат, но пока держатся.

А мать только и нашла силы сказать: «Спасибо!» Одно короткое слово, да и то вполголоса.

Ее посадили в президиум, и она сидела там, раскрасневшаяся, смущенная.

И новые имена назывались на празднике. Приемники и отрезки, часы, баяны получали награжденные. Не забыли и тетю Пашу.

Но никакой праздник не обходится без неприятностей.

Встал чабан:

— У меня вопрос к товарищу профессору.

— Может, потом? — спросил Иван Гордеевич, сразу по тону почуяв неладное.

— Пожалуйста,— с готовностью сказал профессор.

— Вот рассказывали вы, что научную помощь институт станет оказывать. Это не такую, как ваш Кравцов? — Вокруг зашумели — напрасно задел чабан профессора, но чабан поднял руку, останавливая шум.— Я, хлопцы,

дело говорю. Третьяка у меня замучил этот самый Кравцов. То сделай, другое. Ты, дескать, для науки стараешься. А сам барином ходит, только командует. И все овец меряет да вешает. А сам ни одну овцу ярлыгой не подцепит. «А зачем, спрашиваю, это делаете?» А он и отвечает мне, будто я олух какой: «Это, говорит, дело сугубо научное, и понять его вам неспособно». Я опять спрашиваю: «Ну, а чабанам какая с этого сугубо научного дела польза?» — «Диссертацию я пишу. Польза для науки будет». Выходит так, прикинул я, он считает, что чабан отдельно существует, а наука отдельно. Так, говорю, слышал я и про диссертацию. Один такой про выделение слюны у козы писал, а другой подсчитывал, сколько клопов в ласточкином гнезде...

Смех уже давно тихонько перекатывался в зале, лицо у Сергейчука то краснело, то бледнело. Он встал.

— Я интересовался работой аспиранта Кравцова, — жестко сказал профессор. — Он будет отозван отсюда. Рано ему еще писать диссертацию. Ну, это особый разговор... Нет, институт окажет вам настоящую помощь.

Если бы Таня еще любила Кравцова, то, вероятно, разлюбила бы в эту минуту за барство, за высокомерие. Конечно, он уедет. Пусть сегодняшний день послужит ему еще одним уроком, но пускай он никогда больше не встретится на ее пути. Никакой! Ни плохой, ни хороший.

Перед началом спектакля Таня прошла за кулисы. Роман — Яровой — отвел ее в сторону и прошептал:

— Ты, в случае чего, сразу ко мне, за сцену. А садись у дверей, понимаешь?

— Ничего не понимаю, — честно призналась Таня.

— Так Галина ж в больнице, сегодня утром отвез, понимаешь, как волнуясь. Я матери сказал, чтобы в случае чего тебя отыскала. Не знаю, Татьяна, как и играть буду. Сердце вроде кто лапой сожмет и отпустит. И все думаю, как она там.

Но играл Роман хорошо, так играл, что кто-то из зрителей от всего сердца обозвал его сволочью и пожалел, что револьвера нет: «Своими бы руками пристрелил, гадюку!»

Много смеялись над Алешей — Швандей, особенно в сцене с профессором Горностаевым. Когда Алеша

начал агитировать солдата, который вел его на расстрел, он настолько увлекся, что и родное словечко «в общем-то» выплыло на свет. И его Швандя убежденно говорил конвоирам: «Кажись, не я — ты меня, в общем-то, ведешь убивать. Да за что же, в общем-то, немецкие деньги требуешь, продажная твоя шкура жирная!»

Настя «не подкачала». Высокая, в белой кофточке и черной длинной юбке, она горячо играла свою роль. Может быть, ее Любовь Яровая была чуточку моложе, чуточку стремительнее, чем надо, но это был человек, который боролся и не отступал. Иван Гордеевич, глядя на нее, задумчиво спрашивал себя: неужели ничего из своей роли не возьмет Настя с собой в жизнь? Не может того быть.

Но самый большой успех достался на долю самой Веры Васильевны, которая играла старую мать.

В те минуты, когда она была не занята на сцене, она стояла за кулисами, прислушиваясь к тому, что делается в зале. Удалась постановка или нет? Слышала аплодисменты и не верила себе. Но вдруг в какую-то минуту со сцены глянула в зал и замерла, обрадованная и потрясенная этой тишиной, этими сотнями глаз, взволнованных, ожидающих. Значит, можно и здесь, в станице, приобщиться к большому искусству...

Тетю Пашу Таня увидела внезапно.

— Сын, скажи ему, сын! — радостно шептала она Тане так громко, что услышали и поняли в соседних рядах.

В станице, где люди хорошо знают друг друга, секретов от соседей нет. «Сын у Романа», — побежало по рядам.

— Сын, — громко крикнул кто-то из зала, — сын! Слышишь, Роман!

«Яровой» вскинул голову, улыбнулся и забыл про все на свете.

Полагалось Яровому сказать: «Люба, я пришел к тебе в последний раз. Завтра меня уже не увидишь».

А он вместо этого подбежал к самой рампе:

— А Галя как?

— Хорошо, все хорошо! — от дверей крикнула взволнованная тетя Паша. — Четыре двести!

— Какие — четыре двести? — растерянно спросил Роман.

— Ну, сын весит. Четыре двести,— проконсультировал Романа уже опытный отец из первых рядов.

Вспыхнул смех. Люди захолопали.

Суфлер, надрываясь, подсказывал Роману текст.

— Занавес! — наконец-то догадалась Вера Васильевна.

Она ругала Романа, уверенная, что все пропало, что пьеса провалилась на самом ответственном месте и теперь уже не создать настроения в зале, а Роман стоял, улыбаясь глупо и счастливо.

— Вера Васильевна! Да я сейчас как черт играть буду,—наконец бросился он к ней, обнимая.—Сын же! Сын!

Занавес снова пополз в стороны. Прижмутив глаза, Вера Васильевна с тревогой ждала новой вспышки смеха и криков. Но тишина установилась мгновенно.

Вот уже Яровой привел солдат, чтобы захватить на квартире у жены Кошкина и подпольщиков...

И только об одном жалеет Таня: после пьесы не будет концерта и не выйдет на сцену Артем Петрович, не объявит Нина: «Песня Сольвейг» Грига...

## Глава XVI

### ХОРОШАЯ ЛИНИЯ

— Вот что я вам скажу.— Мать внесла в комнату ведро с процеженным молоком.— Последний раз я Лысуху доила.

Молодежь переглянулась.

— Уж так получилось, что вышла наша фамилия по колхозу вроде в передовые. Так или не так?

— Так, мама,— сказал Василий.— Я один в отстающих. Все вкалывают, а я за партой сижу...

— Твое дело впереди,— перебила его мать.— Да и летом сложа руки не сидел.

— Мама, ты же про Лысуху начала,— мягко сказала Таня.

— Про нее.— Мать опустилась на табурет и, как всегда в минуты волнения, рывком затянула платок на шее.— Она, Лысуха-то, мне...— Мать махнула рукой,



и в глазах ее показались слезы.— Чего с вами говорить? Чего вы понимаете!

В трудные годы войны была у них плохонькая коровенка. Мать доила ее, замирая: хватит ли молока детям. Ночью, крадучись от людей, ходила косить траву на колхозный луг. Была одна дума — накормить бы корову, накормить бы детей. А потом... Уже после войны все, что получили на трудодни, отдали за корову. Вот за эту, Лысуху. Кабанчика в тот год выкормили, а мяса не пробовали. Наталья Ивановна ехала с базара на бричке, а сзади шла каштановая сытая Лысуха. Корова в доме. За детей спокойно. Подоила Лысуху, разлила ребятам по кружкам еще парное молоко, они пьют, а ее, глупую, слеза прошибает. А потом поутру думка: «Вставать пора, Лысуху доить да в стадо провожать». Вечеру опять про нее: «Хорошо ли наелась в степи-то, ладная ли травушка была, вволю ли пила Лысуха?» Ночью опять вскочишь корму задать.

Испокон веков так было... А профессор-то чего говорил. Все по-новому поворачивается. Далеко ушли мысли Натальи Ивановны, и совсем забыла она, что дети ждут ее слова.

— Мама,— осторожно спросила Таня,— ты, значит, решила продать Лысуху колхозу?

— А чего от людей отставать.

Весь вечер занималась Наталья Ивановна обычными делами, о Лысухе больше не говорили, только перед сном мать спросила у Тани:

— Ты сведешь Лысуху-то со двора?

Василий был далеко не романтиком, но понял, что не легко это матери да и сестре тоже. Василий знал: все правильно, но сердце и у него щемило. Корова вообще — это одно. А Лысуха... Лысуха совсем другое. Но такая уж мужская доля — нелегкие дела брать на себя и делать их спокойно, по-мужски.

— Я сведу Лысуху,— сказал он.

Наталья Ивановна проснулась на заре, как обычно.

Сердце у нее защемило. Прислушалась, словно в пустом хлеву могла замычать Лысуха.

В шесть часов она уже выглядывала из калитки.

— Наталья Ивановна! — крикнул веселый веснушчатый паренек, на обязанности которого было теперь раз-

возить по утрам молоко колхозникам.— С раскрепощением вас!

— Спасибо,— сказала Наталья Ивановна, принимая из рук веснушчатого паренька бидон.

В руках у паренька мелькнула записная книжка.

— Обрат, Наталья Ивановна, по пятаку за литр отпускаем,— деловито сказал он,— можете дать заявку. На творог тоже. А теперь платите два сорок. Если желание такое будет, за месяц вперед могу принять.

Паренек явно щеголял возможностью сыпать из своих рук все эти блага. Он был агитатором за это новое, но он родился и вырос в станице и прекрасно понимал, что тревожило сейчас Наталью Ивановну. Прежде чем натянуть вожжи и чмокнуть губами, он ласково усмехнулся:

— А Буренке вашей или там Каштанке, ей-ей, неплохо. За ней же теперь по-ученому ухаживают. И опять же в компании она.

Паренек говорил громко, он прекрасно знал, что в добром десятке домов слушают его слова и думают, как им поступить со своей коровой.

Что же, каждый делает свое дело. Анна Максимовна предложила продать коров колхозу. Артем Петрович подсчитал, сколько получит колхоз, если хоть часть коров перейдет из хлевов и сараюшек колхозников на фермы. Иван Гордеевич планировал, как разместить их.

Все трое знали: в новом деле ошибиться нельзя. Нельзя, чтобы людям стало хуже, чем было. Этак и к новому делу будет подорвано доверие. А доверие вернуть трудно. Ой как трудно!

Сейчас прибавилось немного коров, но лиха беда начало. Лишь бы треснул лед весною, а там понесет по лодовье льдины и побежит к морю свободная от оков река.

Делает свое дело и этот паренек. Для него все ясно в жизни. С чувством превосходства смотрит он с высоты своих восемнадцати лет на старух и стариков, у которых еще путается под ногами прошлое.

Вечером Наталья Ивановна как неприкаянная бродила по хате, словно не хватало ей чего-то в привычном течении дня. Взялась за шитье. Василий подошел, взял у нее из рук иголку.

— А ты отдохни,— сказал он.— Просто... отдохни. Ведь это можно.

И она поняла: можно!

Шумела станица, как шумит ветреной осенью лес над Кубанью, как шумят в половодье буйные воды ее. В эти дни на собраниях выступали Иван Гордеевич, Анна Максимовна и Артем Петрович. Колхоз переходил на денежную оплату. Обнаружились и горячие сторонники и противники этого из тех осторожных людей, которые всегда и везде готовы многозначительно сказать: «Так-то оно так, да как бы чего не вышло».

— Все правильно,— говорил кто-нибудь из бригадиров.— Как по нотам получается. И колхозу прибыль, и государству лучше, и люди не в обиде. А только загвоздочка, вот она в чем...

Все настораживались, заранее прикидывая, что за доводы будут у выступающего.

— Давай свою загвоздочку,— говорил Иван Гордеевич, устало смахивая со лба волосы.

— Когда деньги заведутся в колхозной кассе?

— Ну, скажем, в марте.

— Да нет, Иван Гордеевич, ты не бодрись. В марте так, по мелочи, а серьезные капиталы когда? Пусть нам вот Артем Петрович скажет.

— Правильно, товарищи колхозники, считаете. По мелочи деньги будут с марта, а основные начнут поступать в июле.

— Выходит, деньги начнут поступать с июля, а зарплату плати с января, да каждый месяц,— недоумевал бригадир.— Откуда же ее, к примеру, брать?

Становилось необычайно тихо.

Артем Петрович объяснял, что доходы этого года позволили создать фонд на зарплату и даже премиальный фонд.

Слушали внимательно. Опять получалось все правильно.

— Ну, а если ошибка какая окажется или плохо рассчитали, тогда что? Последние месяцы без зарплаты сиди?

Артем Петрович терпеливо и подробно разъяснял, что в конце года, наоборот, будет доплата. В году платить

станут меньшую сумму, а в конце года сделают перерасчет.

— Трудодень — оно, понятно, привычно, — говорила пожилая колхозница. — Жили люди, применились. И вдруг на тебе. Уж и трудодень негожий. А нам он очень гожий, ежели на него по пятнадцать рубликов да еще того-сего не скупно получишь.

— Да ладно тебе! — неслись недовольные крики, когда кто-то слишком углублялся в личные расчеты. — При Советской, поди, власти-то живешь. Кто же тебя обидит? Нет, вы скажите нам, что колхоз от этого выгадает?

— Колхоз? — объяснял Иван Гордеевич. — Многое. Снижение расходов, повышение производительности труда. Ясно?

Слушали люди. Думали. Тревожились, прикидывали. И решались.

Веснушчатый станичный паренек, развозивший молоко, добавил в свои звонкие тирады новые доводы:

— Вам, значит, Наталья Ивановна, сегодня творогу по вашей заявке. Небось варенички нацелились делать? Мы теперь, Наталья Ивановна, зарплату получать станем, как рабочий класс. И вообще, скажу я вам, удивительная жизнь предстоит. Ну вот, к примеру, газ. В городе он есть. В нашем крае его, говорят, на сто лет хватит. Я думаю, у нас в хатах газ тоже объявится. И вообще я, Наталья Ивановна, так считаю, что хат наших тоже в коммунизм не допустят.

— Ладно тебе, — прерывала его Наталья Ивановна, — у меня в доме трое комсомольцев, только я им сама разъясню, если надо. А зарплату я от души принимаю.

Пожалуй, Роман Карташов, студент экономического института, лучше всех понимал, как трудно приходится сейчас Лозовому.

— Поможем, Татьяна? — предложил он.

Бухгалтерия колхоза напоминала сейчас штаб. Сюда приходили колхозники с вопросами, предложениями, сюда уже не раз заглядывал наезжавший из города профессор Сергейчук.

Лозовой без большого доверия посмотрел на новоявленных помощников, впрочем, самый беглый разговор с Романом успокоил его.

— Вы Татьяне расчеты по фермам дайте,— предложил Роман.

Лозовой слегка пожал плечами: а впрочем, почему не попробовать? Может быть, пойдет и ей на пользу.

— Задача,— сказал он суховато,— определить лимит расходов по каждой ферме, исходя из затрат прошлых лет.

Он подробно и исчерпывающе объяснял, из чего складываются расходы, как определить лимит, но чувствовал, что Таня занята своими мыслями, не имеющими к его словам никакого отношения.

— Вы не слушаете! — рассердился он.

Таня вздрогнула.

— Слушаю,— торопливо и виновато сказала она.— Только, пожалуйста, повторите еще раз...

Свет из-под абажура падал на смуглое лицо Лозового. В зеленоватом отсвете оно казалось утомленным, даже похудевшим.

«Устал... волнуется,— с неожиданной тревогой за него подумала Таня.— А Сурок-то сегодня заснула без отцовской песенки».

Значит, зарплата... С сегодняшнего дня не начисляется больше трудодней. Умер и похоронен старик трудодень в колхозе «Рассвет». Как и чем помянут его, выяснится очень скоро.

Разные толки ходят по станице. И если на собраниях хоть и поспорили, но согласились, то потом, дома, тревоги и сомнения овладевали многими за свою личную судьбу, свой личный достаток. Как-то повернется жизнь?..

На ферме все идет по заведенному порядку. Но есть лимит расходов. За него нельзя перешагнуть. А вот уменьшить расходы можно. И половина из того, что удастся сэкономить, пойдет дояркам и пастухам. Это понравилось всем.

— Татьяна, ты жми, чтобы сэкономить! — говорили ей.

— Вместе давайте жать.

— Иван Гордеич, пришлите плотника,— по привычке, сказала Таня, когда развалились кормушки.

— Хорошо, только за счет фермы. Ясно?

— Не надо,— опомнилась Таня.

Вечером Коля и Саша, посвистывая, чинили кормушки.

Новое все ощутимее входило в жизнь.

— Проверь, как мои коровы выдоены,— попросила Настя.

— Похвастать, что ли, захотелось? — укоризненно спросила Таня, убедившись, что выдоены коровы на совесть.

— За час десять минут выдаиваю. Третий день уже так держусь,— деловито ответила Настя.— Давай еще четырех коров в группу.

Собрания не созывали, а решение было принято: каждой доярке обслуживать пятнадцать коров.

— А я восемнадцать возьму,— твердо сказала Настя.

— Я тоже,— поддержала ее Нина.

— Как, Сашка, выдержишь? — с невольной тревогой спросила Таня.— Может, за тобой двенадцать оставить?

Саша подошел к Тане, неожиданно приподнял ее.

— Сашка! Ты чего делаешь?

Он опустил ее, только слегка покраснело лицо. Да когда развернулись у него плечи, когда успели налиться крепостью мускулы?!

— Сашка, а помнишь, каким был ты?— засмеялась она.

— «Был... был»,— добродушно проворчал Сашка,— а ты посмотри, каким я стану.

В правление Таня отправилась очень довольная. Не зря их ферма борется за звание фермы коммунистического труда. Она шла по мягкому снежку и готова была свистеть от радости, как мальчишка. Но разговор в правлении повернулся для нее неожиданно.

— Вот и люди нашлись, а вы, Иван Гордеич, искали, кого на новую ферму посылать,— сказал Лозовой.

— Как это — посылать? — насторожилась Таня.

— А так,— спокойно объяснил Лозовой,— ферма у нас не резиновая. Может принять от силы тридцать коров, значит, остальное пойдет за счет перераспределения коров между доярками. Высвободятся люди. Их можно перевести на новую ферму, пополняемую за счет покупки коров у колхозников.

До чего же противно он все-таки говорит, «перерас-

пределение», «высвободятся», «пополняемую»! Погодите! О чем он говорит?!

— В хозяйстве всегда идет передвижка людей. Ясно? — добавил Иван Гордеевич.

— Я прикинул, — сказал Лозовой, — надо перевести с фермы двух доярок и скотника.

Им просто. Для них это — передвижение трех человек внутри хозяйства, а для нее нет трех человек — есть Нина и Тая, Галя и Лида, Коля и Сашка.

— Вот что, — нахмурился Иван Гордеевич, — если тебе трудно, могу совет дать. Настю переведем.

Таня подняла голову. Странная работа шла в ее душе — Таня-подружка вообще протестовала: «Никого! Ни за что!», Таня-заведующая уже взвешивала.

— Нельзя, — сказала она, — и Настя и Нина запевалы нового дела. Они должны остаться.

— Галю, может? — неуверенно предложил Роман.

«Нет!» — горячо крикнула Таня-подружка. «А что, — прикинула Таня-заведующая, — это неплохо, пожалуй. На работе Галя, если по-честному сказать, не из передовых, да малыш еще у нее. Ее и надо!»

Но была еще Таня-комсомолка.

— Нет, — сказала она твердо, — новая ферма дальше, чем наша, а у Гали малыш.

— Ферма молодежная, — рассудительно заметил Лозовой, — вот Ивана Кирилловича и надо перевести.

«Ну уж нет!» — крикнули все три Тани разом.

Иван Гордеевич посмотрел на нее с еле заметной усмешкой: подбрасывает жизнь задачки, только успевай решать. Что ж, Татьяна, так и растут руководители.

— Вот что, — спокойно сказал он, — на ферме есть хозяйка. Ясно? Чего нам всем с советами лезть. Ты, Татьяна, сама прикинь. Ясно?

И снег был тот же, мягкий и пушистый, и девчата на ферме те же самые, замечательные, и почин ферма делает хороший, а вот идти трудно, и ноги сами замедляют шаг. Сейчас ее окружают, начнут расспрашивать, а какую новость выложит она.

— Одобрили? Согласились? — бросились к ней девчата.

— Одобрили. Согласились, — сказала она.

Когда Таня кончила, все сидели притихнув, но никому не хотелось, чтобы его задело решение. Свыкается

человек с работой, с товарищами. Да и полюбить успели свою ферму, а главное — сюда был вложен труд каждого. Но назвать имя товарища было, пожалуй, еще труднее, чем услышать свое.

— Может, добровольцы есть? — спросил Коля.

Все молчали.

— Ну, тогда я согласен, — сказал он, невольно сжимаясь, а вдруг товарищи скажут: «Правильно, Николай!»

— Комсорг фермы — и сбежать хочешь!

— Я пойду, — встал Сашка. — А то вроде нехорошо, вроде семейственность получается. И самый молодой я на ферме, — усмехнулся он застенчиво.

Таня поняла: Сашка прав. Ей было и жаль, что иного выхода нет, и радовалось, что Сашка сам пришел к этой мысли.

Начали прикидывать, кого еще послать из тех, кто хуже работает. Вспыхнули щеки у Гали, когда она услышала свою фамилию.

Встал Иван Кириллович.

— Так, — сказал он, с осуждением оглядывая всех. — Расходились, устрицы! Ушлые больно. Там, почитай, вся скотина, купленная у колхозников, ее раздаивать надо да к режиму приучать. Работенки хватит. Опять же ферма и в сравнение с нашей не идет. Ну и заработаешь там помене. Нет, не по-комсомольски рассудили. Выходит, у вас слова одни. «Мы молодежные!» «Мы комсомольские!» «Мы по-новому живем!» Тьфу! — Старик даже плюнул. — А как до дела дошло, так и начал каждый прикидывать, что ему повыгоднее, а не что колхозу нужно.

Тишина стояла в красном уголке.

— Что, стыдно, устрицы? — уже другим голосом спросил старик, видя потупленные головы, смущенные лица. — Нет, вы отвечайте: хорошо я работаю? Могу в новом деле сгодиться?

— Дядя Ваня!

— Еще бы!

— Ладно. Присудили, что хорошо работаю. Ну, так я и пойду на новую ферму, — сказал Иван Кириллович.

— И я пойду, — твердо сказала Настя. — И там восемнадцать коров доить буду. Иван Кириллович, мы еще Татьяну на соревнование вызовем!



— А что, в точку! — откликнулся Иван Кириллович.

Настя повернулась к Сашке:

— Вызовем, Сашок?

Но Сашка был явно расстроен:

— А я, может, не пойду. Не знал же я, что так обернется. Что туда самых лучших-то. Может, другого кого вместо меня пошлете, — забубнил он растерянно.

— А ты у нас, Сашок, лучший и есть, — негромко сказал ему Иван Кириллович.

## Глава XVII

### СУРОК ВЫБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Сурок... Оля Лозовая... То, что для нас настоящее, будет для нее прошлым. На самой заре ее жизни прочертили небо спутники, в журналах появились портреты умной собачонки Лайки, имя которой в один миг стало известно миру; на самой заре ее жизни хирург отключил сердце человека, чтобы сделать ему операцию; умная машина обыграла в шахматы гроссмейстера; целинный хлеб полился в закрома Родины. Что же предстоит еще увидеть Сурку за свою жизнь, в каких удивительных делах принять участие?

А пока Оле четыре года. У нее очень занятой отец, вечерами он поет ей песню «По дальним странам я бродил»... На стене в комнате висит большой портрет.

«Это мама, — с тоской говорит отец, — это твоя мама». Он прижимает Олю к себе. Оля хочет взять его щеки в свои ладошки, отец любит, когда она делает это, но сейчас отворачивается. Оля, прижимаясь к его груди, слышит, как бьется у него сердце. «Это мама!» — говорит Оля тем, кто заходит к ним. Люди глядят на портрет, потом ласкают Олю. Бабушка Марьяновна посмотрит и заплачет и обязательно назовет Олю «сиротинкой». Оля не любит, когда плачут. И когда «сиротинкой» зовут, тоже не любит. Поэтому она охотно убегает к тете Зине.

Потом, у Оли есть кошка Обормошка, она валяется на спине, перебирая в воздухе лапками, устраивает отчаянные атаки на свой хвост. И вообще она мягкая и теплая. Есть еще у бабушки Марьяновны собака Бобик. Только

она очень старая, лежит целыми днями у будки и не любит играть. Иногда лениво пройдет вдоль проволоки, гремя цепью и глухо кашляя.

Оля все хочет знать, на все ищет ответа. Задает самые неожиданные вопросы:

— Папа, а у сурков хвосты бывают?

— У настоящих бывают. Только маленькие.

— А они их поджимают со страху?

— Не наблюдал,— с сожалением отвечал отец.

— А чего ты такой ненаблюдаый? — огорчилась дочь.

И бабушке Марьяновне не давала она покоя.

— И до чего ты настырная уродилась! — неодобрительно качала Марьяновна головой.— Что я тебе, радио, что ли, про все рассказывать? Другие девочки сидят себе тихонько, в куклы играют, в лоскуточки. Хочешь, лоскуточков дам?

— Не хочу,— решительно отказывалась Оля.— А почему, бабушка, радио про все говорит?

Старуха на опыте знала, за одним вопросом следует другой... десятый.

— Некогда мне,— говорила она,— борщ мне надо варить или нет? Отец твой обедать придет или нет?

Довод был серьезный, и Оля отправлялась к тете Зине. Та была ласковее, чем бабушка, но отвечала на все скучно и однообразно: «Так уж заведено, Оленька», «Так люди устроили».

Соседские ребята тоже не совсем устраивали Олю. Соседский Гришка, которого мать звала «оголец», лихо лазил по деревьям, циркал через зубы так, что плевок летел в точно намеченное место, и не снисходил до общения с четырехлетней девчонкой, предпочитая ей шумную ватагу сверстников.

Только иногда, проходя мимо, бросал ей не без умысла:

— У тебя сахар есть?

— Нету...— огорченно шептала Оля.

— А пряник?

— Нету...

— Ну и дура!..— Пронзительно свистнув и поднимая босыми ногами клубы пыли, Гришка-оголец скрывался вдаль; бежал он, двигая локтями, и чуждал, изображая паровоз.

Оля тоже пробовала двигать локтями: «Чуф-чуф». То быстрее, то медленнее. Сначала было интересно, потом надоело.

По соседству жила еще девочка Ксюша, наголо остриженная, в красном платье. Играть с ней было весело. Но если Ксюша падала, она ревела неторопливым баском и, размазывая слезы по грязному лицу, звала: «Мам-ка-а! Ма-ам!» Прибегала Ксюшина мать, хватала ее на руки: «Упала, моя доченька! Убилась, моя доченька!» Оля, потцовски сдвинув темные брови, уходила в сторону. Играть больше не хотелось.

Когда падала Оля, она не плакала. Оля медленно поднималась и говорила: «Ну, вот!» — словно благополучно было завершено важное дело.

Мама... Помнила ли Оля ее? Трудно сказать. Она показывала на портрет: «Это моя мама». Иногда ночью вдруг глубокий судорожный вздох сотрясал все ее тельце.

— Это она мать во сне видит,— говорила Марьяновна.

Иногда она говорила отцу:

— А у мамы была шубка лохматая, да?

Но бывало и так, что отец спрашивал ее с тоской:

— Сурок, ты помнишь, как мама пела?

— Нет,— отвечала она горестно.

Она уже знала, отцу очень хочется, чтобы она помнила. Чувствовала: надо помнить, но соврать не могла.

Иногда ей просто хотелось ласки; она, как котенок, терлась о руки женщин, готовых всегда приласкать ее. Она ждала ласки, получала ее, и все-таки что-то в глубине ее души оставалось незатронутым, неудовлетворенным. Это была «посторонняя» ласка. Она оставляла голым сердцем ребенка.

Однажды только она почувствовала, что ее крепко-крепко обняли чьи-то руки, к ее щеке прижалась другая щека, и взволнованный голос произнес:

— Я очень люблю тебя, Сурок.

Это была тетя Таня. Она иногда приходила к тете Зине.

Потом подошел отец. Он был очень бледным, и брови у него были сдвинуты. Тетя Таня увидела его и словно испугалась. Она быстро спустила Сурка на пол и даже слегка оттолкнула, словно это было очень страшно и нехорошо, что она держала ее на руках.

Тетя Таня говорила что-то, а отец отвечал: «Да... да... нет». И было похоже, что он был где-то далеко и отвечал тоже издали.

Потом отец взял Сурка за руку. Они шли и молчали. Сурку казалось, что отцу трудно идти.

— Ты чего, папа? — робко спросила Оля. — Ты на меня сердитый?

— Нет, — сказал отец.

— Ты на тетю Таню сердитый?

Отец помолчал, потом тоже сказал:

— Нет. Просто, Сурок, я маму вспомнил. Она тебя на руках держала. Ты помнишь? Помнишь, Сурок?

Оля свела бровки, припоминая. Она не знала, помнит или нет. Она очень хотела помнить.

— Помню! — крикнула она и расплакалась.

Ни отец, ни бабушка Марьяновна долго не могли ее успокоить.

Вечером, когда Оля уснула, Марьяновна шагнула в комнату к жильцу.

— Ты вот что, Артем Петрович, — сказала она, — довольно тебе девчонку-то мучить: «Помнишь, не помнишь?» Ты из девчонки заслон от своего горя не делай. Ты вот улыбаешься по заказу раз в день. А девчонке улыбка нужна.

— Так что, — спросил Артем, — по-вашему... пусть забудет?

Старухе было за семьдесят.

— Эх, Артем Петрович, — с неожиданной силой сказала она, — человек не только помнить, забывать тоже человек приучен. Может, тем и жив человек-то.

В эти дни завелся у Сурка закадычный друг. Встретился он тоже у тети Зины. Это был совсем взрослый человек. Сурок даже попробовала называть его уважительно: «Дядя Саша».

— Какой я тебе дядя? — засмеялся Сашка, польщенный и вместе с тем смущенный почтительным обращением. — Зови меня просто «Саша».

Саша, который не «дядя Саша», пришелся Сурку по душе. Он умел все: мог свистать, как скворец, мог играть в мячик, мог рисовать удивительные вещи — домики, и человечков, и длинноухих зайцев, играющих в чехарду. Он брал с собой Сурка на речку, он говорил с ней как с товарищем.

— Мне по душе, что тебя Сурком зовут, как мальчишку... Знал я мальчишку одного, Сурок. Глаза у тебя черные. А у него синие были. На Луну он все собирался.

— А его тоже Сурком звали?

— Нет. Мишей.

— А где он, Миша?

— Улетел он, брат Сурок, улетел. Не догонишь...

— На Луну?

— Да нет...

— А мы с тобой тоже полетим? На Луну. Давай?

— Нет, брат Сурок, давай не летать. Давай по земле топать. И песни петь. Маршировать умеешь?

Сурок маршировать умела.

— А какую песню? — заглядывала она в лицо Саше.

— Сейчас, брат, придумаем. Есть такая хорошая песня «По долинам и по взгорьям». Только не буду я тебя, братик мой Сурок, этой песне учить. Я тебя другой научу.

Саша наладил качели. Сурок качалась и взвизгивала.

— А ты не визжи, как девчонка, — укоризненно останавливал Саша, раскачивая Олю.

Подошла осень, зарядили дожди. Оля, приплюснув нос к стеклу, высматривала, не идет ли Саша. Саша приходил.

— Ну, брат Сурок, как дела? Не чихаешь больше? Смотри, каких я тебе досочек напил. Дом строить будем.

Марьяновна, пригорюнясь, смотрела на обоих:

— Не пойму я тебя, Сашка, в сажень вымахал, работаешь, а сам, ровно маленький, с Ольгунькой играешь.

Сашка усмехался:

— Ничего, Марьяновна. Вот мы с Сурком сейчас дом построим, а потом закутаю я тебя, брат Сурок, и к нам отправимся. У нас сегодня бабушка пироги печет, у нее это, брат Сурок, ловко получается.

И Сурок оказывался у Лагутиных. Таня не часто бывала дома, но, когда бывала, играла с девочкой, ласкала ее. Однажды подхватила на руки, носила по комнате, словно укачивая. Потом спросила на ухо:

— Хочешь, я тебе папину песенку спою?

— А ты не знаешь! — азартно заявила Оля.

— А вот знаю.

Оле вдруг захотелось, чтобы тетя Таня действительно знала папину песню и спела бы ей. Прижала бы ее к груди, наклонилась, касаясь щеки теплым своим дыханием, и пела... Что-то забытое и бесконечно милое вспомнилось девочке. Она вся напряглась, боясь, что девушка только шутит.

— Спой,— тихо попросила она и закрыла глаза.

Стараясь подавить волнение и не особенно понимая, откуда оно, Таня запела негромко:

По дальним странам я бродил,  
И мой Сурок со мной.  
И сыт всегда везде я был,  
И мой Сурок со мной...

Девочка глубоко и коротко вздохнула и вдруг, так и не открывая глаз, крепко, всем своим маленьким тельцем прижалась к ней. Комок подступил к Таниному горлу, но она справилась с собой, бережно держала доверчиво прижавшегося к ней ребенка и продолжала петь, все взволнованней и нежней.

— Мама, положи подушку ловчее, уснула она,— попросила Таня.

Осторожно положила она девочку на кровать, прикрыла теплым платком. Странное чувство владело ею, скорбь и радость смешались в нем, а руки ее и грудь еще ощущали нежную теплоту ребенка, особый аромат не то меда, не то молока.

В дверь постучали. Вошел Лозовой. Жаль было тревожить Сурка, да и уйти сразу неловко.

Лозовой сел. Разговаривал с Натальей Ивановной, разговаривал с Сашкой, ни разу не обратился к Тане. Молчала и она. Когда стал одевать полусонную девочку, Таня помогала ему.

— Спасибо,— сказал Лозовой, подхватив Сурка на руки.

— Папа,— вдруг звонко сказала Оля, словно не она только что спала,— а тетя Таня мне песню про Сурка пела.

— Вот как? — сказал Лозовой.— Ну ладно. Скажи: «До свидания».

— До свидания,— послушно повторила Оля и, сидя на руках у отца, потянулась к Тане.— Папа! А я тетю Таню поцеловать хочу.

Таня обняла ребенка, поцеловала.

— А бабушку хочешь? — смущенно спросила Таня.

— И бабушку, и Сашу,— обрадовалась Оля.

Когда дверь за Лозовым захлопнулась, Таня открыла конспекты, но далеко были ее мысли. Сашка остановился перед ней.

— Знаешь что, Татьяна,— грубовато сказал он,— женись ты на этом самом Лозовом.

Его несколько обескуражило, что Таня и головы не подняла.

— Жалко же девчонку,— дрогнули у Сашки губы.— Мировая девчонка! Неужели не понимаешь?

Никогда еще не доставалось внуку от Натальи Ивановны так, как досталось сегодня.

— Моду взял во все влезать,— рассердилась она,— разговорчивый больно! Как же, взрослый! Спать иди и не в свое дело не лезы!

Сашка ушел. Обидел его не столько неожиданный порыв бабки, сколько странное молчание Тани.

Впрочем, Сашка решил идти к цели и другим путем.

— Ты, брат Сурок, знаешь, какая наша Татьяна,— говорил он искренне.— Ого!

— Ты, папа, знаешь, какая наша Татьяна,— говорила вечером Оля отцу.— Ого!

Какая Татьяна? Он знал. Теперь он знал это. Боевые осенние месяцы, когда колхоз переходил на денежную оплату, сблизили их. Красивая? Может быть. Да и неважно это. А вот умная, горячая, всей душой преданная делу. И он рад, что теперь им работать вместе. Хорошая она. Недаром Сурок к ней тянется.

Уважает он Татьяну Лагутину. Уважает, ценит. А любить? Никого не полюбит он больше. Да и права не имеет. Никто не сможет стать ребенку настоящей матерью.

И беспокоит его только одно: почему иногда в ее глазах мелькает и нежность, и ожидание, и какой-то призыв? Может быть, он ошибается. Тогда хорошо. А если нет? Надо быть честным, Артем. Иначе нельзя.

Однажды, после заседания правления, Лозовой пошел провожать Таню.



— А я тетю Таню поцеловать хочу.



Луна скользила в зеленоватых облаках, тревожная, беспокойная. Тревожно и беспокойно бежали тени по снегу.

— Звезды я люблю,— сказала Таня и вдруг вспомнила свои давние слова: «Я крутую радугу люблю», и удивление Димы: «А разве бывает она крутая? Радуга всегда одинаковая». — Артем Петрович,— спросила она,— а вы знаете, что такое крутая радуга?

Он немного удивился неожиданному вопросу.

— Конечно. Крутая радуга — к ясным дням, полагая — к дождю.

Тане вдруг захотелось невозможного: пусть сейчас будет весна и пусть радуга, семицветная, яркая радуга, опояшет небо, раскинется по нему из края в край. Крутая, счастливая. Или хотя бы звезды... Сверкающая россыпь звезд, а не эти зеленоватые беспокойные тучи. Но не было ни весны, ни радуги, ни звезд, была только мечта о радуге, стихи о звездах.

— «И черпал бездну ковш Большой Медведицы», — торжественно прочла она.

— Чьи это стихи?

— Алеши Шумадо. Какой милый этот Алеша, правда?

— Правда,— сказал он, думая, что все хорошо; вот и разговора не нужно.

Но странно. Почему Алеша? Чем привлек ее Алеша? Стихами? Или всей жизнью, что с детства шла рядом?

— А дальше? — спросил он. — Как дальше?

— Не помню,— сказала она. — На братьев я счастливая: Василий, Сашка и Алеша. Поженятся Алеша с моей сестрой, с Машей.

Вот оно что! Значит, разговор должен состояться.

— Мне тоже советуют жениться,— сухо вато сказал он.

— Марьяновна? — спросила Таня насмешливо.

Неужели он скажет холодно и спокойно, своим официальным языком: «Я считаю вас подходящим человеком». Нет, он обязательно скажет: «кандидатурой». Неужели он так оскорбит ее? Заговорит о женитьбе, ни слова не сказав о любви. И хорошо, что луна наконец-то нырнула за темное облако. Туда ей и дорога! Пусть и сидит там, по крайней мере не увидит, как Тане скверно.

— Марьяновна,— сказал он серьезно.

— И вы решили последовать ее совету? — еще насмешливее и неприязненнее спросила она.

— Нет! Я, видите ли,— он говорил глуховато и торопливо,— я очень любил жену, Таня. Я знаю, есть хорошие люди, могу и я встретить хорошего человека. И все-таки я скажу себе: «Нет!» Хоть одному быть очень тяжело. Не хочу: матери у Сурка нет... Пусть отец останется.

«Так,— думала Таня.— Все ясно. Не ясно только одно, почему вы говорите все это мне. Что это? Отповедь? Я не давала вам на это права. Предупреждение? Не слишком ли вы самоуверенны, Артем Петрович?»

Щели ставень ярко светились. Там сейчас мать, Сашка, Василий. Как там хорошо сейчас! И нет этого скрипучего снега, этого темного облака, на котором лежат зеленые тени.

— Вот я и пришла,— сказала она, остановившись у калитки.

Он молчал.

— Скверно это! Не верить людям,— внезапно вырвалось у Тани,— не верить, что кто-то... Что кто-то может полюбить Сурка. И все у вас перепутано.

Не дожидаясь ответа, она рывком закрыла за собой калитку.

Ему надо идти. Не так все вышло. Зачем он стоит перед закрытой дверью? Надо было окликнуть. Вернуть, пока Таня была во дворе. Вернуть? А зачем? Неуверенно заскрипел снег под его ногами.

А Таня стояла во дворе, прижавшись к калитке, раскинув по ней руки, словно он мог войти, и она должна была не пустить его.

## Глава XVIII

### ЕЩЕ ОДИН ШАГ

Таня проснулась. Из репродуктора доносился голос Алеши:

— Передаем колхозные последние известия. Сегодня, накануне партийного съезда, в колхозе «Рассвет» открывается колхозный университет. Начало первой лекции в семь часов вечера.

До чего смешной этот Алешка! По его голосу всегда можно определить, что предстоит услышать. Сейчас говорил он торжественно и значительно, явно подделываясь под Левитана:

— Вчера из колхоза отбыла болгарская делегация. Гости посетили чабанские бригады, были на молочной ферме, познакомились с семилетним планом колхоза. За дружеским ужином гости выразили уверенность, что колхоз при взятых темпах выполнит план досрочно, и пригласил делегацию колхоза побывать в Болгарии.

После короткой паузы еще задорнее прозвучал голос Алеши:

— Сегодня в двенадцать часов в колхозном клубе выдача первой зарплаты. Милости просим, дорогие товарищи!

Репродуктор умолк. Таня вскочила. Вот это дела! И как хорошо, что они с Леной успели вернуться с сессии.

А сейчас скорее на ферму! Интересно, как там девчата? И отелилась ли уже Бровка, и кого принесла на этот раз — телочку или бычка?

А может, сначала забежать в правление?

Большую и интересную мысль привезла на этот раз Таня с сессии. Удвоить, утроить количество коров на одну доярку — вот на что замахиваются лучшие люди в крае.

Рассказать надо об этом Ивану Гордеевичу. Там будет и Лозовой. С ним вместе придется планировать новое дело. Но Таня готова к разговору. Сейчас вам, Артем Петрович, придется слушать, а карандашиком вооружиться и расчеты сделает Таня.

Ей так захотелось увидеть смуглое лицо Лозового. Так горячо забилося сердце, что она даже рассердилась на себя. Нет, не пойдет она сейчас в правление, пойдет на ферму. А куклу, что привезла для Сурка, пускай Сашка отдаст.

— Ну, хозяйка, с возвращением, — улыбнулась ей Анна Максимовна, заменявшая ее на время сессии. — Девчата молодцом, все в порядке.

Таня прошла по ферме, заглянула в каждый уголок. Все казалось ей таким ладным, все было на месте. Радовали чистота, солнечный свет, что падал в окна, таблички рационов, автопоилки, люльки подвесной дороги.

Но, если переходить на беспривязное содержание коров, все это должно измениться. Она уже прикидывала, что и как менять в жизни фермы. Где расположить площадку для кормления, где отстроить доильный зал. Поделилась новыми планами с Анной Максимовной.

— Вот что,— сказала та,— о таких делах походя не разговаривают.

— А вы скажите,— волновалась Таня,— правление-то согласится? Вы поддержите?

— Эх, Татьяна! Ну кто же сейчас за новое не схватится, разве бюрократ или негодяй какой, так им народ всегда найдет укорот.

Ряд за рядом заполняли люди клубный зал.

Деньги пронесли торжественно, в холщовом мешке. Старенький кассир колхоза, улыбаясь, шел за ними. Он сел за стол в зале. На сцену вышли Герасименко, Дорохова и Лозовой.

— Ну, кто там у тебя первый? — спросил Иван Гордеевич.

— Корнакова Нина, доярка,— по-военному отрапортовал кассир.

— Ну, и сколько она отхватила?

— Тысячу сто двадцать три рубля восемьдесят шесть копеек.

Ахнули в зале:

— Нинка-то, Корнакова! Тысячу сто! За месяц!

— Иди, Корнакова, расписывайся,— сказал Иван Гордеевич.— Артем Петрович, скажите, сколько Корнакова при трудовне получала?

— Можно. Если все, что получила Корнакова в прошлом году продуктами, перевести на деньги, то получала она в среднем по восемьсот пятнадцать рублей. На три сотни стало больше.

— Ну как, товарищи,— усмехнулась Анна Максимовна,— подходяще получается? Нина, а ты расскажи людям, как работаешь.

Так, держа в руках первую зарплату, и поднялась Нина на сцену... Так и шла потом по залу, отвечая на шутки. Уже села на место, но сейчас же вскочила.

— Я, товарищи колхозники, главное не сказала. Буду я искать и думать, как еще лучше работать.

— Тысячу сто мало,— засмеялся кто-то.— Полторы захотелось!

— А что? — Нина побледнела.— Ты меня в кулаки не записывай. У меня, может, сейчас мысли такие вольные и радостные. И вовсе не с того, что тысячу сто получила.

Ей хлопали. Кассир встревоженно смотрел в зал: ничего себе, на одну выдачу пять минут ушло. Этак до вечера не управиться.

Но и дальше шла выдача неторопливо и обстоятельно. И те, кто уже получил деньги, не уходили из зала. Хотелось знать, сколько получают трактористы и полеводы, огородники и ездовые. Хотелось понять, почему доярка Нина Корнакова получила тысячу сто, а доярка Тая Винниченко меньше.

Вот по залу с напряженным лицом прошел Сашка, крепко сжав губы. Не торопясь пересчитал деньги, разложил по карманам.

— Бумажник покупай, Александр! — крикнули ему из зала.

— Иван Кириллович, а Лексей-то завидный жених!

— Девчата, вы чего смотрите, не приберете парня к рукам?

— А у меня, в общем-то, есть невеста, — брякнул Алеша и сейчас же покраснел до корней волос.

— Приболела я, бабоньки, приболела,— отводя глаза от товаров, объясняла распывавшаяся, дебелая колхозница, получив двести рублей.

— Болела, страдала, на печке спала,— сейчас же откликнулся кто-то острый на язык.

«Хорошо придумали первую зарплату на людях раздавать,— подумала Таня.— Поди, Артем Петрович придумал. «Артем» — славное имя какое... Вырастет Сурок. Ольга Артемовна — тоже хорошо...»

— Анна Галаган! — громко назвал кассир.

И сразу тишина наступила в зале.

— Ну, сколько Анне Галаган получить? — поинтересовался Иван Гордеевич безразличным тоном, словно никакого подвоха не таилось в простых этих словах.

— Сто тридцать рублей пять копеек,— отчеканил кассир.

Нюра никогда не думала, что так обернется дело. Но оказывается, путь к столу мог быть путем почета или путем позора.

— Это работнула! — раздалось из зала.  
— С получкой, Нюрочка!  
— Поди, рученьки намахались, спинушку разломил!

Нюра вскочила, рванулась к двери:

— Не надо мне и денег ваших! Обойдуся!

— А ты погоди,— донесся до нее спокойный и суровый голос Ивана Гордеевича,— с тобой люди поговорить хотят.

Нюра беспомощно и зло оглянулась.

— Ты вот что: ты иди да что заработала — получай.

Нюра с пылающим лицом подошла к кассиру, расписалась. Скорее бы кончилось все это, получить и уйти, не слышать, как летит со всех сторон: «Загордилась!», «Уж ей и гроши лишние!»

Зажала она деньги в потную ладонь, повернулась, чтобы уйти, но снова голос Ивана Гордеевича пригвоздил ее к месту:

— Погоди, Нюра! Один заработок получила, другой получай. Сполна получай. Работала ты на ферме, пока тебе поблажка была, пока твоим рекордам Швыдченко мосты мостил. Ушел Швыдченко, не поглянулась тебе ферма, и ты ушла. Ладно! В колхозе дела не впрокорот. На какую хочешь линию вставай. А ты что? Спекулировать ринулась. Работаеть, только б колхозницей числиться. За справку колхозную держаться. Она тебе на базаре нужна. Там твой дом, а в колхозе ты в гостях. А мы тебе не дадим, Анна Галаган, имя колхозницы мараить. Кончай! Нету у нас места спекулянтам. Не бросишь — будем судить тебя нашим колхозным судом и выгоним из колхоза.

Люди хлопали, а она шла между ними, чужая, осмеянная. Иван Гордеевич смотрел ей вслед, спрашивая себя: «А не круто взял, Иван? Не убить бы так человека». И отвечал: «Ничего, бабочка умная, поймет, за что быют. По-хорошему не поняла, по-худому поймет».

— Кто следующий? — спросил он.

— Всё на сегодня,— ответил кассир.

И никто не поднялся, словно ждали еще чего-то.

— Поздравляю вас, товарищи колхозники, с первой зарплатой,— сказала Анна Максимовна.— Эти деньги не только оплата за труд. Это к новому поворот. Колхозни-

ки начинают жить по законам рабочего класса. Сегодня мы простились с оплатой натурой. Похоронили трудень в колхозе «Рассвет». От души поздравляю, товарищи!

Таня разогрела борщ, накрыла стол белой скатертью.

— Получай, бабушка.— С затаенной гордостью Сашка положил перед Натальей Ивановной стопку бумажек.

— И мои, мама, возьми,— улыбнулась Таня, веером раскинув деньги по столу.

— И чего балуешь?— укоризненно остановила ее мать и пододвинула деньги к сыну.— Сочти, Василий.

Таня и Сашка переглянулись.

Василий неторопливо сложил полусотки с полусотками, десятки с десятками, начал считать.

В это время, запыхавшись, вошла Зинаида.

— Федор послал спросить, не оставить ли вам шифоньер? Такие хорошие получили! Рижские, что ли. И с зеркалом опять же. Федор к получке расстарался товару достать. Чего в магазине делается! Страсть. Каждый хочет память себе с первой получки оставить. Федор...

— Сядь! — строго сказала ей Наталья Ивановна.— Не мельтешишь!

Василий кончил счет.

— Сколько? — спросила мать.

— Две сто,— сказал Василий.

— Это чего? — ахнула Зинаида.— Получка, что ли?

— Семейством получили,— медленно ответила мать.

— Без меня,— обидчиво и горько буркнул Василий.

— Это чего же, Таня? Это, выходит...— Мать схватилась за углы платка, но не затянула их, растерянно глянула на дочку.— За месяц? А в феврале опять получка!

— И в феврале, и в марте...

— Так,— сказала мать и обернулась к старшей дочке.— Слыхала, Зинаида?

— Мама, да ты чего? — насторожилась Зинаида.

— А ты слушай. На нашу семью тень не бросай. Оно,

конечно, муж у тебя есть, голова, а только материно слово в воде не тонет.

— Мама, да не всем же...

— Молчи, Зина,— перебила ее Таня,— ты маму послушай. Живешь только для себя, для Федора. Спросят тебя: «Как жила?» Что ответишь: «Борщ Федору варила, полы драила»? Разве в колхозе дела нет?

— Что же я?..— На глазах у Зинаиды блеснули слезы.— Скотина какая бесполезная?

— Человек ты,— сказала мать.— А только сегодня Иван Гордеич Нюрке Галаган обещание давал: если не будет жить по колхозным законам — так судить ее колхозным судом. А мы тебе свой семейный суд устроим.

С тяжело опущенной головой сидела Зинаида, замерли Василий и Сашка, стараясь не глядеть на нее.

— Решай. Не маленькая,— сказала мать и вдруг совсем другим тоном обратилась к остальным детям: — А люди неплохо придумали. Нечего первую зарплату по мелочи тратить, давайте телевизор возьмем. Уж по-новому так по-новому!

— Качнем мать! — заорал Василий и бросился к Наталье Ивановне!

Сашка деловито вскочил, готовый привести в исполнение предложение Василия.

Наталья Ивановна даже к стенке попятилась:

— Я вот вам качну! Бессовестные! Чего выдумали! Над матерью шутковать!

Она несколько успокоилась, а хлопцы уже мирно сидели у окна, и Василий объяснял Сашке, где они будут ставить антенну.

— Пойду я,— тоскливо сказала Зинаида.

Здесь была ее родная семья, но у семьи этой шла своя полнокровная жизнь. И у Федора есть своя жизнь. Вечером будет он рассказывать Зинаиде, как «вырывал из зубов» товар на базе, кто из станичников что купил и какие при этом шли разговоры. А она будет слушать.

— Пойду,— повторила она и встала.

— Погоди,— решительно сказала Таня. — Вместе в клуб пойдем. Там сегодня открытие университета культуры.

— А что, — неуверенно и с каким-то недоумением спросила Зинаида, — или и правда сходить?



— Еще думаешь,— фыркнул Василий.

— Ты, Зина, не смотри, что она младшая,— сказала мать.— У Татьяны нашей голова вроде есть.

И Зинаида пошла. Поравнявшись с магазином, заколебалась:

— Зайду я Федору скажу.

— Ну, клушка, клушка и есть! — рассердилась Таня.

И вдруг что-то новое мелькнуло в расплывчатых чертах Зинаидино лица.

— Вместе мы с Федором придем,— сказала она.

## Глава XIX

### А ГЛАВНОЕ—ВПЕРЕДИ

Таня вошла в зал. Лозовой здесь. И места есть свободные рядом с ним. Как хорошо было бы случайно сесть рядом. Ну чего здесь особенного? Подойти и сесть. И заговорить. Но знала: ни за что не решится на это и пройдет мимо. Уже целые сутки, как она вернулась в станицу, а ни одним словом не обменялись с Лозовым. Только издали кивнул он ей головой, когда заметил в зале. Сейчас Таня пройдет, а он даже не посмотрит на нее. И вдруг Лозовой оглянулся. Таня увидела перед собой знакомое до каждой черточки смуглое лицо, чуть сведенные брови.

Кровь отхлынула у нее от лица; неужели ничего, совсем ничего не скажет? Но Лозовой привстал.

— Добрый вечер,— сказал он негромко.— Здесь есть место.

Таня села рядом. И ничего это не означает, решительно ничего.

На трибуне появился Иван Гордеевич.

Отчетливо встал в Таниной памяти другой зал. Изверившиеся люди бросали тогда злые, недоверчивые реплики прямо в лицо Ивану Гордеевичу...

«Эх, Иван Гордеевич, милый человек, думал ли ты тогда, что через несколько лет будешь рассказывать о семилетке людям, с которыми живешь душа в душу, вместе берешь высоту за высотой? Думал ли, что так изменятся люди? А пожалуй, думал. Ведь именно за это и отвечал ты своей партийной совестью. Партия послала тебя,

Иван Гордеич, в наш колхоз. И не обманул ты ее доверия».

И невольно задумалась Таня об Иване Гордеевиче и Анне Максимовне, обо всех колхозных коммунистах, что работали на самых трудных участках. Счастливые они!

Тихо было в зале. О больших путях семилетки говорил Иван Гордеевич.

А сколько сейчас в зале бригадиров и агрономов, зоотехников и рядовых колхозников, которые думают и ищут, которые внесут свои дополнения в планы и цифры. Вот и у Тани уже есть поправка к ним, она позволит оставить далеко позади намеченные планы и темпы.

Утром Таня открыла дверь в партком.

— Вот,— сказала она взволнованно и положила перед Анной Максимовной лист бумаги.— В день открытия съезда хочу заявление в партию подать.

Анна Максимовна крепко обняла Таню. Может, движение это было немного сентиментально для секретаря партийной организации колхоза, но что поделаешь — секретарь в колхозе «Рассвет» была женщиной и не считала душевность крамолой.

— Молодец, Татьяна,— сказала она.— А ты с Иваном Гордеичем разговаривать готова?

— Готова,— сказала Таня.

Они вместе вошли в кабинет председателя. Там было несколько человек.

Таня сразу увидела Лозового. Иван Гордеевич поднял голову.

— Вот хорошо, что ты зашла, Анна Максимовна,— порадовался он.

— Послушай-ка Татьяну,— сказала Анна Максимовна,— у нее предложение есть, как в три-четыре раза поднять на молочной ферме производительность труда, снизить стоимость молока.

Таня шагнула к столу, готовая начать, но Иван Гордеевич остановил ее.

— Мы тебя слушаем, Лагутина, после Лавриненко, она тоже не зря на заочной сессии была. С новинкой вернулась. Продолжай, Елена,— мягко сказал он.— А ты, Таня, садись.

— Прямая выгода,— говорила Лена,— поломать пе-

регородки в свинарниках. Установить самокормушки. Новые свинарники надо строить, круглые. Вот схему я зарисовала.— Она подала чертежи.— Одна свинарка за пять сотнями ходить сможет.

Таня встретила с Леной глазами, кивнула ей: «Правильно!»

Часы начали бить, один за другим падали удары. Обычный бой часов, глуховатый и медленный, звучал сегодня торжественно.

Иван Гордеевич включил радио. Наступила тишина. Казалось, прошло очень много времени. Потом возник голос диктора:

«Сегодня в Большом Кремлевском дворце открывается...»

Колхоз «Рассвет» и герои повести: Таня Лагутина, Артем Лозовой, Сашка, Алеша — стоят на пороге новых событий. Но Танина юность окончена. За ней пришли зрелость мыслей и чувств, зрелость дел.

Начиналась повесть с преддверия ранней осени, а кончить ее хочется весенними днями.

Первая весна семилетки шагала по стране. Особенная, ни с чем не сравнимая весна.

Так же, как обычно, загораживали ребятишки глаза от солнца, выглядывая в синем небе журавлей, так же остро, по-весеннему пахла земля, одевались пышным цветом колхозные сады, весенний ветер колебал тяжелые от цвета ветви яблонь, и лепестки, словно снег, покрывали землю.

Но люди жили страстно, напряженно, полные радости, раскрывая все богатства своих душевных сил...

— Иван Гордеич! Боюсь я,— говорила Таня, сидя в зале театра на совещании передовиков сельского хозяйства.

— Не съедят.

— Не выступала же я никогда.

— Еще кому расскажи! А на заседаниях правления тебе уема нет.

— Так там все свои.

— И здесь не чужие.

— Так здесь же, Иван Гордеич, передовики со всего края съехались.

— Кончай переживания, Татьяна. Учти, больше от нашего колхоза никому выступать не дадут, значит, не только о ферме рассказывай, о колхозных делах тоже. Главное, конечно.

— Слово имеет заведующая фермой колхоза «Рассвет» Татьяна Лагутина,— объявляет председатель.

Таня идет по залу. Ей слышно, как гулко звучат ее шаги, стучит сердце. Сцена с трибуной, знаменами, цветами надвигается на нее. Она легко взбегаєт по ступенькам. Вот она лицом к лицу с залом. Он словно опрокидывается на нее тысячью глаз.

— Ну, Таня Лагутина, что скажешь? — доносится к ней голос из президиума.

«Что скажешь, Таня Лагутина? Тысячи людей, цвет края, ждут сейчас и твоего слова. Великая честь выпала тебе говорить перед ними».

И Таня берет себя в руки:

— Я с приветом к вам от молодежи колхоза «Рассвет»...

Когда зал успокаивается, она начинает говорить:

— Фермы у нас все молодежные, механизаторы тоже наполовину молодежь.

Таня рассказывает, как Алеша один вырастил сто сорок гектаров кукурузы, как Лена на свиноферме выращивает тысячу свиней.

— Погоди, Таня,— перебили ее из президиума,— у вас же на ферме беспривязное содержание, вот и расскажи людям о нем подробнее.

— Так регламент же,— огорченно вырвалось у Тани,— а главное у меня — впереди.

— Ничего, регламент в наших руках. Правда, товарищи?

И Таня рассказывала о том, как боялись, что коровы переедать будут, а вышло, что едят коровы не больше, чем всегда. Кормов расходуется норма. Как коровы сами выстраиваются в очередь на дойку, зная, что в доильном зале их ждут лакомые концентраты. Как стали доярки управляться за шесть часов. Теперь можно учиться, можно читать, можно жить иначе, не пропадая на ферме дни и ночи.

— Одна заменяет пятерых. Четыре свободны. Значит,

новые фермы можно закладывать, усилить овощеводство. Виноград сажать. Так и делаем. Сахарной свеклой занялись; знаете, какая она трудоемкая. У нас сейчас многоотраслевое хозяйство. Но главное — впереди. Размахнулся наш колхоз на комбинат по переработке продуктов; свой молочный завод, свой консервный — по мясу цех и по овощам. Строим и оборудуем по последнему слову техники. Соседним колхозам предложили войти пайщиками.

Раз и другой вспыхнул свет. Таня растерянно обернулась к президиуму.

— Кончаю,— сказала она,— а только главное-то у меня...

— Вперед! — звонко и озорно крикнул кто-то из зала.

Таня, смущенно улыбаясь, кивнула головой.

По грохоту аплодисментов поняла, что больше сказать ничего не удастся, и сошла со сцены.

— Верно, Лагутина,— сказал председатель,— главное у нас — впереди, всегда впереди.

После ее выступления был объявлен перерыв. Шумным, весенним потоком выливались люди на улицу.

Таня шла рядом с Лозовым, хорошо не зная, куда они пойдут и пойдут ли вместе. Асфальт был мокрым и дымился на солнце, а вдоль бульвара вниз неслась вода: пока они сидели в театре, на город опрокинулся короткий, стремительный южный ливень.

— Артем Петрович,— вдруг спросила Таня,— а вы бывали здесь на Комсомольской горке? Это совсем недалеко... Поднимемся, а?

— Поднимемся,— согласился Лозовой.

По дымящимся ступенькам они взошли наверх.

— Здесь у меня березка знакомая есть,— сказала Таня.

Она говорила торопливо, словно боясь замолчать, боясь, что вырвется из груди короткое звонкое слово, которого она не должна произнести.

И вот они наверху. Умытый весенним ливнем лежал у их ног весенний город, а за ним, до самого горизонта, раскинулась степь, родная им обоим солнечная степь, одетая сейчас голубоватой дымкой.

Таня подняла голову. Через все небо над городом, над садами, над степью сияла семицветная красавица

радуга. Такую нельзя выдумать, такую нельзя нарисовать, такая могла только сама вольно раскинуться над счастливой землей.

— Радуга,— тихо, словно не веря себе, сказала Таня.

— Крутая,— так же тихо ответил Артем и взглянул на Таню.

Он ничего не сказал больше. Он только взглянул открыто и преданно, и она поняла: будет все. Будет счастье. Сурок будет засыпать у нее на руках.

Она услышит «Песню Сольвейг», полную ожидания и призыва, доверия и любви. Артем сыграет «Песню Сольвейг» для нее.

Крутая радуга раскинулась по небу.

*Ставрополь, 1959 г.*



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Л. Разгон. Об авторе этой книги . . . . .	3
---	---

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I. Начистоту . . . . .	9
Глава II. Платочек . . . . .	14
Глава III. «По-иному и живу я и дышу...» . . . .	22
Глава IV. «Они у тебя синие...» . . . . .	27
Глава V. Дороги за станицей . . . . .	34
Глава VI. Чувствуй себя комсомолкой! . . . .	38
Глава VII. Начало не очень веселое . . . . .	46
Глава VIII. Хорошо, что есть завтра... . . . .	54
Глава IX. В рабочем порядке . . . . .	58
Глава X. «Нам до всего дело!» . . . . .	64
Глава XI. Обратная сторона медали . . . . .	69
Глава XII. Ванда и Гоген . . . . .	78
Глава XIII. Ласточка-касаточка . . . . .	82
Глава XIV. А жизнь идет своим чередом... . . .	87
Глава XV. «Гуляш — два, сырники — одни» . . .	97
Глава XVI. Завтра праздник . . . . .	102
Глава XVII. «Я по тебе равнялась...» . . . . .	111
Глава XVIII. Друзья рядом . . . . .	117
Глава XIX. Правда одна . . . . .	124

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I. Один день . . . . .	135
Глава II. У Веры Васильевны . . . . .	141
Глава III. Дела молодежные . . . . .	146
Глава IV. Новогодний бал . . . . .	149
Глава V. Погребняковы . . . . .	154

<i>Глава VI. «Догодувалы»</i>	161
<i>Глава VII. По-весеннему шумит Кубань</i>	169
<i>Глава VIII. О жизни и смерти</i>	176
<i>Глава IX. В колхозе «Рассвет» появляется новое лицо</i>	186
<i>Глава X. Тебе и всем живым...</i>	194
<i>Глава XI. Юность живет...</i>	203
<i>Глава XII. Бывают такие вечера...</i>	209
<i>Глава XIII. «Воинами становятся...»</i>	216
<i>Глава XIV. Маленькая хозяйка большого дела</i>	224
<i>Глава XV. Именины</i>	233
<i>Глава XVI. Хорошая линия</i>	239
<i>Глава XVII. Сурок выбирает друзей</i>	248
<i>Глава XVIII. Еще один шаг</i>	257
<i>Глава XIX. А главное — впереди</i>	264



ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

*Туренская Валентина Ионовна*

## КРУТАЯ РАДУГА

Повесть

Ответственный редактор

З. С. Карманова

Художественный редактор

С. И. Нижняя

Технический редактор

В. К. Егорова

Корректоры

В. И. Дод и Г. В. Русакова

Сдано в набор 5/X 1972 г. Подписано

к печати 3/I 1973 г. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

Печ. л. 8,5. Усл. печ. л. 14,28. Уч.-изд. л.

14,56. Тираж 75 000 экз. ТП 1973 № 345.

Цена 55 коп. на бум. № 2.

Ордена Трудового Красного Знамени

издательство «Детская литература»

Государственного комитета Совета

Министров РСФСР по делам изда-

тельств, полиграфии и книжной торгов-

ли. Москва, Центр, М. Черкасский

пер., 1. Ордена Трудового Красного

Знамени фабрика «Детская книга»

№ 1 Росглавполиграфпрома Государ-

ственного комитета Совета Министров

РСФСР по делам издательств, поли-

графии и книжной торговли. Москва,

Сущевский вал, 49. Заказ № 4935.

**Туренская В.**

Т 87 Крутая радуга. Повесть. Рис. Б. Винокурова.  
М., «Дет. лит.», 1973.

271 с. с ил.

Повесть о современной сельской молодежи. В центре повествования судьба девушки-колхозницы, окончившей сельскохозяйственный вуз и вернувшейся работать в родное село. Автор ставит в повести актуальные жизненные проблемы.

P2





